

Анатолий
Маляров



Поживи
в Николаеве



Анатолий

МАЛЯРОВ

ПОЖИВИ В НИКОЛАЕВЕ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Николаев
«Илион»
2011

УДК 821.161.2=161.1
ББК 84-4
М 18

Під рукою Анатолія Малярова, їй-богу, і телефонний довідник, і таблиця множення набувають художнього сенсу. Тим більше – були і звичаї міста, де він прожив п'ятдесят років. Ні документи, ні дослідження не подадуть земляків у такому живому – сумному й смішному – вигляді, як опуси старого майстра.

Малярів А. А.

М 18 **Поживи в Николаеве : избранные произведения / Анатолий Андреевич Маляров. — Николаев : Илион, 2011. — 308 с.**

ISBN 978-617-534-082-0

Под рукой Анатолия Малярова, ей-богу, и телефонный справочник, и таблица умножения приобретают художественный смысл. Тем более – были и нравы города, где он прожил пятьдесят лет. Ни документы, ни исследования не подадут земляков в таком живом – печальном и смешном – виде, как опусы старого мастера.

УДК 821.161.2=161.1
ББК 84-4

ISBN 978-617-534-082-0

© Малярів А. А., 2011

Часть

1

КЛАССИКА ЖАНРА

Цепочка граду поперек	4
Ненормативный Ярослав.....	11
Незабываемый шестьдесят восьмой.....	17
Не оглядывайся, Лот!.....	58
Ординарный Орик	74
Утренние радости	91
Четвертая палата.....	97
Тони.....	104
Арт-терапия.....	109
Изменить путане	116
Семейное благополучие	124
Кошмар по Фрейду	131
Наш человек в Мозамбике.....	137
Светлейший	141
Медицинский случай.....	145
Лицедеев и блудниц – не трогать!.....	151
Сомнамбула	156
Шлягер истекшего лета	162
Прохожий	169
Первый подъезд.....	174
Юдка-беспризорник.....	180
О чем думалось лицедею.....	187





ЦЕПОЧКА ГРАДУ ПОПЕРЕК

И не подумаешь, что у бомжа могут быть должники. Этот конопатый и сутулый старичок в замызганном жилете до колен и полуботинках из мусорного бака на рассвете посещал выгребные подъезды. Застенчиво сторонился прохожих, прятал за спину увесистые пакеты с добычей.

И вдруг под аркой он перехватывает сублильного земляка с роскошной шевелюрой соломенного цвета, не мытой со дня купели и припорошенной лепестками акации.

– Ты когда того? – рычит старик.

– Дак вот, заказали мне подфарники... Сниму, толкну – и с вами в расчете.

– Гляди, ты у меня на счетчике.

...Подфарники молодец нашел под служебным входом в театр. Стоит зеленый «Москвич» на виду у всей Никольской улицы, время обеденное. Но должник знает душу горожанина: если ты присядешь у бампера и эдак независимо станешь вертеть отверткой, всякий поймет: ты хозяин и приводишь в порядок свою тележку.

Только тут не повезло новоиспеченному слесарю. Едва он снял правый подфарник и принялся за левый, из залапанной двери проходной вышел приземистый и мощный народный артист. Настроение у него приподнятое: репетиция удалась, а в его по-соломенному холостяцкий дом уже забежала подружка и ждет с рюмкой, закуской и распахнутым халатиком. Артист остушился и опешил: кто это хозяйничает у его тележки? Даже постоял за спиной воришки, даже восхитился и хихикнул:

– Ну и наглец!



Слесарь как скорчился в присядке, так и повернулся с возведенными горе округлившимися глазами. Уронил отвертку, поднял руки над головой и жалобно попросил:

– Только не по голове. Только не по голове...

Артист крепко пнул воришку ногой под зад и поставленным голосом, как на репетиции, рыкнул:

– Ан-ну, привинчивай на место. Немедленно!

Не повезло в тот день и народному гулене. Пассия его, молодая дамочка из среднего класса, должна бы в его «покоях» уже приготовить перекус и выставить «кальвадос». Не вышло. Столкнулся с ней при входе, застегнутая и озабоченная, она торопилась прочь. Обычно приветливое, предвкушающее радость запретного общения, личико ее опущено, милые ножки нетерпеливо переступают.

– Что с тобой? Никак моя заявилась? – в том же сценическом тоне выдал артист.

– Твоя за двумя границами, а вот мой!..

– Никак проведаль про наши обеды?

– Хуже. Только зашла к тебе, только наладилась на кухню, звонок по мобилке. Пришли к нам из облэнерго. Целая комиссия, трое. Спец и два монтера.

– Так он что, сам не может с ними разобраться?

– Ой, я во всем виновата. Я нанимала ловкача и ставила жучки...

– Ну, и не подумала, что однажды лишишь меня женщины к сиесте?

Обычно ласковая и предупредительная пассия ринулась было к дивану:

– Ну, если приспичило, давай без обеда...

– Нет, нет! – угрюмо возразил артист. – Без чарки и поджарки мы не казаки!

Дома милую женщину ждал скандал. Суровая дама-инженер положила на кухонный стол акт:



– Подпишите. Можете прочитать.

– Могу, – впопыхах прошипела хозяйка.

– Я читал, – скрипя зубами, сказал супруг. – За два года ты наворовала на пять тысяч гривен.

– Матушки светы!..

– Да, да, была даровая энергия, теперь за двойную плату, – уже с двухэтажными выражениями продолжал благоверный. – Меньше бы шастала по знакомым да пошла бы на работу!..

Что выкрикивалось дальше, младший из электриков не слышал. Он сделал свое дело, снял цифры, поставил пломбу – и покатил по ступеням на свой обед.

Да... прежде, чем юркнуть в кафешку, молодой монтер зашел за угол, огляделся, вынул свой мобильный телефон, потыкал в него заскорузлым безымянным пальцем.

– Кириллыч, прижми трубку к уху.

– А чё там?

– Прижал? Вечерком зайду.

– У меня ничего нет.

– Я не по этому делу. Я в стенке провода перекину на норму.

– А что оно там, конец лафе?

– Теперь я служу в облэнерго. Привязали к комиссии, я теперь с контролем хожу по обывателям. Вышибаем из каждого хитреца по пяти тысяч. Новая власть требует, едри ее!..

– И что, теперь платить по полной?

– Я сказал, а ты как хочешь.

– Сам, блин, затеял благодеяние, принял на лапу, и сам теперь угрожаешь!..

– Потом восстановим. Связь окончена.

Электрик долго обедал, потом ходил за комиссией, настороженный и злой.



Все обводил инженершу мимо своих клиентов. Сразу после гудка спустился в «Тихую пристань», принял на плечо, да больше обычного. Всю дорогу думал глубоко. В сумерках его вытащили из-под маршрутки.

Мысли прояснились. Хрен с нею, с ушибленной ногой, хоть полежу в больничке, будут обихаживать, кормить на шару, а сограждан – пускай без меня раскурочивают. И Кириллыч пусть ищет дурака, чтобы прикрыл его заначки.

В больничку доставили не вполне. Дотащили только до коридора на втором этаже. Втиснули койку, как при парковке на улице, в очередь с десятком других, сказали – на время. Как легкого клиента, забыли надолго. Проходил мимо молодец в белом халате, высокий, с излишне вдохновенным лицом.

– Коллега, – обратился после долгого и немного изучения, – правда, что вы уже перешли было улицу, потом подождали, пока подкатит маршрутка, и сами вернулись под колеса?

– Правда.

– Вы в травматологии по ошибке. Вы мой клиент. Я психиатр.

Сказал этот высокий доктор и с еще более восторженным лицом удалился. У него в кабинете зажался клиент среднего пенсионного возраста. По наущению Зигмунда Фрейда, подвизавшегося при психоанализе, старик лежал на низком тюфяке глазами в затененный угол. За головой у него, так, чтобы он не видел, под окном стояло расшатанное кресло, если не викторианского стиля, то, по крайней мере, времен Горбачева. В него-то и сел молодой и умный доктор.

– Продолжайте, уважаемый. Выговаривайтесь.

– Да, – изношенным, сильным голосом заговорил пациент. – Только меня избрали, я тут же постановил для себя:



учиться, учиться и учиться. Ленин! Хватит пускать ляпы на потеху пиплу. Выучусь, блин, и поменяю жизнь мою в корне. Так времени не оказалось. Бремя власти непосильно, как говаривал Боря Годунов. «Тяжела ты, шапка Мономаха!»

Пациент притих, порадовался, что его слушают. В городе, наконец, нашелся хоть один человек, который заинтересовался им, может быть, даже признал его лидером. Не приподнимаясь, не оборачиваясь, чтобы не вспугнуть мгновенье, он почувствовал себя на трибуне, в нем ожило сердце, родился сильный, чистый звук.

– Да... Врывается вчера ко мне оппозиция. Слышь, предлагает выполнить все предвыборные обещания. Говорю: какой дурак их собирался выполнять! Где я возьму восемьдесят миллиардов на повышение пенсий? Как я откажу Кремлю в Севастопольской бухте? Не нами зачиналось, не нам рожать! Меня же свои съедят с потрохами.

Доктор давно сделал вывод: старик все пять пенсионных лет провел под телевизором с политическими деятелями и их комментаторами, его следует сразу сдать в Сливину. Однако жизнь врача бедна не только материально, но интеллектуально и эмоционально тоже. Потому этот неординарный специалист оставил сего пациента на неделю у себя – для расширения лекарского кругозора, постижения нрава современника и, Бог даст, для сбора материала к диссертации.

Явление типичное. Взять, к примеру, душу его собственной супруги. Когда-то она интересовалась жизнью дачного поселка, гибридной черешней, копалась в палисаднике и перехватывала подружек, чтобы обсудить модные кофточки, обнажающие талии. Надоедала школьникам правилами хорошего тона, читала вслух понравившиеся абзацы из Чехова и Лины Костенко... Теперь же при утрен-



нем туалете тащит с собой в ванную крохотный корейский радиоприемник, вечно настроенный на разговорчивую волну FM.

Поначалу шутила, мол, все авторы и ведущие патентованных программ напоминают ей цирковых медведей: делают кульбит и оглядываются, где там огрызок сахара. Теперь слушает этих медведей с набожно вытянутым лицом.

Три года назад все такое выглядело причудами, которые скоро пройдут. Однако увлечение супруги зашло далеко. Молодая и привлекательная, она принимала на ночь ванную, набрасывала на себя прозрачную ночнушку и шла... не к молодому супругу в постель, а под телевизор, к программе «Schuster life». Всех ее участников за последние годы она знала по имени и отчеству, была в курсе, кто чей муж и у кого с кем амуры, с радостью сообщала о состоянии их счетов в банках, называла марки машин их деток и любовниц.

Спала, опять же, не с мужем, но отдельно, в крохотной спальне с тем же корейским приемничком в головах, который всю ночь, даже во сне, нашептывал ей свою бессмыслицу.

– Дорогая, кое-кто по тебе скучает! – Это супруг со своего дивана.

– Минуточку, тут оппозиция артачится... Сейчас глава державы выдаст очередной ляп... А у нее уходит почва из под ног...

Минуточка затягивалась, превращалась в час. Супруг засыпал. Интересное явление! Доктор успешно применял психоанализ в клинике. Пациенты выговаривались, им исподволь приедались их болящие темы, возникало доверие к советам специалиста, чувствующего душу простолюдина... А вот дома маэстро бессилён – высокооплачиваемые шептуны одолели.



«Доктор, врачуй себя сам!» – звучит насмешкой. Супруга утратила интерес к соседям, к палисаднику, совершенно атрофировалась как женщина. Ухищрения мужа, специалиста, «душеведа», как в молодости она обзывала тогда еще желанного, не изведенного вещанием супруга, теперь не проникали в ее сознание. Там прочно жила радиостанция «FM» и «SCHUSTER LIFE». За завтраком, обедом и ужином, наяву и во сне.

В какой диссертации описать глобальный сдвиг в психике уже не первого поколения, в какие колокола бить, чтобы вернуть людей от голубого ящика к реальности, к морали? Да, один бомжует, другой отвинчивает чужие детали для продажи, третий на службе контролирует трату электроэнергии, а в нерабочее время, за малую мзду, цепляет на счетчики знакомых жучки...

Это проступки, преступления, они идут от нищеты и невежества. Но самый сильный источник зла сочится из вселенского кривого театра, который полонил наши квартиры, зомбирует нас тем, что подает аморалку, безвкусицу, все семь смертных пороков как заурядное бытование общества. Доктор чувствует, что и сам он не в силах пройти утром мимо приемника, чтобы не послушать вести, не лишен любопытства к программам полусотни телевизионных каналов. А манера отдыхать в кресле с пультом в руке и щелкать-щелкать программы, совершенно не вникая в суть и смысл вещания? А желание передать встречному знакомому то, что слышал утром от комментаторов, наверняка зная, что и встречный слышал то же самое?! А постоянное сопоставление себя, своего неблагополучия и своих мечтаний с несметным богатством, бравадой и деяниями заведомо малостоящих, но овладевших всеми благами мира особами, так называемыми VIP! Да, налицо заметное скатывание нашего убогого пипла от реального мира в



виртуальный?! И как дружно переходит все ничтожество человека из реальности в эфир и – наоборот... Фу!

Доктор забыл, что слушает пациента и обязан сделать выводы, дать рекомендации. Испугался сам себя, вздрогнул. Жутко оттого, что ему все вдруг стало безразличным...

А цепочка украдкой звенела, распускалась дальше и – все граду поперек...

НЕНОРМАТИВНЫЙ ЯРОСЛАВ

Спектакль на третьем актерском курсе – зрелище приблизительное. Длинношеие, излишне загримированные, взвинченные исполнители; актовый зал, набитый приглашенными лицами, много педагогов со званиями и гордыней...

И не хватает «штанов» на мужские роли.

Так я впервые увидел Ярика Пацюченко с режиссерского курса в образе Сатина, в «На дне».

– Органон... Сикамбр... Когда я был мальчишкой, служил на телеграфе, я много читал книг... Я был образованным человеком.

С похмелья, с трудом выковыривая слова в омертвелом мозгу, этот двадцатидвухлетний бледнолицый старик, некогда хорошей стати, с глазами-прожекторами, с ноздрями-салазками, – один держал поднаторевшую, пришедшую на психологический и творческий опыт публику.

В антракте брезгливый голос гнусавил в курилке:

– Ярику легко прикидываться, он с отрочества не чужд алкоголя...

– Они не знают Омара Хайяма, – месяц спустя, ни к кому не обращаясь, парировал Пацюченко эту реплику: –



Живи, безумец! Трать, пока богат! Увы, ты сам не драгоценный клад. И никогда не сговорятся воры из гроба вытащить тебя назад... А чтобы жить, нужна смелость... – И добавил: – В пятом классе, на именинах, мне дали чарку. Потом поцеловали. Женя с замороженной фамилией – Уманец. На другой день я снова хотел ее поцеловать. Не смел. А выпил и – поцеловал. Она терпела, ведь я пьяненький, мне все прощается...

На четвертом курсе моя, то есть рассказчика, комната оказалась рядом с вахтой. Слышу, у выхода топают тяжелые немецкие ботинки на солдатских шипах. Ясно, кто все годы в институте ходит в таких. Потом вступает въедливый голос вахтерши тети Сани:

– А что это, Яра, ночь, а ты все меряешь коридор?

– А я жду своего слепого друга Женьку, может, у него что-то есть.

– А где же он после двенадцати? – любопытство скупающей дамы заостряется.

– У женщины, мамаша, у женщины.

И снова отдаляющийся и приближающийся грохот шипов.

– А если он слепой, как же его женщина принимает? – не унимается вахтерша.

– Бабуля, вы латынью владеете? Так вот, у Женьки ненормативный пенис.

Дальше скандал:

– Дурак ты после этого!

– А вы и до этого не были Афиной Палладой!

Назавтра комендант беседовал с Пацюченко, и к концу диалога вышел начальник из своей кутузки потным и виноватым.

Ярослав же блеснул на пробе в киностудии, был приглашен на роль, но на радостях выпил в ночи со знамени-



тым артистом Дружниковым, прогулялся к устью бульвара, и, беседуя о высоком, состоявшийся и начинающий – два гения – не заметили, как справили малую нужду под памятником величайшему из вождей. Все сошло бы, но акт сей произошел на глазах милицейского патруля.

В комитете комсомола Пацюченко припомнили, что он уже на карандаше давно: еще до публикации решения Пленума обзывал Сталина врагом народа, жил невесть из чего, так как за стипендией являлся после всех и украдкой. И никому в голову не приходило, что этот башибузук и эрудит, словно хуторской подпасок, стесняется денег, а лицемерить и прикидываться ему вообще претит.

В обожаемом институте его не стало.

Два года спустя меня, дипломированного специалиста, пригласили в Днепропетровск, на телестудию. Дирекция уговаривала:

– Там дают квартиру и высоко ценят людей новой профессии. Там всего один настоящий режиссер, но его судьба висит на волоске. Может, знаете, популярный такой, фамилия Никитин.

Да, слава этого Никитина жила отдельно, а судьба отдельно. И это, оказывается, – Ярослав Пацюченко.

Приблудился он под только что вздыбившуюся телебашню, огорошил провинцию, до которой видеосигнал из центра еще не доходил, циклами программ, телеспектаклями, сонмищем постановочных идей. Попутно выпил все пиво в кривобоком ларьке через дорогу от идеологического учреждения, отбил Наташу-дикторшу у старлея из компетентных органов, причем, – шептались осведомители, – отбивал прямо на рабочем месте. Расписался с нею в загсе. Главное же – поменял свою неблагозвучную фамилию, походившую от крысы, на ее, поэтическую, – стал Никитин! Прославил город и сам прославился. Тоже: отдельно – го-



род, отдельно – Никитин-Пацюченко. Теперь его увольняли. Мне предстояло стать преемником его добрых дел и затушевать его двойное недоброе имя.

Как-то внезапно в городе не оказалось ни Ярослава, ни Наташи, ни их крохотного младенца. Осуждающие доносили, что ушла скоропостижная семейка чуть ли не пешком, с котомкой за плечами, куда-то на север. Кому нужен эдакий дурак без диплома? Шептались в курилке: даже трудовую книжку оставил.

Я не обладал чутьем и даром Пацюченко-Никитина, но был пай-мальчиком. Снимал на пленку изуродованные при добыче руды поля Криворожья, снесенный гумус, сожженные перелески, вывороченные недра – и выдавал это за «шаги пятилетки» и «горизонты коммунизма». Собранные в один с трех полей вороха кукурузы на моем телеэкране выглядели как урожай на одном участке героини труда и народной избранницы... Я не пил, не курил, даже приехавшую на смотрины будущую жену оставил ночевать в своей комнате, а сам перекаптался у сотрудников.

В общем, меня выдвигали. Два года спустя перевели в Николаев главным режиссером телестудии.

О Ярославе доходили верные и неверные слухи. Мол, подвизается в студии Тюмени, потом – в полупрофессиональной труппе Нижневартовска. Еще время спустя: Наташа покинула его. Он запил, попал в милицию: его оскорбили, он ударил капитана, ему проломили голову – инвалид теперь он... Живет у мамы на Винничине, ест ее сухую корку, запивает подручным самогоном...

Заныла моя благонадежная душа. При первой попавшейся вакансии режиссера в нашей студии я разыскал адрес бывшего однокашника и пригласил его на работу. Явился он все с теми же ясными, праведными глазами, с теми же ноздрями-салазками, похудевший, порывистый и,



кажется, в тех же немецких ботинках на шипах: это после пяти лет талантливого труда! Фамилия его была только Никитин. Пацюченко исчез, чтобы не унижать мастера.

Я хотел осчастливить скитальца. Добился для него выплаты подъемных, устроил временное жилье в общесемейке и дал для дебюта лучший сценарий о передовом колхозе области.

– Вот, сними десятиминутку, блесни и завоюй признание.

Вместо обычных трех дней он скитался неделю. Приехал сумрачный и молчаливый. Я понял так: с перепою.

Уважаемый художественный совет просмотрел пленку, дружно онемел. Ржавеющий в поле трактор без гусениц. Мимо ковыляет старуха с торбой, из кабины вылетают одичалые куры... За овином вклеилась в навоз и присохла некогда белая гусыня. Бьется, дрыгает лапкой, глаза подернуты смертельной поволокой... Отъезжает раздрызганная полуторка с убогими пожитками и многими детьми в кузове, открывает избоченившуюся, давно не беленную хатенку под стрехой и лист картона, а на нем: «Продается за 100 рублей»... Шаркает по глубокой пыли пьяненький касатик и поет: «Якбы мени жинку симнадцятчку!»...

Директор вышел из зала еще в темноте. Редактор написал объяснительную записку с доминирующим словом: «пасквиль». Я закрылся с Никитиным в кабинете.

– Ты что, с печи упал да не опомнился?

– Вы дали мне сценарий, в котором сплошное «Ура!», а я увидел ваш передовой колхоз и вскричал: «Караул! Суета сует и запустение!»

– Ты что, князь Мышкин, двадцать лет тщетно лечился в Швейцарии?

– Должен же хоть кто-нибудь, хоть иногда проснуться идиотом!



- Глупец, тебя же выпрут!..
- А куда меня могут выпереть от себя?..
- Ты, наверное, с бодуна?!
- Куприн творил лучшие строки, Хмельницкий выигрывал сражения с того же бодуна...
- Прекрати!!!

Пленка Никитина полетела в корзину. Меня предупредили о его несоответствии занимаемой должности. Я собирался с мыслями, чтобы поговорить с ним еще раз, душа моя раскалывалась надвое. Думал ведь Ярослав Никитин-Пацюченко так же, как и я, снимал, вне всякого сомнения, лучше меня, да просто талантливо. Но ему не хватало гнущности жить в обществе нашей пробы, не умел он смирить свою волю... Я изобрел тысячу слов, чтобы напугать коллегу его же прошлым и еще страшнее – будущим. А еще рисовал в воображении его перспективу жизни в южном городе: в собственной квартире, с милой молодкой, которую в городе невест найти несложно, жизнь в почете и уважении. Я готовился сутки. Уселся в красном кресле кабинета, послал помощницу пригласить Никитина.

Ждал десять минут, полчаса. Вошла помощница:

- Его нет.
- Не понятно, рабочее время ведь!
- Он уехал из города...

И снова трудовую книжку оставил работодателям на память...

Сбежал. Может, это к лучшему.

Администрация косилась на меня недолго. Тем более что я закатал рукава и переснял десятиминутную зарисовку о передовом колхозе в полном соответствии со сценарием, к тому же за три урочных дня.

Потом я работал не покладая рук, получил высшую категорию, увеличил жилплощадь до трехкомнатной квартиры; хоть и с долгами, но обзавелся легковушкой...



Это все к тридцати трем годам.

Ярик, Яра, Ярослав... Пацюченко, Пацюченко-Никитин, Никитин... умер в далеком селе на Винничине, на руках у одинокой матери... тоже в тридцать три года... В возрасте Христа.

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ

– 1 –

Федор Очкур, первый и неизменный глава местного радио и недавно пришедшего в областной центр «нового вида искусства», телевидения, много выигрывал без портков. Рослый, в меру упитанный, такой же щетинистый на груди и в промежностях, как и на лице, он, казалось, не достигал своих сорока пяти, ну, право, приближался годами к своей новой, вдвое моложе его, пассии. Втянув живот и расправив плечи, он сегодня, как и в прошлую и позапрошлую пятницу, на коротком свидании, перед улыбчивой Радой Курилко, расслаблялся.

– Тайные встречи в наше время необходимы. На службе живешь интересами власти, солидно, взвешенно и строго. Дома одно и то же – мелочи быта. Наперед знаешь, что скажет теща, как обернется на твой голос твоя слабая половина, дежурные угощения, обыденные ласки и множество приходящего. Надо купить то да это, взрослые отпрыски – не то да не это, ей что-то неможется, а в самый требовательный момент – отложим до завтра твои лучшие поползновения... Тут же, на хате, всякий раз новизна впечатлений. Знаешь только то, за чем пришел, и про тебя знают



далеко не всё, собственно, только то, за чем ты пришел. И только этому «за чем» принадлежит короткий обеденный час времени. Слава аллаху, можно раз в неделю позволить себе урвать клочок свободы от скучных казенных бдений.

Рада вызывающе небрежно смахивает со своих заостренных грудок лифчик и словно нечаянно роняет с бедер расшитые чайки. На софу она падает ничком, и пока нарастает упругость во всем теле партнера, заговаривает вкрадчивым, ну прямо ночным голоском в полдень:

– Нужна помощь супругу...

– Ты замужем? – пряча одышку, не в силах думать, о чем говорит партнерша, да что и как сам произносит, отзывается подстарок.

– Разумеется. И муж – выпускник филологического факультета.

– Такой молодой?

– Несколько моложе меня. – И не давая обмякнуть партнеру, попросила: – Вы взяли бы его к себе, в редакцию новостей... пока не заполнены вакансии.

– Гм... Там нужны пишущие.

– Не святые горшки обжигают. «Идя навстречу съезду партии» или «выполняя решения очередного пленума» и далее патетическое сообщение о приплоде поголовья в колхозе «Хитрая победа», об искусственном оплодотворении свиноматок, а во всякую уборочную кампанию – о небывалом урожае и героическом труде...

– У твоего супруга такие же циничные взгляды на журналистику, как у тебя?

– О нет, он наивен, аки древний грек. Дома у меня мой Потап поставлен на «Чего изволите?», не перечит. Вам такой вышкол подойдет... – И поощрительный хохоток подвигающейся теплой женщины.



«Умная, стерва, и тут улучшила минуту – ставит мужика по своему ранжиру», – думает уже дрожащий кавалер и заваливается рядом с точеной фигуркой.

Тут молодая женщина чувствует бедром вздрогнувший сучок, эдакое разбухшее от пряжи веретено, охватывает его ладошкой, принимается качать и прокручивать, прять, прять... При этом захлебывается шепотом:

– Да? Да?..

Не понятно, что требуется: крепко вогнать отросток в ее распустившееся лоно или... принять выпускника филологического факультета Потапа (по-студенчески – Пата) в редакцию новостей телевидения. Федор Макарович Очкур на всякий случай стонет:

– Да, да...

Он всегда носит с собой память о деревенском, воистину босоногом детстве, о непостижимом ужасе оккупации, о голоде студенческих лет, о юной жажде любви и страхе перед остаточной нравственностью селян. Бывалый руководитель осознает случайность, – только благодаря внешней схожести с генералом тайных органов, – даже невероятность своей высокой карьеры. Мужик душевно ценит свои даренные властями образование, материальные достатки, право жить в «сталинке» в центре города. А пуще того – руководить новейшей творческой организацией и как высшее достижение – счастье безоглядно изливать накопившуюся, может быть, последнюю страсть в это малознакомое, молодое, изящное и трепетное тело. А еще слушать эту простенькую, а может, куда более развитую, чем у него, душу, которая до сегодня ничем не озадачивала его.

Отвалившись, едва переводя дыхание, он шепчет так, чтобы льстивая и самоотверженная женщина знала, что он благодарный самец:



– Да, да... Пусть твой зайдет ко мне в понедельник. Только наведи его окольными путями: ни ты, ни я как бы не причастны...

– 2 –

– Пат, – едва дотянувшись до высокого затылка и по-матерински взяв мужа «за шкурку», Рада усаживает его к столу. – Знаешь, где Комитет по телевидению?

– Мне он зачем? – как всегда виновато наклонил голову молодой супруг.

– Затем. Нужен. В понедельник зайдешь к председателю.

– Ты была у него? – настороженно переспросил Потап.

– И под лежащий камень вода бежит.

Молодой филолог уловил всю тонкость перефразировки старой пословицы. Надо бы набычиться, что ли. Впрочем, все равно будет, как хочет она. Душевная лень родилась раньше самого Потапа. Привилегия думать, решать, действовать давно принадлежит супруге. Всего лишь отвернулся:

– И что я ему скажу, этому Комитету?

– Что хочешь, только не говори, что я прислала. Мол, ты сам додумался, пришел разведать местечко в новом учреждении.

– Ты что, уладила дело? – В голове Потапа пробивалась квелая догадка, надо бы как-то реагировать, но в тоне вопроса получался рядовой интерес.

– Не ревнуй, меня хватит и на двоих. – Это сказано с большой долей шутики, даже насмешки, мудрец смутится. – Как всегда, ты несешь чушь, – под конец она солидно одернула недотепу.



Потап с детства привык к опеке. Первым покровителем был его дед. Вечный солдат, хотя капитанские погоны давно хранил, вместе с орденами, в дальнем ящичке комода. Семилетний внук сильно мечтал стать на дорожку деда, особенно когда тот купил отцу-матери домик, помог достать «Москвич» и всегда мирволил его родне. Засыпая в спальне с открытыми дверями, он услышал захлебывающийся шепоток мамы в ухо отцу: «А твой папочка всю службу был исполнителем приговоров». И ответ отца: «Так отстреливал же он врагов народа». Потап вообразил себя в подвале, с пистолетом в руке и... распластанного на стене «врага народа». Нажал курок и... Ах как бы он!..

Потом дедушка умер, кончились его большие льготы и весомые подачки детям и внукам. Тут пришла к Потапу просветленная юность, и ему стыдно стало за своих предков. Осмысление жизни и места в ней его деда, да и отца с матерью, подкосило ранимую душу. Лучше бы он не слушал радио из-за бугра, не читал Фрейда, потом Солженицына, может быть, невежество спасло бы его от непроходящего невроза. Может быть, он и не слыл бы тряпкой, виноватым перед всем миром, и вечным подростком. Он не сражался за отличные отметки, за будущую карьеру, не выбирал себе подругу. Что пересекало его тропу, что ему сбрасывал случай, то он и принимал. Даже оправдание своей апатии нашел в перевертышах из Святого Писания: Бог привел к Адаму Еву и сказал: «Адам, выбирай себе жену». Только феноменальная память и стихийная грамотность позволяли ему и в институт поступить, и стипендию получать. А так, в принципе, он махнул на себя рукой. Это уловила Рада, почти тремя годами старше его, присвоила парня и вела его к своей выгоде. Однако, шут возьми, и женщина, и перспектива ему сваливались с верхней полки.



Федор Макарович боялся подчиненных. Ими нужно руководить, хотя бы отвечать на их вопросы. Да просто внятно говорить с поднаторевшими в своих житейских интересах и совершенно не смыслящими в задачах и возможностях «нового искусства», телевидения, обывателями. Он и сам никак не втянется в мудрости не просто пересказа, а голенького показа окружающей житухи. По радио, коим он правил прежде, скажешь: мы в уютном дворике над лиманом, или: мы входим в парфюмерный цех – и люди верят, что дворик уютен, идиально зеленый, с крашеным забором, как нам показывают в кино. А цех просторен, светел, мастера в белых халатах, кормленые да холеные. А тут поставишь телевизионную камеру в самый лучший дворик, и этот «глаз в мир» мимо твоей воли выдаст мусорник во весь окоем, пару шелудивых псов в нем, чумазных ребятишек в слезах. В цехе – грязный конвейер с картонными баночками в три ряда и замызанную старуху в допотопном домашнем халате, в руках ее ракетка, рядом ведро с водой; женщина макает ракетку, хватает сеточкой папиросную бумажку и накрывает зубной порошок. И так восемь часов с одним коротким перерывом. Поди потом докажи обывателю, что у нас технический прогресс и коммунизм не за горами! А мужик Очкур был по-своему глубоким человеком. Исповедовал эмира Омара: все книги надо сжечь. Если в них не то, что в Коране, – они ересь; если то, что в Коране, то зачем они? Для народа, как угадала эта проныра Рада, есть решения очередного съезда компартии, постановления ближайшего пленума ЦК; есть армия инструкторов, лекторов обкома партии, газеты, радио, пусть эти писаки и режиссеры от телевидения переключают их опусы на свой короткий, видео, что ли, язык и – вперед. Ни убавить, ни прибавить, он ничего не может пе-



ределать. Да не нужно и опасно идти на почин, если он не освящен сверху. По понедельникам с утра Макарович приходил в куценький актовый зал, собирал летучку, давал высказаться дежурным обозревателям. В конце часа солидно повторял слова не то чеховского профессора Серебрякова, не то недавнего вождя Хрущева: «Надо дело делать, товарищи!», грозно окидывал взглядом, полным высоких убеждений, всех присутствующих и грузно уходил. По сути, прятался, благо было множество отговорок: вызвали в «белый дом», в столицу, участвует в творческой комиссии, обедает.

Скучая в обширном своем кабинете в отведенные для приема посетителей часы, он просил секретаршу фильтровать гостей. Черненьких не пускать, высоких предварительно обласкать, выспросив, с какими вестями они пришли: неприятностей Очкур не любил, и если с приемной в «тронный зал» впускали с огорчительными вестями, то потом секретарша получала по первое число. Тут наш маленький вождь походил на великого – Брежнева.

По всем таким причинам Потап Курилко с большим трудом просочился сквозь двойную, обитую дерматином, дверь. Тут же заглох, встал на одну ногу, вперил свои ясные, блаженные глаза в крупного дядю за столом с кипами папок, засопел в обе ноздри.

– Я вас слушаю. – Это подчеркнуто озабоченный и сильный бас из-за вороха документов.

Прямой характером и в то же время осторожный выпускник не лукавил:

– Я к вам в журналисты...

Мэтра от телевидения позабавила искренность, ну прямо из сказки об Иванушке. Он хмыкнул, похоже на смешок, не без труда вырвал одну из авторучек из гнездышка и прянул насмешкой:



– На! Садись. Пиши, журналист. Думаешь, всякому дано...

Потап понял жест как приглашение к делу. Шлепнул сухой жопой о стул, пододвинул белый лист размером А1 и красивым почерком написал заявление с просьбой принять раба божия на вверенную Очкуру телестудию, гарантируя исполнять обязанности, возложенные свыше...

Хозяин кабинета совсем рассмеялся.

– А кто ты есть на самом деле?

Прямота при экстремальных обстоятельствах – главная черта многих трусливых натур. У Потапа – это боязнь прозрачно соврать, быть уличенным, запутаться и потерять свой шанс, а может быть – свое лицо, только так высоко он о себе не понимал. Подспудно чувствовал, потому – напрямую:

– Я от Рады Курилко.

Хозяин кабинета нахмурился, потер бровь:

– Она так и сказала?

– Как?

– Ну, зайди к руководству и скажи: от нее. И сразу в журналисты... и про обязанности перед народом?

– Сказала: зайди, а дальше я от себя.

Странно, но после такой искренности Очкура потянуло на добро:

– Ты пришел кстати. Мне такие... с гарантиями обязанностей... свыше... нужны. Даже не один, а парочка...

В горячке Курилко соображал лучше, чем в покое:

– А у меня дружок имеется, Юлий, тоже выпускник, болтается на маминых хлебах. Самый умный на курсе был, тест на интеллект выиграл.

– Ты мне весь свой факультет пригонишь?

– Что вы... как вас зовут? Только Юльку... умен за двоих. Талант!



– Меня зовут Федор Макарович. А ты давай свое заявление и – дерзай!

– Спасибо. Так я к Юле Березкину?..

– 4 –

Умный за двоих Юля, по прозвищу Паташон... Сокурсники просматривали старый американский фильм о комической паре – верзиле и коротышке. Тут же на их глазах постоянно и неразлучно вертелись рядом высокий Потап и куцый Юля – отсюда прозвища. Так этот subtilный дружбан сидел в подвальчике на Стрижевского и с оглядкой подсчитывал мелочь на краю столешницы: хватило бы рассчитаться. Боковым зрением увидел в проеме двери Курилко, ожил и шепотом заорал:

– А, Пат, гони сюда! Вишь, пью, – с ласковым удивлением и есенинской приятцей сказал однокашнику. – А что, заурядно и оригинально, все вместе.

Первый студент факультета Юлий Березкин все четыре курса в вузе пил и все восемь семестров сдавал экзамены на «отлично». «Что тебе помогает учиться?» «Водка, корсары, великий дар природы!»

– Садись, Пат, досыпь мелочи и прими на плечо.

– Я только пива. Полбанки.

– Глупая невинность ты, старик. Ладно. – И повысил голос: – Гарсон, пива! – Это уже фраза-лейтмотив из рассказа Мопассана. Юлий часто пользовался выдержками из классиков, всегда к месту да еще в актерском исполнении.

– Я к тебе с предложением, – скромно мычал Потап. – Работа есть... В культурном, вернее, в идеологическом заведении.

– В нашем городе и – культурное заведение! – корчил рожицы приятель.



– Телевидение. Пописывать информашки или катить в народ пропаганду.

– Фю-ить! Мор на люди, как сказал летописец Нестор. Это же надо строить из себя идейного и правоверного! Жить двойной жизнью – паяц в эфире и обыватель на юру. То есть на службе паясничать, а за пределами конторы – дышать. Восемь часов в сутки – канцеляризмами, а остальное время – своими словами, дедушка Корней Чуковский меня не простит. Да и на хрена было учиться!

– Паташон, у меня мало времени. Я должен привести тебя сразу или сразу же послать на хер.

– А подумать? Женитьба – шаг серьезный, тут надо все обдумать, взвесить. Это уже реплика из Чехова.

– Ты думай, только бекицер, на счет три-четыре.

– Ладно, веди на раз-два. Не понравится – сойдем с дистанции. Старуха пока кормит. Зарплата там хоть ничего?

– Не знаю, только доплачивают какой-то гонорар.

– А по-пролетарски: вынести что-нибудь из конторы можно?

– Писчую бумагу, расхожие идеи...

– Стоп! Там же дикторши, молодые журналисточки, при случае можно ввести до донышка.

– Ради Бога, отключись.

– Целочка ты, Пат, хоть и женатик!

Приятели поднялись из-за стола. Березкин ткнул пальцем в официанта, потом в фужер Потапа:

– Гарсон, обрати внимание, бокал оставляем нетронутым.



– 5 –

Приятелям отвели узкий кабинет на втором этаже, связь одна на двоих. Потап собирал по телефону и из реляций, похожих на сплетни, все о высших достижениях в колхозном производстве, вычитывал новости из столичных и местных газет. Юлий тщательно выписывал фразеологию своих партийных боссов, а также цитаты из московских и киевских передовиц. Коротышка объяснял богобоязненному Пату:

– Всю эту мишуру ужжем и процедим. Мыслей искать не будем. Так и передадим ведущему программы. Дашь только мне прочитывать, чтобы цензор к тебе не приебался. Ты же цыпленок, ляпнешь что-нибудь из подлинной житухи и – адье, месье, на хлеба благоверной!

Осмотр женского состава студии привел куцего ловеласа в уныние. Юлий время от времени ворчал:

– Жизнь бекова – трахнуть некого. Холостячка из художественной редакции бледна и скучна, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Дикторша костлява и под софитами сильно отгоняет сухим потом. Ею можно заняться, но только в рабочее время. Где-нибудь в монтажной камерке или вечером в нашем же сквере. Вне работы тратить время – увы, не стоит. Мужской штат – сплошь изгнанники из газет и политруков. На тоби, нэбоже, що мэни не гоже, – перешел на украинский и поставил все точки над «і» и «ё» приунывший Березкин.

– Есть один спец в режиссерской группе, – прошептал, заранее извиняясь, Курилко. – Владислав Корха, черт-те какая фамилия! Но такой серьезный, учится, ездит по крупным родственным конторам и, говорят, один держит морду студии на уровне. О нем подробнее от первого лица, то есть из посмертного дневника, то есть на пенсии, узнаем.



Два года назад Влад Корха попал, словно под трамвай. После заурядного творческого факультета, где по всем предметам преподавали марксизм-ленинизм, после полугодовых курсов, на которых внушали эстетику того же Маркса, предупредив: «шаг влево, шаг вправо – стреляем!», вдруг прошел по конкурсу на телевидение и был назван режиссером. Хотел бежать от примитивной мудрости программ, но одинокая мама попросила задержаться: сто сорок рублей на двоих – все-таки прокорм.

Если следовать устоявшимся рубрикам и расписаниям, то работа больших усилий не требовала: сажай в кадр припугнутого партийного проповедника или весьма заурядного выдвигенца, выставь свет и включай камеру в эфир. Каждый гость читает по шпоре глупости как заведенный, остерегается оторваться от завизированной заготовки, сказать свое словечко, ставка – теплое местечко.

Еще в обязанности Корхи входит показывать старые фильмы. Запустил проектор – и сиди, скучай. Такое его душа терпела первый год, потом взвыла. И тут подошла главный редактор:

– В истекшем квартале остались деньги на гонорар. Штатные графоманы свои сорок процентов из пяти тысяч рублей выбрали, а нештатных писак пока мало. Ты, Влад, режиссер, возьми да поставь что-нибудь, коротенькую пьесу, что ли, израсходуй тысячу, что ли, рублей. Бухгалтерия воеет.

Заманчиво. Только мужик никогда не ставил пьес. Его опыт – две роли в аматорских спектаклях, причем под руководством любителя же, еще рассказ и показ «на пальцах», как ставить театральные и телевизионные спектакли. Начались душевные мучения. Театр, будь то в зале или на экране, – творчество коллективное. А Владислав Корха избегал коллектива. Каждый сотрудник телестудии был



причастен к лживой и зомбирующей публику пропаганде в масштабах целого региона. Кое-кто постукивал, другие верой и правдой служили коммунистам, большинство же заурядно держалось полупустого корыта, боясь, что лишат и этого. Малая часть продвинутых цинично продавалась, бездумно, насмешливо, спустя рукава принимала гостей, кое-как корректировала речь, дергала микшера и втыкала кнопки... Влад с детства был угнетен дедушкиной православной моралью. Верил в сверхъестественную силу, согласился с именем Бога и сильно надеялся, что народ когда-нибудь проснется. Уж тогда этим партийным боссам и их профосам придется отвечать как на Страшном суде. Потому молодой режиссер не контактил ни со сверстниками, ни со старшими. Не ходил в курилку, не являлся на вечеринки, не откровенничал. Имея под рукой кинокамеры, молодежь часто снималась, и тут Корха прятался от объектива, верил, что пленка некогда будет документом, свидетельством нравственных злодеяний всего коллектива. На него улики не найдется. Подленько, глупо, но так он считал...

Терзало сердце и то, что он не мог уйти со студии. Как-то в страхе перед своими потребностями неожиданно и отчаянно переспал с первокурсницей, та забеременела, поженились, и вот родился первенец. Мамиными походами в горисполком и теперешними заслугами самого Влада сдвинут квартирный вопрос, вот-вот ожидалось жилье, по закону – от коллектива, в котором в поте лица... К тому же молодой человек чувствовал, что ему даны кадр, свет, монтаж, вся эта чертова специфика нового дела. Главное же, люди, и штатные, и проходящие, видели в нем маленькое, местного значения, светило. За то и любили и на летучках пинали мужика больше других – с большего больший спрос.

Право постановки даст ему возможность вывести на экран хорошие актерские лица, уж в трех театрах города



наберется пять-семь интеллектуальных физиономий и радиофоничных голосов. Корха даст им мудрый и привлекательный текст – есть пьесы, не рекомендованные к постановкам в театрах Украины, однако о постановках на телевидении в циркулярах цензоров ничего не сказано, студии не подчинены Министерству культуры. Но! Как организовать творческий процесс постановки, как подняться над теми же умными и опытными артистами, он не знал. И долго решался: браться или нет...

Время не терпело: неизрасходованные деньги в следующем квартале коллективу в бюджет не закладут. Редактор торопила. А была это едва ли не единственная моложавая женщина, в совесть которой Владислав верил.

Первая постановка прошла успешно. Навыков и уверенности не прибавила. Полгода спустя он приступал к похожей работе так, словно не было первой и вообще ничего не было до сего дня. Каждый раз, как первый раз, – прекрасно это и мучительно!

– 6 –

Интеллигент, в траковке, принятой Корхой, – это сомневающийся. По такой оценке сам Владислав с его страждущей совестью – первый работник умственного труда со всем прилагающимся: образованием, эрудицией, культурой и самым большим запасом испуга. Сознывая, что страх – худший из пороков, наш интеллигент утешал себя выводами, почерпнутыми из медицины: страх, как и боль, предупреждает, защищает, спасает раба божия от психической или физической кончины. И каково жить да еще творить с такими душевными изъянами в шестьдесят восьмом году двадцатого века? Во времена, когда страна под руко-



водством единственной и непорочной партии семимильными шагами приближается к коммунизму?!

И тут у Корхи было два оправдания. Первое: ум и талант просто обязаны трудиться в неволе. Без непробиваемой стены поперек замысла идти некуда. Второе: ветер воет, собаки лают, а караван идет. В общем, Владислав гордо сидел в своей нише, да еще шевелился.

Да, но все сказанное – это зов совести; ни ума, ни знаний ему не хватало.

Чтобы приступить к постановке телевизионных спектаклей, он просматривал работы Станиславского и находил, что в них далеко не все устарело. Более того: его, Корхи, понимание искусства близко к школе великого режиссера. А когда перечитал письма Чехова, то совсем обнаглел: нужно переносить правду бытия человека на подмостки, давая ему высказать все, что он чувствует и думает, то есть точно так, как это делаем мы по жизни. И новоиспеченный постановщик совсем пришел в восторг, когда понял, что телевизионный кадр, который способен отсеять все лишнее и оставить обнаженную душу исполнителя, как нельзя лучше приспособлен к Чехову и Станиславскому. А значит, к нему, Владу Корхе. Здорово, только во всем коллективе не найдется ни одного индивидуума, которому его открытия будут интересны, а тем более который согласится для воплощения сих идей пожертвовать курилкой, забегаловкой, мимолетной бабой и трепотней по кабинетам. Придется тянуть все лямки одному, к тому же напыжиться и изваять из себя маленького диктатора, тирана, авторитета – черт знает кого!

Однако овчинка стоит выделки. Он сделает наглядную композицию в пику, в отместку всей пошлости, в которой он живет и живо участвует.



Нерекомендованные пьесы пылились у него в маленькой домашней библиотеке. Он выбрал одну – «Треугольная хроника» – такое чистое обнажение душ четырех влюбленных, перепутавших адреса любви. Срочно надо бы поновить в памяти азы технологии постановки, ведь любительский театр, который Влад поверхностно освоил, даже работая с грамотными исполнителями, сильно отличается от профессионального. У кого бы получить повторные и полные консультации, да так, чтобы не уронить лица? Избрал старую помощницу режиссера, которая тридцать лет прослужила в театре. Она болтлива и, как очередную сплетню, как комические истории из ее творчества, незаметно наставит его. Дальше, где взять костюмы и грим? Стоп! Да это подберут и принесут сами актеры. Они так сладостно смотрят на «новое искусство», когда приходят в студию с рекламными отрывками и сами чуть ли не просятся в работу. Сколько там денег на оплату четверых исполнителей? Узнал в бухгалтерии: тысяча рублей. О, это больше, чем месячная зарплата самых отобранных исполнителей. А уж ведущие да заслуженные артисты помогут ему в трактовке образов – не святые горшки обжигают, как принято говорить в студии.

Можно считать себя готовым к постановке. Осталось только найти оправдание перед редактурой и цензурой, почему в пьесе нет ни одного доброго слова о партии. Вообще, ни партия, ни профсоюз, ни коллектив – ни при чем, как это и бытует в нашей натуральной жизни.

А-а, вспомним Бонапарта: важно ввязаться в бой, а там будет видно. Начальство до того привыкло к тому, что мы дрессированные телята, что и не заподозрит крамолы.

С постоянным дневным и ночным сердцебиением, со всеми фрейдовскими страхами, накинув на себя маску мэтра режиссуры и хозяина своих решений, Владислав Корха приступил к постановке.



- 7 -

Трепанный бобик катил по ершистому асфальту вверх, параллельно течению Буга. За рулем – Котя Смешко, уважаемый на телевидении человек. Месяц назад он был в дальнем районе с оператором, тоже Котей, и борзописцем Витей на съемках сюжета о достижениях модернового, с птицами-зеками, курятника. На торжествах крепко угостились. По дороге домой оператор Котя рыкнул на водителя Котю: болтаешься по трассе влево-право, пьяная морда! Пролетарий без слов остановил машину, вытащил тезку наружу и дважды влепил ему слева и справа – видимо, крепко пьян был касатик. Витя все это наблюдал, забившись в угол кабины. Дома долго, два дня, держал молчанку, но как-то в курилке, обидевшись на водителя и не смея высказать ему претензии, раззвонил по студии о драке в дороге. Надеялся на репрессивные меры против пролетария. Однако с того дня весь коллектив стал побаиваться человека, который в простой и доступной форме защищает свое рабочее достоинство, коллеги чуть ли не снимали перед Котей шляпы при встрече.

На заднем сиденье покачивались Пат и Паташон. Полчаса тому назад они сделали большой круг по городу, нашли ятку с пивом, естественно, выстояли малую очередь, все трое приняли на плечо по паре банок, теперь были сами собой, то есть добры и раскрепощены.

– Блин, – посмеивался Юлька Березкин. – Большого строительства нет в области, коровник – событие!

– Да чего там! Животноводство растет.

– Тут надо вначале к голове колхоза подкатить, мол, осветим, прославим. Устроит обед в нашу честь.

– Так и устроит!



– Фомка ты неверующий, для деревни наша контора – высоко стоит. Не приведи Боже, что-нибудь злое ляпнет на всю область – снимут беднягу, лишат кормушки. Наш телезящик всякий дурень, от пенсионера до секретаря обкома, ежедневно смотрит.

Оператор побегал вокруг канавы и едва начатого фундамента, осторожно поднялся на недостроенную крышу, снял будущий объект и окрестности. На все это ушло бы минут пятнадцать. Но маэстро делал вид, что дело сложное: то солнышко взошло не оттуда, то в камере что-то не заладилось. А молодые писатели заморочили председателя длинным интервью. Ходили по прежнему коровнику, полуразрушенному сараю, с загоном, состоящим из кривой ограды и жидкой грязи. Городские пацаны, напичканные старой дворянской литературой и новыми фантастическими выдумками, они и не представляли, что стены прежней фермы должны быть выбелены, полы деревянные и с арыками для стока мочи, что рядом надо еще выстроить загон... что у добрых хозяев за бугром широко внедрена механизация, что негоже коровку сопровождать выкриками: «На место, чтоб ты издохла!» Оба суетились вокруг непонятного старого и еще не существующего нового строения. От избытка кислорода и миазмов у них кружились головы. Божий мир как бы отделялся от сознания, «журналисты» лепетали невнятицу. Степная тишина звенела и гудела, даль сосала глаза, из уст вырывались тихие ахи да охи, еще неуклюжие комплименты председателю колхоза. А в мыслях – скорей бы принять по стакану и домой.

Наивный Пат, улучив секунду, шепнул дружку:

– Юль, может, проконсультироваться у старых селян, что оно и к чему?

И получил разъяснение:



– На хер оно тебе? Видишь, какую муть выдает по центральному телеку столица, гони то же и ты – и будешь на коне!

В общем, хозяину стало ясно, что тружеников «нового искусства» надо поскорее уводить от житейской клоаки, поить, кормить и рассказывать любые, выгодные ему, сказки – вместе все лучше проглотят. Не стал угощать «на капоте», то есть походно – бутылку и закуску на передок бобика и – на скорую руку. Повез на природу, как это делал с почетными обкомовскими проверялами. За лесополосой давно был вырыт квадратный окопчик, полтора на полтора метра, посредине столешница из дерна, на ней клеенка с яствами, с напитками, а по периметру удобно спускались ноги.

В общем, дудели дотемна. А дома обнаружили в багажнике, в марле и мешковине, по паре куриных тушек каждому на нос и по бутылке «Московской».

Хорошо съездили ребята! Теперь о знакомом председателе – только доброе слово и ничего, кроме доброго... О только зачатом и уже забросанном бытовым мусором фундаменте, о месиве из кизяка, соломы и жидкого грунта в загоне, о тощих и скучных коровках – молчок. Так держать, и ногу в стремя!

– 8 –

В новый понедельник обозревателем на летучке впервые был Влад Корха. Красный и потный, он решил высказаться:

– Телевидение в нашем городе уже восьмой год. Людей перестала удивлять подвижная и говорящая картинка,



пришел цвет. Может, нам пора оставить валить в кадр все, что первым взбредет в голову, только бы занять время? Как всякая уважающая себя газета, как достойное зрелищное учреждение, нам бы пора иметь свое лицо. Почему у нас дикторы и ведущие – непременно девчонки, в лучшем случае – мальчишки? Кто поверит в их широкую осведомленность, в их свою, нравственную, позицию? Кто пойдет за ними? Да и тексты ведущим мы даем простенькие, примитивные, простите, не совсем верные, и каждый день одно и то же. Может, стоит покопаться в окружающей жизни, выбрать, осмыслить, только свое, нашего края, бытие освещать? И журналистам встать на собственные ноги...

И в таком духе все отведенные ему десять минут.

Заглох зал, ведь с трибуны говорилось на непонятном языке, на хинди или иврите. О чем этот неприкаянный? Эдак принудит напрягаться и свои сто, сто пятьдесят строк не автоматом набрасывать, а выкапывать из недр городского брусчатника и деревенского месива. Так думали исполнители, борзовики. А руководители вообще побледнели: ведь эдак можно договориться, а потом снимать и показывать склоки среди местного начальства, запустения в колхозах, дойти до мелких поборов на каждом углу! Это же накладно и опасно. Что делать? Оборвать, промолчать?

Выручил Юлий Березкин. Взял слово и, словно только что вошел, не видел красного и потного Корху, не слышал его гнусавой и угнетенной дерзости, ударил сплеча и трафаретно:

– Колхозное производство поднимается и развивается. Мы с коллегой посетили строящуюся ферму...

Влад Корха сидел в заднем ряду, воображал себя на ослиной лавке, втягивал голову в плечи и злился на себя: к чему выскочил со своей обычной дурью? Не за это ему регулярно выдают зарплату, а вскоре и квартиру отвалят...



Вон подвернулась возможность высказаться в телевизионном спектакле, выкладывайся там. А тут роптать – что в стенку горохом стрелять!..

Так и решил. Но забор уже поплыл за течением. Расходясь по кабинетам и курилкам, никто и взгляд не кинул в сторону реформатора, на обед к цыганской столовой молодежь спускалась так, чтобы подальше от свежее испеченного оратора, а председатель Очкур потребовал его пьесу для личного ознакомления.

Назавтра студия вокруг молодца совсем опустела. И работа как бы выпала из рук: пьесу отняли, репетиционного времени не выписали. Надо бы обзвонить артистов, чтобы не приходили зря, но и тут не знаешь: вдруг Очкур сию минуту скажет – репетируй. Пойти спросить? Страшно, вчера такое наговорил, что вздует начальник один на один в своем кабинете. Да еще патетично, с гнусным гражданским пафосом. Это больше всего отравляло жизнь Корхе.

От скуки включил радио над головой.

Сообщалось о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию. Стоп-стоп, это по какому случаю? А-а, у них Пражская весна, социализм с человеческим лицом! Вещают по радио, что капиталистам это не нравится, что немцы с той, западной, стороны подвели войска к границам нашей, свободной, социалистической подруги... Маленькая страна с двух сторон осаждена. Из подсознания возникло сочувствие, потом мысль: а ведь дед его, Корхи, Вацлав – чех. Давно погублен большевиками, но фамилию внуку оставил... Чужое, давнее, далекое вдруг становится близким... Чушь, ей-богу!



И день и два сидел Корха в режиссерской один, превратился в жалкого ожидальщика: принесут ли пьесу, забежит ли главная с вопросами, придут ли званые и ненужные артисты. По радио тараторили на все голоса о страшной опасности, нависшей над страной с запада. Рядовые патриоты осуждали кучку чехов наверху и отечески пеклись о простом народе. Понятие «Пражская весна» исчезло из лексикона, возносилось единство Варшавского договора...

И вдруг в режиссерскую комнату стали заходить парни со второго этажа, то есть из редакций. С трудом разглядел: Березкина, в легком хмеле с обеда, и Курилко, с виноватой физиономией и душевными борениями. Расселись парни по углам и чего-то ждали, вроде бы вслушивались в радио впервые. Юлий вдруг, изобразив на своей круглой и симпатичной физиономии недоумение, сказал:

– Что там и о чем там?

Злой на весь мир и на себя, Владислав не подумал, что говорит, излил свою горечь: такой шанс был телепостановкой подняться над рутинной, и вдруг полез на летучке обзреть. Теперь гнусавил, не глядя на коллег:

– Чехи вообразили себя державой. Социализм с человеческим лицом затеяли.

Вот пошли московиты ставить вассала на место.

Пауза залегла тяжелая, слушатели переваривали высказанное. Нескоро Юлий нарочито веселеньким голоском спросил:

– А ты, Влад, по маме чех или и по отцу?

– По отцу чех, по маме чешский немец, – снова же не выныривая из своих дум и очень не к месту ответил Корха.

Издали подал реплику Курилко:



– Говорят, с той стороны подтянуты войска Федеративной Германии.

– Херня все это, – скорее отвечая своим мыслям, чем Потапу, сказал Влад.

На сегодня было достаточно. Еще утром в кабинетах председателя и парторга Паты-Паташоны были сориентированы на поиск ведьмы в своем коллективе. Первым приглашал Очкур и, потирая свою густую бровь, с глубоким переживанием говорил:

– Видите, нейметса буржуям. Не с той, так с другой стороны кусают нас. Я хочу вас, молодежь, наставить: будьте бдительны. Их же писатель, Футик, что ли...

Мужик замялся, с избытком эрудированный Паташон поправил:

– Фучик!

– Вот, он самый, Фучик... К чему он там призывал?

– Люди, будьте бдительны!

– Во-во, а мы кто? Мы и есть люди.

Федору Макаровичу до доньшка противно было ориентировать молодежь. На подлянку. Недавний крестьянин, он хорошенько знал свою бесправную жизнь, что в селе, вкалывая на пустые трудодни, что в городе, под гнетом идеологии – без голоса и мысли. Но теплое местечко и благополучие взрослеющих детей дороже всяких правых убеждений. Убеждениями сыт не будешь.

– Так мы бдительны, – вставил Березкин. – Указал на приятеля: – И я, и Курилко тоже, только стесняется своих убеждений.

Юлий был еще трезв и тоже чувствовал неловкость. Только очень уж нравилась ему служба не телевидении: почти весь день свободный, туалеты теплые, цыганская пивнушка рядом, ни за что деньги дают, и смазливых приодетых девчонок клеить сподручно, без приглашения при-



ходят «пробоваться» на вакансии. А которые пристроены, те как мухи на мед слетаются в студию то с концертами, то с починами в делах, и все считают Березкина едва ли не главным лицом над всем телевидением.

– Уже можно идти бдить? – глупо, потому что дежурно, ляпнул Потап.

Юлий перекрыл оплошность приятеля своим дробным и заразительным смешком:

– Я же говорил, парень смущается.

И вот теперь приятели покинули режиссерскую, Юля посмеивался в кулак, а Потап пытался понять его и поучиться у однокашника житейскому цинизму.

– Если теперь патрон спросит, чего мы наблюдали, скажем: кое-что набздили.

– 10 –

Дома у Курилко был разговор при сборах на работу, диалог впопыхах, но весомый.

П о т а п : Рада, пока я тебе держу пальто, слушай.

Р а д а : Давай, на одной ноге!

П о т а п : Твой Очкур собирал нас в связи с шевелением в Чехословакии.

Р а д а : И-и?

П о т а п : Велел бдить. Говорит: велено на политику не жалеть ни сил, ни средств.

Р а д а : Ну и бдите.

П о т а п : Так тут надо порядочных закладывать.

Р а д а : Это в журналистике водятся порядочные? Три ха-ха!

П о т а п : Не среди журналистов. Несколько параллельно, в режиссерской группе замешкался один... Такой удуманный, больная совесть.



Р а д а : Так это в режиссерской группе больные. А ты здоровый мужик.

П о т а п : Он из чехов.

Р а д а : Плохи его дела.

П о т а п : У него сильная энергетика...

Р а д а : Про энергетика выдумали художники. У больных вирус.

П о т а п : Шеф боится, что этим вирусом парень заражает коллектив.

Р а д а : Тебя, что ли?

П о т а п : В первую очередь.

Р а д а (*уже в дверях*): Слушай, любименький, совесть втихую поболит и перестанет. А если вывезешь что-нибудь по ее подсказке, лишат тебя, раба божия, птичьей кормушки. У вас же там – птичка божия не знает ни заботы, ни труда, зато полторы сотни, да еще с довесками, подают на зернышки. Вот и бди. В другой раз я тебя устроить на службу не смогу.

В то же утро – еще разговор в крохотном кабинете над лестницей, видимо, перестроенном из дежурки.

П о т а п : Паташон, что-то мне хреновенько.

Ю л и й : Варум?

П о т а п : Да после вчерашней речи в тронном зале у Очкура.

Ю л и й : Что, ты тоже понял, что наш шеф – парень из сонной деревни, из самого ягельного яра в Диком поле?

П о т а п : Ну, понял. Так приходится входить в его ночные страхи. Тошно.

Ю л и й : Ты вроде из города, но тоже – деревня.

Березкин полез в низенький облезлый сейф, с расстановкой достал рюмки и бутылку беленькой, разлил.

Ю л и й : Осмотрись, месяц служу, а уже – старший редактор, вот этот чуланчик выделили. Теперь могу не бегать



в цыганскую столовую, а не отходя от рабочего места принимать пять капель.

П о т а п : Эти апартаменты твои?

Ю л и й : Бди – и тебе выделят.

П о т а п : Ну и говно ты, Паташон!

Ю л и й : Говно, которое не воняет, как деньги по Деменциану. Не крути носом, Пат, другой дорожки вверх для нас нет.

Чокаться Курилко не стал, но машинально выпил.

Ю л и й : Выпрямился, или еще прыснуть?

П о т а п : Пошел ты!..

Пошли они вместе. В студию. Там Влад Корха репетировал купленный у заезжих латышей концерт национальной музыки. Под зеркалами и софитами он млел и рассыпался в похвалах каким-то народным латышским песенкам. Нудные вещицы, но Влад смаковал их жанр: сутертынии!

Приятели сели в темном углу и выжидали: гляди, этот вольнодумец с шишом в кармане выдаст еще что-нибудь пригодное в дело.

Выдал. В перерыве разговорился с запевалой:

– Вы ведь под советами с сорокового?

– То было коротко. По факту уже с после войны.

– Получается, всего двадцать три года. И пока еще не вытравили национальные сутертынии?

– Только не спрашивайте, не наводите на мысль этих...

Прямых выпадов нет, но подтексты, ну прямо чеховские. Потапа совесть все-таки доставала.

– Юлька, пойдем отсюда на хер, противно.

– Мне тоже на хер, только надо расти над собой... Ладно, пойдем.

Молча решили больше не прислушиваться к переживаниям Корхи. Однако на обед пошли за ним следом, уселись за соседний столик.



- Подленькая наша жизнь, – занял было Пат.
- Стерпишься, слюбишься, – хохотнул Паташон.

– 11 –

Наверное, на солнце случился сильный протуберанец и до земли в это утро дошла небывалая волна радиации. До всей планеты, до нашей страны, до города или только до студии телевидения? Заглохла музыка и выкрики в кинозале, в звукомонтажной комнате и по кабинетам; редакторская и режиссерская группы, как сомнамбулы, ходили с обтянутыми скулами, а в зубах чудился кляп, у редких – прикушенные удила. Так показалось Владу Корхе. Привиделось и у самого сразу помутилось в голове. А может, вначале помутилось, а потом коридоры и службы вымерли на глазах. Он и раньше переступал порог проходной и сразу чувствовал прилив вины. Что-то не так сделал вчера, не то сказал, за ночь начальство и коллектив аккумулировали его промашку, обсудили каждый сам с собой или по телефону друг с другом, и вот сегодня отпустят ему по первое число. И затормозят его очередную работу, задержат еще на год выдачу квартиры или вообще уволят как профессионально непригодного. Трезвым полушарием серого вещества Влад понимал, что это его едва ли не единственный бзик, невроз, мания, чем там еще кормился старик Фрейд! Но страх проходил только с началом репетиции или при встрече и обмене приветствиями с каждым из опасных коллег. Однако в этот день...

Пробежала секретарша Таня, коснулась его плеча – уже от этого могло стать легче, но девушка строго объявила:

- В десять часов общее собрание.

В актовом зале разум совсем покинул Корху. Люди превращались в марионеток, голоса звучали на низах, как с



замедленной магнитофонной ленты, смысл рождался в ораторах и доходил до слушателей с трудом.

– В трудные дни для страны наш народ, как всегда, объединяется, сливается в монолит! – Это с трибуны вещает парторг Виталий Николаевич.

Федор Очкур убоялся своей собственной решимости и выдвинул на передовую этого уволенного из секретных служб книжника и фарисея. А уж такой-сякой знал заповеди кормившей его партии, как «Отче наш». К нему можно не прислушиваться, он не народ. А Николаевич искренне и весомо изложил происки фашиствующей Германии и ужас, в котором оказалась Чехословакия перед лицом агрессора. Вывод: только усилия и старания нашей студии могут пресечь поползновения, нашествие, в общем, катастрофу целой страны...

– Нам нужно подготовиться к защите родных рубежей! – Это еще одна недотепа, слитый по ненужности из газеты в «новое искусство» подстарок.

Влад поморщился, снова был окутан волной непонимания и страха. Тут выступил звукооператор, бражник и патентованный дурак:

– Да что там немцы! Чехи сами хвост поднимают и глаз морщат в нашу сторону! Я служил там и знаю, что перед нашей властью все чехи – сволочи!..

Корху ударило в скулу, да снизу, так, что голова откинута назад, физиономия приобрела гордое, окрыленное выражение, мысли заострились. Молодой мужик вдруг вспомнил, осознал, возгордился тем, что ведь он по отцу-матери – чех, даже в какой-то степени – чешский немец...

Не поднимая руки, не прося слова, он, расталкивая коленями колени, протиснулся между радами. Не похож на себя, тактичного и боязливое, плечом спихнул с трибуны бывалого звукооператора, возопил не своим, но похожим



на недорезанного хряка, хриплым, визгливым и гнусавым голосом, с излишним надрывом и пеной у рта:

– Мои дедушка-бабушка родились в Моравии. Я набью морду всякому, кто повторит слова этого пьяного мерзавца!

Дальше – истерика. Наверное, слезы, путаные, но сильные выражения. Собственно, что было дальше, как закончилось собрание, Владислав уже не помнил... Его увели. Пока что вели под руки, деликатно и сочувственно...

– 12 –

И в шумном городе, в самом бойком его учреждении, может возникнуть библейская пустыня. Словно забытый всеми, словно святой на камне, сидел Влад Корха в режиссерской комнате. Ни у одной живой души не было нужды не то что в этом обычно общительном, таком всегда щедром на раздачу идей, творческих находок, дельных советов сотруднике, вообще – никто ничего не забыл в общей мастерской: дверь не трогали, не торгали, не открывали. Мир вымер.

Корха привык с утренней репетиции и до погашенных в полночь экранов колготиться, участвовать во всех программах хотя бы советом или физически – перетащить камеру на пару с оператором, закрепить ставку с рабочим, а то сесть за монтаж, видя, что ассистент запутался в пленке. Это был его интерес как человека растущего, признанного, а еще благодарность наперед, как, вскоре, владельца собственной квартиры. Да просто телевидение было его увлечением, он предчувствовал его возможности, и его видение «домашнего искусства» сильно отличалось от видения других. Не звуковая и видеогазета, к тому же казенная, отесанная, как бревно, газета, но маленькое окошко в под-



линный мир. Возможность исподволь показать людям, кто они и как живут, открыть им глаза на тупую и скучную идеологию, да просто направить их внимание на то, что он открыл за свои неполные тридцать лет, увлечь, зажечь... стать хоть кем-то для них.

Наивный и яростный фантазер, он воображал себя Чеховым, только не в словесности, но в натуральном зрелище, в скрытой камере, не в конце девятнадцатого, а во второй половине двадцатого столетия.

Теперь этот Чехов, сгорбившись, сидел... и не мог сидеть согбенным. У него ведь появился шанс – ему вторично дают поставить телеспектакль, а что больше одного, то уже система. Приняться за репетиции и – забыть протуберанец, свалившийся на студию, на город и страну. Перестать бояться завтрашнего дня...

В те же минуты на втором этаже заседало партийное бюро. Потом в кабинете Очкура сидели Пат и Паташон. Это Влад понял, когда, решившись действовать, сорвался с места и поднялся в приемную председателя. Прежде, чем его впустить, секретарша выпустила из-за дерматиновой двери Курилко и Березкина. Корха был словно пущен с тетины, потому с ходу не понял смысла происходящего, не вернулся в режиссерскую и не сел снова, сгорбившись и страдая. Вошел. Федор Макарович не слышал шума двери, не существовало для него и двух неуверенных шагов, которыми Влад переступил с ноги на ногу. Глаза шефа были опущены в бумаги, наверное, он был сильно занят, а движение при входе почел за медленный уход Пата и Паташона. Корх на минуту вообразил, что его, жалкого просителя, и впрямь нет не только для Очкура, но и вообще в природе нет.

Влада снова окутала липкая пелена тумана. Она исходила откуда-то изнутри, топила горячей волной все тело,



мозги задыхались в ней. Молодой мужик задним ходом переступил порог высокого кабинета, спрятался в секретарской. Ноги подкашивались, он брел вслепую.

Потом снова сидел в режиссерской комнате, где-то внутри себя плакал. Но теперь ему не пришлось долго оставаться наедине со своими страхами. Украдкой вошел Потап Курилко. Присел напротив, робко положил руки на стол, посопел, повздыхал:

– Надо было тебе?.. Глупо ведь эдак. Теперь не забудут... Сочувствую, но я-то чем могу помочь?! Я мелкая сошка, начинающий, вышибут и меня, мол, не прошел испытательный срок. Второй раз не попадешь на такую синекуру.

Мокрыми глазами всмотрелся Влад в нового приятеля, а тот вслух произнес то, что думалось:

– Рада говорила... – Спохватился: – Ой, извини.

– Спасибо за сочувствие. Думай о себе, брат. Оставь меня...

Даже обидно стало, как живо Потап исполнил просьбу.

Словно дождавшись очереди, минуту спустя влетел бодренький и с большим запасом словес Березкин.

– Да, влетел ты с высокого трамплина в риф! Тебя кто за язык тянул? Чех, малаец, да пусть даже эфиоп, кому это интересно?

– Кому-то – нет. Но к политкампании, видишь, нашлись заинтересованные.

– О да, партбюро срочно созвали. Мой совет: беги, брат, из этой конторы по собственному желанию. Съедят! – И такой юношеский, озорной хохоток.

– Да, партбюро? Прости, прости...

Корха пружинисто вскочил из-за стола и, как десять минут тому назад, рысцой побежал на второй этаж.



Этот Паташон – не глас свыше, он слышал звон и торопится быть первым – молва студии. Надо знать из первых уст... Постучался в приемную. Слава Всевышнему – секретарша в туалете, без барьеров вбежал прямо к самому Очкуру. И на пороге замер. Преобразился – нехорошо являться мокрой курицей, битым и сдавшимся на милость повелителя, лучше запросто, по делу.

– Федор Макарович, – начал протяжно и вежливо. – Как там наша пьеса?

Мэтр откинулся в кресле и чуть привстал, растерялся, словно его застали со спущенными штанами. И от непонимания: как это без доклада, да еще с копыта с вопросом?! Тут вопросы задают из-за широкого стола...

– Что за пьеса?

– Ну, та, что я должен поставить.

– А-а... Да никак.

– Не успели прочесть?

– Что там успевать! Семнадцать страниц. – И окончательно: – Не пойдет.

Сильный пульс бил в темя, мысль спешила на помощь:

– А как же лишние деньги?

– Деньги лишними не бывают. – Оказывается, Очкур даже на высоком посту не забыл народную мудрость.

– Но бухгалтерия!..

– Здесь кредиты распределяет не бухгалтерия. – И выразительные глаза под бровями-щетками опустили в первую попавшуюся папку. – Деньги пойдут на премиальные. Молодежь надо поощрять. По командировкам мотается, в студии просиживает допоздна...

– Ясно... Простите...

Выше ходить некуда. Бежать. Но куда? Никто и нигде не ждет какого-то Корху с новой работой, дома требова-



тельная супруга ждет жилье, даже занавески расшивает и вслух прикидывает, как в течение пяти лет прикупит мебель, да такую – недорогую и удобную. И все же Влад брел по коридору, как по заболоченному омуту.

Из кабинета общественно-политической редакции вынырнул Виталий Николаевич, старший редактор, недавний офицер, говорят, вынужденный переселенец из Западной Украины. Что-то там перегнул, палку или идею...

Ага, это он выходит из заседания бюро всесильного парткома.

– Виталий Николаевич! – излишне громко обратился к партийцу Влад.

Угрюмо и чуждо окинув взглядом этого молодого человека, почти ровесника своего, парторг кивнул за поворот, в тень, шепнул, как заговорщик:

– Отойдем в сторонку.

– Виталий Николаевич, у меня тут недоразумение. Я хотел с вами откровенно...

– Откровенность за откровенность. Дело только начато. Молодежь возмущена, ветераны настаивают... подписали письмо в партком. Складываются бумаги, придется показать повыше...

– Где в молодежном, новейшем заведении ветераны? – вырвалось само собой.

Получилось уже вослед уходящему – его больше не слушали.

Государственная мельница прокручивает жернова: благо, появилось зернышко, есть что молоть, отрабатывать право пользоваться партийным корытом. Продолжать стелания нет смысла.

И снова сидит Корха в режиссерской, не за что уцепиться, некому поплакаться в жилетку. Да, но ведь он же увяз в работе. Надо закончить репетицию атеистической про-



граммы. Наверное, теперь следует перестраиваться в угоду боссу, изменить место проведения лекции, которую намерен читать старый обкомовский дурачок. Корха хотел было посадить слушателей в старом-старом дворе, на фоне разваленного забора, из-за которого виден роскошный дом райкома партии. Эдакий контраст: извращает Заповеди атеист, врет о процветании нации безбожников, а картинка показывает, что процветают власти предедержавные, а народ ютится в каморках среди развалин, да еще вынужден слушать чуждую ему мораль. Увы, теперь такие ухищрения ни к чему, смертельно опасны.

Да, надо сбегать в театр, извиниться перед артистами, которых вызвал на завтра на репетицию. Они пострадали, потеряли какой-никакой, а приработок. И тут вина целиком и полностью на нем, на Владе Корхе. Чехом уродился, дурак! Язычок прикусить не сумел вовремя – еще раз дурак!

Первой в театре, в беседке-курилке, нашел Азу Власову. С этой молодой субреткой у Корхи два года назад случился самый глупый диалог в его жизни. Накануне закончили прямую трансляцию спектакля. Исполнители ролей и группа телевизионщиков вышли на воздух перевести дух. Молодежь, жаждущая остограмниться, разбежалась по ночным кафешкам, матерые отцы семейств побрели домой. Издерганный живым монтажом кадров в прямой эфир, Влад доковылял до сквера и упал на первую подвернувшуюся скамью. Небо провалилось само в себя, луна вроде бы беспривязно плыла не в ту сторону, воздух пьянил без вина. Красив город, когда ночь прячет все его выбоины, ошурки, плевки, угрюмые лики. Ах, было бы так чисто и при свете солнца, и ныне и присно!

Рядом оказалось чье-то полуобнаженное плечо. Девичье. Рассмотрел сарафан, нюхом учуял вазелин и лигнин,



которым стерли грим. Догадался: из нашей труппы; не вникая, кто, спросил:

– Ты?

– Я.

Это была Аза, в течение двух часов щебетавшая на подмостках, прыгавшая и плясавшая, очаровательная, аппетитная, прямо съел бы.

– Пристала лошадка?

– Ой, не говори.

И девушка завалилась головой ему на грудь, умело, как бы продолжая свою роль, прошептала:

– Вот так бы и уснуть.

– Спи, – растерянно выдохнул Корха.

Девушка потянулась к его лицу и трогательно, по-детски поцеловала в подбородок.

– Не искушай, – слабо проворчал парень.

– А чего же? Давай начнем, ты мне очень-очень...

И обхватила шею, возбужденная, требующая утolenия. Полная луна ударила в голову и Влада, кстати вспомнил, что выдающиеся спортсменки перед стартом жаждут секса; может, актрисы – после спектакля... Молодые люди медленно, смакуя, потом все бойче и жарче целовались. Наконец он оторвался. И тут пошел тот памятный, может быть, из прошлого века, а может, совсем из дурдома, диалог:

– Аза, хватит. Я ведь того...

– Что того?

– У меня девушка...

– Не женат ведь. И я тебе больше подхожу, я же чувствую...

– Да, но я с ней того...

– Что того?

– Ну, один раз, но для нее – первый. Я обязан на ней жениться...



Потом около года эти двое старались не встречаться, стыдно было со всех сторон, да и не мог Корха бросить все завязанное уже на плотской любви и перебежать к исходным обихаживаниям...

Теперь же он женат, остыл, замучен страхом и виной, не до воспоминаний.

– Аза, там я собирал вас на репетицию. – И глотал сухую слюну. – Можешь передать всем своим, что пьесу сняли с постановки. Я вам за беспокойство найду способ заплатить. Вот получу аванс...

– Владик, ты святой! – Девушка коротко засмеялась и тут же оборвала хохоток, вдруг догадываясь о чем-то тяжелом для этого незабытого ею парня. – Не парься, Корха, репетиции вашей пьесы начал наш режиссер. Твой Очкур нанял исполнителей вместе с режиссером, мол, барин не уверен в твоих возможностях...

Влад побледнел мертвенно, он уже не видел артистку Власову, не слышал ее утешений. Сначала пяťась, потом трусцой побежал в студию.

Быстро крутятся жернова, налажена работа в стране.

– 14 –

Еще издали, в аллейке, Влад увидел рослого мужчину в приличном, прямо парадном костюме. Лет двадцати восьми, с короткой прической, выбрит. А подойдя ближе, уловил едва живой запах хорошего лосьона.

– Здравствуйте, – вежливо сторонясь, сказал мужчина. – Вы Владислав Корха? Очень приятно.

Теперь Влад боялся всех, хотел прошмыгнуть мимо этого здоровяка. Но тот так приветливо улыбался и таким мягким жестом пригласил пройти в тень акаций, что пришлось повиноваться.



– Я Леонид Максимович. Хотел вас видеть на бюро, но увы...

– Еще одно бюро? – Душа покатилаьс откуда-то сверху, где ей положено теплиться, похолодела и – в пятки.

– Да бросьте вы! – по-свойски успокоил новый знакомый, явно заметив бледность на лице спутника. – Сядем, вот лавочка.

Сели. Помолчали. Влад тупо, потерянно, а новый знакомый с дальним умыслом. Первого прорвало:

– Опять Чехия... то есть Чехословакия?.. Социализм с человеческим лицом, будь он неладен!

– Вы помните Соломона? «И это пройдет». Наши стальные крылья погудят над их столицей, наши гусеницы поглядят мостовую на центральных улицах Златой Праги, и горячие головы остынут, вместе с их Дубчеками да Смрковскими. Венгрию помните? Второй акт комедии.

– Так зачем же такая акция на всю страну?

– Чем-то жить надо...

Сверх ожидания! Этот мужик – большой антисоветчик, чем он, Корха. Что это он так сразу? И какое ему дано право!

– Да, да...

– В последнее время совсем скучно стало на ваших экранах. Поколотим море палкой, хоть какая-никакая волна пойдет.

Это было сумасшествие: Влад хохотнул, и смешинка влетела в нос собеседнику. Тот хмыкнул и культурно так, сквозь зубы, посмеялся. А бедный режиссер расхотелся, цитировал из Твардовского:

– Это все такие страсти из разряда бабьих снов, что грозят советской власти потрясением основ.

Тут осекся, наверное, перебарщивает, вдруг тут провокация?..



– Нам нужна ваша помощь, – доброжелательно и серьезно сказал Леонид Максимович и огляделся по сторонам.

– Моя? В моем положении?

– Ваше положение зависит от вас.

– Интересно! Слушаю.

– Придите к нам завтра к восемнадцати ноль-ноль.

– Простите, куда это к вам?

– Я ваш куратор от компетентных органов.

– Ах, в серый дом? Не приду.

– Мы не такие страшные, как нами пугали людей целыми десятилетиями.

– А что подумают мои коллеги в студии?

– А что они думали, когда сочиняли вот это...

Куратор полез за борт своего тонкого, в одну пуговицу пиджака и достал большие листы бумаги, сложенные вдвое.

– Это что?

– Это то. Все из вашей подноготной.

– Хм...

– Я говорю, нам нужна ваша помощь. За этими ребятами нужен глаз да глаз. Они пока живут правильно, но могут сбиться. А ведь оба служат в идеологической организации. Им не к лицу вот так за компанией тащиться. В вашем случае они по первому слову парторга написали пасквиль на вас. Так же их может унести и другой поток, встречный. Молодо-зелено. Мы знаем, что парни с экрана вещают одно, в курилке говорят другое, а живут каждый своей комфортной жизнью. Вот мы и хотим держать их на виду, пока у них не сложились превратные, но твердые убеждения окончательно.

– То есть я должен буду стучать на них? – неожиданно металлическим, со звоном, голосом спросил Корха.

– Это слишком вульгарно сказано. Вы будете помогать нам.



– Не буду.

– Я же вам показал, кто они, – и куратор пошевелил большими листами дробно исписанной бумаги.

Влад встал, вытянулся без поклона:

– Простите, мне с вами не интересно.

– Не торопитесь, с развитием вашего знакомства с нами... у вас наладится жизнь... и на службе, и в быту...

– Все, что случилось со мной в последние два дня, куда легче принять и переварить, чем ваше предложение... Прощайте, мы не знакомы.

Повернулся, гулко вбивая каблуки в асфальт, пошел прочь.

Кажется, расслышал сзади холодное и суровое:

– Напрасно.

Последний раз Владислав вошел в режиссерскую комнату, последний раз нашарил бумагу и ручку на столе. Написал заявление об уходе по собственному желанию. И как бы сбросив с плеч вселенскую вину перед милым коллективом, да и перед всей немилой державой, налегке вышел в коридор, во двор. Привычно бы оглянуться на все, к чему ты по-настоящему пригоден, на что ты надеялся, на все, что ты покидаешь с большими потерями: работа, квартира... Но не оглянулся, гордость отверженного и потерянного не позволила. Он теперь свободен.

А ведь шел Корха в никуда.

– 15 –

Сорок лет спустя. Федор Очкур давно умер. Внезапно. Вернулся с вечеринки у профсоюзного босса, у себя в прихожей присел на обувной ящик развязать шнурок да так и сидел, пока не застыл, пока не окликнула, а потом не коснулась его плеча дочка. Завалился набок...



Пат, то есть Потап Курилко, в свои шестьдесят два года сидит в роскошном кабинете Очкура, зарплата и пенсия немереные. Отношения с людьми двойственные: боится их несказанно – совесть ведь не залепишь купюрами, а ведь руководить приходится окриком и грозной миной на лице. Втайне сам подтрунивает над собой: оклад оплачивает его грозный вид и казенные команды, а пенсия компенсирует душевный страх и фрейдовскую вину перед Всевышним. Благо, совковые страхи живы в смердах доселе, к тому же подбор кадров не из самородков, да такой, чтобы подчиненным понятна была только первая часть речения: я – начальник, ты – дурак...

Паташон, то есть Юлий Березкин, несмотря на ежедневную крупную дозу алкоголя, был за истекшие годы проведен через две всевозрастающие должности с тем, чтобы у дружка образовалась большая чиновничья пенсия. Да и теперь он частенько появляется на экранах телевизоров, даже не подвизажировав следы вчерашнего бодуна. Начальственный друг позволяет ему приработок – на бутылочку-другую. Ну и на бабенок, уже не тех, что клеились смолоду, но бокастых и объезженных, да уж – что плывет к нашему берегу...

Бывший парторг и яростный коммунистический активист Виталий Николаевич в свои семьдесят за полставки бегаёт по коридорам областной газеты – спецкор. Возвышенно пишет о новом, капиталистическом, укладе хозяйства. В свободное время сочиняет рассказы, все до одного о том, в каких ежовых рукавицах большевистская власть держала бедное население, каким душевным и телесным издевательствам подвергала друзей и коллег новоиспеченного писателя. Здоровенький, носу ему нет.

О Владе Корхе можно расспросить у его соседей из коммунального двора, им все видно и все слышно даже но-



чью, через тоненькую дощатую стенку и треснувшие, кое-как залепленные печные окошка. Два голоса, когда-то молодые, потом изношенные и, наконец, давно и сильно постаревшие и осипшие, верстают аудиовоспоминания:

– Чего ты от меня хочешь? Я же не пропиваю, я даже не курю! – Это глухой, мужской.

– А что ты приносишь в хату? Ты никогда ни паршивого рубля, ни купона, ни гривны не принес! – Это ведущий, женский.

– Врешь, дура! Приносил! – чуть осмелевший низкий...

– При царе Хмеле, когда была людей жменя. Сто лет назад!

– Но приносил же, – все ослабевающий, из угла.

– Сколько? Пока мог, махал молотом. Устроился на ипподроме молотобойцем!..

– Меня уважали...

– Да, на день рождения подарили пятипудовую наковальню. Вон тридцать лет стоит во двореке. Даже пьяницы не осият утащить на металллом!

– Я не сидел дома...

– Ну да, потом сидел сторожем на мебельной фабрике. Спал с горя денно и ночью, пока воры тебя не вынесли вместе с диваном! Выгнали ведь, я еще годами штрафы выплачивала!..

– Бессовестная ты... ничего ты не поняла во всей нашей жизни!

– На хрена мне понимать в жизни? Я в тебе все поняла! Импотент сморщенный! Катись на все четыре стороны!

– Ни в одной из четырех сторон никто меня не ждет... – Это уже со слезой.

Вот такое начало тысячелетия. А все пошло от трех дней августа незабвенного тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.



НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, ЛОТ!..

*...не имеющий здесь пребывающего града,
и града грядущего не взыскивающий.*

Писание

На углу Садовой и Морской можно было встретиться и вчера, и сто раз до вчера – центр города. Но случилось только в это пасхальное утро, когда многое дозволено. Православные выходят из церкви и целуются с ближними, желают исполнения всяческих произволений.

Родиона Трушина донимало одно, но греховное желание – женщина, но, кажется, и это ныне дозволено – Великдень, праздник всеобщей любви ведь. И вот вполне реальный вариант – Раиса Личутина.

Короткая хроника. Близок рубеж тысячелетия, выпускной класс в далекой и заброшенной деревне. Летом Бакшала мелкая, воды на метр, а под ней – жидкого ила на полтора. Пацаны ныряли белыми, а выходили из купели неграми. Зимой одна радость: спуск с обрывистого холма – Бабы Катри, кто на чем: девчонки на салазках, ухари-парни на коньках, малыши на брюшках. Вся культура – танцы по воскресеньям и дважды на неделе кино, все это в длиннющем амбаре, перелицованном в клуб.

В сельской школе «под язык» репетировали танец «тройка». Три девятиклассницы в упряжке и одна – при вожжах; три в трепаных хитонах линиялого бежевого оттенка, одна ряжена Снегурочкой. Громче всех подавала мелодию Снегурочка – Рая Личутина. Классом старше, пере-



росток Родька сильно хотел ее. Но как подкатить? Взрослая сестра ее растила младшую в умеренном православии – семья жила сразу за церковной оградой. Дед ее, глухой долгожитель, служил звонарем и плоским ликом походил на святого, а отец, шофер и атаман деревенских водителей, слыл силачом и бывал буйным в праздники.

Только угнездившаяся в созревающем парне жажда оказалась сильнее страха побоев и позора. Он подкатывал к Райке на лужке, где сходились девочки похихикать и пощелкать семечки; норовил поднести ее верейку на полевых работах, однажды сильно ударил сверстника за то, что тот при подружках обозвал ее засранкой.

Худо-бедно, Родька и Райка стали возвращаться из школы вместе, и зажила в парне одна радость – Рая Личутина, белокурая, смазливая девочка всего одним классом ниже, но уже заметно фигуристая: волосы не заплетает, грудки топорщит, ступает по битым в сушь и скользким в дожди дорожкам продуманно, зная, что кто-нибудь да смотрит в ее сторону. Родька Трушин написал ей на страничке в клетку, мол, что ты ходишь павой, смотришь выше моей головы, зазнайство не к лицу деревенской девчонке... Не ждал ответа, но на втором же уроке получил через руки одноклассницы свою страничку в клетку. Хотел не разворачивать, так и выбросить. Но рассмотрел. Находчивая, шельма! Сама писать не стала, сделала правки в его тексте: синим карандашом все обращения в женском роде переделала на мужской род, так же согласовала падежи и все другое. Получалось, что это он ходит павлином, смотрит выше ее головы и что зазнайство не к лицу деревенскому парню. Такая выходка доконала Родьку: не только красивая, но и умная эта Райка Личутина!



С е г о д н я

Р о д и о н : Ну, Раиса Алексеевна, вы вся из себя!

Р а и с а : А вы, Родион Алексеевич, ходите с теми же пунцовыми губами, что и в молодости!

Р о д и о н : Да, тридцать лет это уже – с базара.

И быстро, быстро думал мужик: надо с ходу, а то заболтаешь ситуацию, еще всплывут комплексы, откуда ни возьмись придет скромность, и – момент упущен.

Р о д и о н : Зайдем ко мне, я тут рядом, за святым местом ючусь...

Р а и с а : Неудобно. Супруга ведь?..

Р о д и о н : Один, аки перст указующий. Это тебе следует оглядываться.

Р а и с а : Рада бы, да не на кого.

Р о д и о н : Если ты, подобно чеховской Акулине, скажешь: я жила только с вами, больше ни с кем, – не поверю.

Р а и с а : А если ты скажешь, что десять лет искал только меня, я поверю.

Р о д и о н : Да пусть это будет твоя последняя неправда! Стены моей каморки краснеют от лжи. А я недавно поменял обои на голубые.

На втором этаже хрущевки – однокомнатная хижина с пятиметровой кухней.

В прихожей было тесно двум вертикально стоящим, валялся мусульманский коврик – тут приличествует снимать обувь, как перед храмом. Комнатка на первый взгляд вызывает слабое «ах»: пол покрыт двумя сшитыми матами и сверху, на все шестнадцать метров, дешевым турецким ковром. На затененной стенке, на уровне головы, – лихо принайтован телевизор, на подоконнике две раскрытые книги и полупустой стакан с запахом малины. В красном углу, прямо на полу, – икона Божьей Матери.

Р о д и о н : Образ уникальный, имя ему – Взыскивание погибших. Оригинал.



Р а и с а : И это все?

Р о д и о н : А что еще нужно для счастья?

Р а и с а : Ну, хотя бы укрыться в зиму.

Р о д и о н : На балконе проветривается шкура из старого топтыги и плед из дюжины кроликов.

Р а и с а : Питание, понятно, на кухне. А лучшая твоя половина?

Надо шутить дальше, да так, чтобы в сказанном была только доля шутки.

Р о д и о н : Так вот же она!

Он ткнул пальцем между ее грудок. Не сговариваясь, пошаркали босыми ступнями на кухню.

Р о д и о н : Тут все, что надо: газовая печка, холодильник, раковина с немытой посудой, две пустые пивные бутылки, обе схваченные паутиной – давно опустошенные. Даже мухобойка и карманный пылесос.

Возникла пушистая смешинка, разделилась на две и попала в рот обоим: хихикали на всякую пустяшную реплику, то он, то она, то вместе.

Р а и с а : Скромн раб Божий, чувствуется соседство храма.

Р о д и о н : Соседство уже слегка примелькалось. Лоб крещу, только когда тревога. Или к радости, вот, по случаю явления твоего народу.

Удачно сказано, даже присели от смеха.

Р о д и о н : Чай, кофе? Можно с коньячком.

Р а и с а : У тебя запасы?

Р о д и о н : Никаких. Но я сбегаю.

Р а и с а : Ограничимся чаем.

Р о д и о н : Так и заварки нет.

Ну, тут уже смех полился праздничный.

Р а и с а : Только не оглядывайся, Лот!

Р о д и о н : Не будем, так и досмеемся до конца.



Вопреки ожиданию в жестянке оказалась ложка зеленой китайской трухи, а в сахарнице – наш, голованевский, рафинад. Можно было сидеть друг против друга, беззвучно прихлебывать, всматриваться и заново узнавать друг друга от гребенки до пят.

Р о д и о н : Чем кормишься, Рая?

Р а и с а : Сейчас придумаю, как объяснить.

Р о д и о н : Напоминаю: мои стены имеют свойство краснеть.

Р а и с а (*после паузы*): Теперь распространилась новая профессия: реализатор. В моем случае, наверное, реализаторша.

Р о д и о н : Где-то рядом магазин, если встретились тут?

Р а и с а : Перехожу из рук в руки. Рыба ищет, где глубже... А ты, если уж заполнять анкеты?

Р о д и о н : Служил правительственной партии.

Р а и с а : В деятелях, поди?

Р о д и о н : Сошка, шестерю. Перекладываю, клею, сжигаю бумаги.

Р а и с а : Много жечь пришлось, если из этого безделья выгорела квартира в городе?

Р о д и о н : Иногда придумываю тексты для тупых боссов. А при счастливой мысли – выдаю месседжи и даже направления мысли. За эти трюки недоученные начальники хорошо платят. Вернее, раньше хорошо платили, когда при власти. Теперь нужда в моих выходках отпала.

Р а и с а : Кошки под тельняшкой не скребут?

Последнего вопроса Трушин не слышал, он уплыл в далекую десятилетнюю давность. Она взгляделась в помутневшие глаза некогда обожаемого мужчинки и тоже отключилась.

Х р о н и к а

На леваде Родьку достали бутсом в пах. Заезжий хирург в райцентре заштопал ему плеву под кожей, и через неде-



лю выпускник был на ногах. Однако парню захотелось покрасоваться больным. Придумал наголо побрить голову и походить, держа руку в кармане, как бы зажимая рану. Раю это тронуло, девушка поджидала Родьку после уроков и провожала до дома, там и начали целоваться. Стоя в тени вишняка, сгорали от прикосновений рук и губ, шарили друг по дружке бесстыдно. Месяц спустя, уже в опавшем, но еще сухом палисаднике, свалились, – это было двадцать третьего октября в десять вечера, – она на спину, он на нее. Парень полез девочке под юбку, стаскивал ее короткие, уже местами влажные штанишки. Она не прогибалась, не корчила из себя недотрогу, даже не стонала и не ойкала, когда жесткий, бешеный пенис неумело драл волосики на ее лобке, а потом разрывал девичью плоть. Она совсем не дышала, только донельзя вытянула руки за голову, нащупала сухую веточку, с треском ломала и дробила, дробила ее в одеревенелых пальцах, потом тащила в рот и кусала.

С е г о д н я

Она так же бессознательно упала на турецкий ковер, закинула руки за голову, искала, нащупывала сухую ветку. Ветки не было, тогда она ногтями впиалась в волокнистую ткань и выдергивала по миллиметру ворсинки. В ней сегодня было много нового. Ее ласковое дыхание в такт его движениям, ее встречные толчки, желанные и неожиданные, горячая дрожь и живой, радостный плач, тихий, мелодичный и милосердный. Ему тоже захотелось плакать. Это счастье.

Х р о н и к а

После выпускных экзаменов они расстались просто. Он со второй попытки сдал экзамены в Николаев, в кораблестроительный, – была большая надежда устроиться на



крупном заводе и никогда не возвращаться в запустение села, в болото Бакшалы, к обноскам и вечному недоеданию. Раю после неудачи в Одессе родители увезли в Кировоград: там была пробивная тетька, которая обещала, не с первой, так со второй-третьей попытки, пристроить девушку в университет. Прощались в глухой лесополосе, извлялись в августовской травяной и цветочной пыли, облепились колючками верблюжьей травки и репейника – не чувствовали боли и печали. Впереди подъем по мраморным ступенькам – в люди. Что было в прошлом – знаем, что ожидает в будущем – узнаем, хуже не станет!

Институты закончили.

Сегодня... кто они сегодня? Оба поняли, что жизнь – это не то, что ты задумал, и совсем не то, что ты проживаешь; но то, что сложилось по воле рока, и то, что творит с тобой общий коловорот бытия.

Посидели голенькие на матах, перешли на кухню, допили чай. Этого было достаточно, чтобы рассмотреть ее пересохший, сбитый маникюр и длинные заусеницы, прожилки на натруженных кистях, подкрашенные через один и забытые ногти на ногах. Самое жуткое – от ее великолепного тела отдавало кисловатым крестьянским потом, а еще – хронической усталостью.

Расставались замедленно, с тягучей любезностью, чтобы скрыть поспешность, попытку не замечать еще многие детали своего теперешнего прозябания в городе.

- Ты заходи иногда, Раечка,
- Да как-то выберу время, Родик.

Она не сказала ему, что уже неделю ищет угол для проживания на окраине города, чтобы подешевле... и меняет хозяина магазинчика, липкого и липучего прилипалу, ищет поговорчивей да без приставаний, как у этого, – в подсобке, грубо, жирными лапищами в пыли и паутине, –



по самым сокровенным долькам тела... Не сказала, что уже эту ночь ей негде переспать.

Он не сказал ей, что его донедавна правящая партия изгнана в оппозицию, приработки чувствительно сократились, а если сказать так, чтобы не краснели стены, – совсем исчезли, местный босс намекает на сокращение штатов и смотрит на Трушина поверх головы – начнут с него...

Они не обменялись номерами мобильных телефонов, – если у Раисы вообще была мобилка, не переспросили адреса...

Только потом-потом, в легком забытье полночи, в эротическом полусне Родион сознавал, что лучшие мгновения его жизни были не в дни, когда он придумывал удачные месседжи и получал крупные «у.е.». Даже не во время даровых поездок за рубеж и посещения продажных красавиц... Но только в те недолгие часы, те мгновения во всей его биографии – с Раисой Личутиной, наивной, целенаправленной и самоотверженной самочкой. Понимал и тут же изживал в себе это понимание – не складывалась жизнь для такого счастья.

Не оглядывайся, Лот!

Раиса же однажды на вопрос товарки по прилавку, кто ей больше всех нравится из знаменитых киноартистов, вдруг ответила:

– Родька Трушин.

Не оглядывайся, Лот, погибнешь!

И все-таки она оглянулась. Трижды топталась у церкви на Садовой, все надеясь перехватить Родиона. Повела себя хитро: узрев его походку из-за забора, отвернулась и пошла впереди по его дорожке.

– Эй! – крикнул он, захрипев от внезапности. – Дамочка, вы у нас причащались-исповедались?

– Ой, снова ты? – Рая даже оступилась от неожиданности, артистка.



...Шагнули на его обжитые маты. Выпили запасы вина, повторили знакомый акт, впитывая друг друга и выдерживая бахрому из коврика. После шумных вздохов и дурковатых смешков Родион вдруг сказал:

– Ты побудешь у меня месячишко, а? Что-то одиночество достает, запью...

Она ударилась взглядом о потолок, еще хохотнула, по инерции, подсчитала вслух:

– Сегодня двадцать девятое июня. Месячишко... Ладно, хоть Божью Матерь в красном углу прикреплю.

Местные политики затеяли новую грызню, Трушину пришлось заседать и орать до хрипоты в штабах, в мозговых атаках. Потом возить «у.е.» в районы – средства на оплату «бескорыстным» сторонникам его партии. Только все усилия его были направлены не на победу идиота от верхушки его партии, но к тому, чтобы поскорее избавиться от трудов на чужого дядю и оказаться на своих матах, рядом с Раисой. К тем забавам, что принято называть политикой, даже к заработкам, он потерял интерес. Его занимала странная землячка. Голенькой она могла конкурировать с победительницами конкурсов красоты. Падали с нее бедные уборы – оставалась богатая натура. Отдавалась она истово, с напевами и пританцовкой: стоя... опускаясь на колени... перекатываясь от стенки к стенке... с неженской силой сжимая его всеми четырьмя точеными конечностями... потом вдруг исчезая и появляясь с другой стороны... угадывала его желания за миг до их возникновения...

И все же это у Раи было не главное. Интересна она была в обиходе.

Ночь, за окном пустился упругий ливень; ветками бьет в стекла, угрожающе шумит, озаряет комнату частыми молниями, в форточку дышит осенним холодом. Вздремнувший в углу спальни Родион просыпается от глухого



речитатива. Приоткрывает один глаз: Раиса стоит в полшага от окна, обнаженной спиной к нему, и сама себе красиво нашептывает:

– Степь кругом, ни души, ни зги. Я оставлена в самой серединке мира. Вдруг – воробьиная ночь, синие молнии, сухие разряды. Мне страшно, страшно! В какую сторону бежать, где укрыться? За что на меня такое?..

Родион приподнимается, неслышно подходит к женщине со спины, почему-то робея, кладет ладонь на ее плечо:

– Укроемся вместе...

– Отойди! – вдруг обидно чужим, низким голосом обрывает его Раиса. Плечо ее стряхивает теплую руку Родиона, он даже отступает.

– Чокнулась, что ли?

Она не оглядывается, широкими глазами бросается за окно и шепчет, шепчет:

– Сотня, тысяча, миллион – под кровом, сытые, обласканные... Но одна – в степи, брошенная и голодная. Это я. Жуткое одиночество, холод, вечность... Так в степи возникают каменные бабы...

Родион не дурак и к тому же довольно безразличен к чужим закидонам. Свалился на свой мат, уснул. Утром не вспомнил о ночных гастролях партнерши. Сразу вскочил и пошел на кухню. Ан не первым он проснулся. Рая уже хозяйничала: бутерброды на столе, кофе в термосе. А сама невинно досыпает, поновляет ночные траты.

Субботний вечер. Включен телевизор на стене, хозяин развалился после трудов праведных, смотрит все подряд. Раиса как-то демонстративно уходит на кухню, потом в ванную и снова на кухню, до обидного долго копается там. Он жаждет женщину рядом, даже выглянул:

– Ты что?

– А я не люблю телевизор?



Однако в двадцать один час Родион уличил ее:

– А вот смотришь и даже улыбаешься.

– Это «Хит-парад живой природы». Снято скрытой камерой.

– Зверушек любишь?

– В моем обиходе сильно не хватает правды. А тут – душу отвожу.

– Странно! Про мохнатых и пернатых – подай. А про людей?

– Про людей... одно и то же, одно и то же. И все – фальшь.

– В церкви тоже одно и то же.

– Не позволяй себе говорить такое. Есть каноны, а есть трафарет. Первое – истина, от святости, а второе – от лени ума. Не люблю!

– А что ты, кроме зверушек, любишь?

– То, что могу сама...

– А что ты можешь сама?

Уже не первый раз злой нерв пробегает по ее лицу:

– Интересно, хоть один чудака на этом свете знает, какая собака в нем зарыта?

Сказано просто, однако сразу не поймешь.

Как-то под вечер Раиса протирала полы на кухне. Родион подпер створку двери плечом и рассматривал ее обтянутый плавками и выступавший из-под стола упругий задок. Из-под столешницы послышался ночной ее речитатив:

*Летят года, как снег, как дым,
В безумном Броуна движении –
Ты остаешься молодым
В моем больном воображении.*

Он прыснул смешком:

– Эй, там, под столом! Девушка, это ваши стихи?



Она вывернулась к середине кухни и села на скамеечку:

– Разве это стихи?

– А то?

– Я и не знала.

– А что ты знаешь?

Смятение и растерянность расхаживали по ее румянному лицу:

– Пожалуй, я, как и все, ничего не знаю.

На такой мелочный вопрос столько энергии отдавать!

В душное воскресенье после домашнего *симпозиума*, – что на латыни означает: после обильного возлияния и принятия пищи – возлежание в кругу гетер, – Трушин возлежал не в кругу, но рядом с одной, стоящей многих. На тех же покрытых ковриком матах. Руки и ноги раскинуты, дыхание раскачено, воля вольная, хочешь – протяни руку и накроешь пышную, даже жесткую растительность на милом лобке пылающей женщины. Все до того хорошо, что в голову полезли печальные мысли. Родион почувствовал вину перед Раисой.

– Эй, там, на борту, вы еще живы?

– Как никогда, кэп!

– Я задумался... Скучно я обустроил твои вакации. Десять часов по будням ты при своей лавке. У меня ты стряпаешь, убираешься, крупные и мелкие постирушки устраиваешь. Отдых тоже в трудах... любви. А не сходить ли нам куда-нибудь?

– Куда?

– В театр.

– Не хочу.

– Ты просто не знаешь, что это такое.

– Знаю. Была... трижды. Приукрашенные подстарки выходят под фонари и громко, для людей с дефектом слуха, произносят молодые слова, сочиненные лысыми, за-



бывшими правду стариками. Да отобранные, придуманные мысли, чтобы не обидеть и власти, и зрителей. На подмостках царит договоренность: актеры наперед знают, что будет, в зале тоже знают все наперед, но принято взаимное уважение – хозяева и гости... Вот так два часа уважают, уважают, а потом пять минут хлопают в ладоши. Ладушки-ладушки!

Родион принялся хохотать, Раиса примолкла.

– Девушка, телевизор тебе претит, театр ты не признаешь, книжки читать, при твоих трудах, некогда. Что же составляет твою духовную жизнь?

– Ты забыл, что я жила у сельского храма, пока его не закрыли, что мой дедушка был церковным сторожем и звонарем, за что Бог продержал его на свете сто пять лет...

– А-а-а, в свободное время ты молишься? Но я не замечал...

– Молитва – святой акт. Лучше ночью, когда ты одна перед Богом. А стоять на юру на коленях, когда по тебе ходят, над тобой галдят... один солидарен, а другой презирает, а все вместе вносят в душу суету и сумятицу... Давай об этом не говорить. Это только мое.

– Понимаю. Но искусство? Ты же читаешь стихи про себя, целый день носишь с собой какую-нибудь мелодию, запоминаешь ситуации от классиков, добрые и дурные, учишься следовать им или отказываешься от таковых. Где-то все такое нужно набирать – с экрана, со сцены, из книжки...

– Набираю с натуры. Живу. Встречаю в натуральные ситуации и играю в них свою роль. Там фальшивить не удается – сразу выбросят из житейского спектакля. А если фальшивят партнеры, я ухожу, отказываюсь от роли...

– Со мной ты тоже играешь?

– Это моя лучшая роль!

Не женщина – леший знает кто!



Впрочем, Раисино нежелание искать развлечения объяснялось и другим. Как-то она заикнулась об отсутствии в городе и округе свободного пространства, рощ, лугов. Полуостров Богом и светлейшим князем Потемкиным был предназначен для двадцати-тридцати, ну, на худой конец, ста тысяч обитателей. То есть на одну верфь с прочей выгодой и службой, или, по-нынешнему, – инфраструктурой. Милитаристы построили три завода и, естественно, отняли у Бога всю площадь между лиманом и рекой. Продохнуть негде, потому и на воздух не хочется. Теперь заводы развалились, а инфраструктура, этакий муравейник с муравьями, осталась. И совсем убедительная причина домоседства женщины: хорошо отдохнуть с поездкой в дальние края – нет средств, а кое-как – она не желает. То есть дома с давно обжитым Родионом ей лучше.

Такое неожиданное заключение вызвало тихий, тут же подавленный гнев у Трушина. Маленькая серая кошка поскреблась в затылке: подумаешь, запросы у крестьянки! В болотистой, тощей деревне было комфортней, была та еще инфраструктура!

– И все же мы здесь, – вздохнул он с нарочитым облегчением, пробуя поставить точку на такой домашней философии. – Мы осели в городе.

И напросился.

– С чем мы перекочевали в город, в эту пусть серенькую, но уже обкатанную, притершуюся цивилизацию? С мешками, портками и опорками, с психологией хуторян, с привычкой врать и воровать? Поселяемся, где Бог и работодатель позволит, мусор выбрасываем за дом – ветерок разнесет, как в степи. Кланяемся всякому невежде, ждем от него подачки. На воле, в степи, мы зависели от природы: от родника, от пчелы, от соседа... худо-бедно – сам себя кормишь. А тут природа исчезла: камни валяются – мосто-



вая, битый асфальт торчит; дома затмили свет, а занят – нет времени в небо посмотреть... боишься каждого встречного. А то надеешься – может, это твой родник и твой кормилец. И от ужаса мы сразу силится отрешиться от своей простенькой, привычной веры, от своего, пусть куцего, но понятного не только звуком, но и дыханием языка, перекочевываем на чуждый суржик – «по-рузьки какось лёгше». Ни лица на нас, ни достоинства при нас, и тут приходится играть чужие, неинтересные роли. Мы, своеобразные и талантливые люди, становимся бездарными актерами...

Раиса говорила, а Родион думал: не голая и аппетитная женщина лежит рядом с ним, а сухой и нудный законоучитель, мужик в рясе или профессорском колпаке. И что есть настоящее в этом ладно скроенном и переполненном здоровьем существе? Женщине приличествует, прежде всего, быть самкой, притом несколько недалекой и лишь достаточной для утех самца, для домашних забот, ну, в какой-то мере – для украшения быта. Как у правоверных мусульман: проще, примитивней, подвластней. А эта? Да, она удовлетворяет всем требованиям дома: те же – стряпня, стирка, уборка... отдается и ласкает она с восторгом и талантом. Но внутри у нее – еще большая потребность думать, рассуждать. В погоне за куском хлеба и тряпкой на задницу где еще берутся у нее силы и время для философии? С такой партнершей недолго потерять эрекцию. Тяжелый характер – и только.

Хуже то, что рядом с Раей он вдруг почувствовал себя простолудином, довольным малым и почему-то виноватым перед женщиной. Еще одна, уже крупная и черная, кошка исподволь поскребла темя Родиона. Чтобы сменить пластинку, а может, само собой, невольно, из подсознания, прошептал:

– Сегодня красивый день... Двадцать седьмое...



Слева, из-под его руки, из тихих уст Раи донеслось:

– Двадцать девятое послезавтра...

Двадцать восьмого июня, вечером, с пакетами со снедью и под мышками и едва ли не в зубах Трушин открыл дверь своей хрущевки – Раисы Личутиной не было, вещичек ее – тоже. Не разворачивая пакеты, он сел на кухне, ждал весь вечер. Не помнит, как перешел в спальню, упал на маты, заснул. Утром проснулся – ее все нет. «Месячишко»... – вспомнил он. – «Месячишко» прошел. «Итак, все кончено», как поют классики».

* * *

Три года спустя – сообщение по радио: грабители ворвались в пригородный дом под столицей. Искали большие деньги. Допрашивали прихваченных в спальнях хозяйку, тридцати трех лет, и мальчишку – шестнадцати. Убили их. Денег не нашли. Вызванный из командировки хозяин-бизнесмен горько плакал над могилкой семьи. Дотошные журналисты нашли в бумагах покойной стихи и набор рифм к слову «Родион» – он, огорчен, отдален...

Имя это не принадлежало ни мужу, ни его погибшему сыну от первой жены...

Позже Трушин узнал, что Рая Личутина три года назад вышла замуж за преуспевающего землевладельца с тринадцатилетним сыном. Жила под Киевом, пустилась в роскошь.

Может, сообщение об убийстве про нее?.. Не хотелось так думать. Не думал, только песенка Раисы, с некоторой переделкой мужского-женского рода, как некогда в его первом письме к ней, сама собою повторялась:

...Ты остаешься молодой

В моем больном воображении.

– Не оглядывайся, Лот!..



ОРДИНАРНЫЙ ОРИК

Марта Мартыновна не отличалась габаритами, отнюдь: узка в талии, с аппетитными грудками, легкая в шаг, миловидная с лица, моложавая... Но невесток ела поедом, за завтраком, обедом и ужином. И в промежутках.

И не возразишь, требования самой высокой пробы: артистичные, защищенные классической литературой и пособиями по обустройству молодой семьи, нормами этики, эстетики и молвы. А побудительные мотивы – освященная верой и обычаями любовь к единственному сыну Оресту, Орику.

Родился он, когда отец его лежал под саваном. Исключительное потрясение – возникновение жизни и конец ее. Каким же сверхобычным обязан стать этот комочек плоти, чтобы оправдать трагедию!

Успешная актриса оставила театр: нескончаемые гастроли, низкую оплату, аморалку. Держала две любительские студии при богатых заводах и жила святее папы римского – для положительного примера граду и миру.

Читала запоем, чтобы запойным читателем удался Орик, изучала английский и польский с той же целью, шила и перелицовывала по вырезкам из журналов, ставила сыночка рядом с собой под душ и причесывала ежедневно, чтобы малыш произрастал здоровым и гигиеничным.

В детский садик, в школу, в институт провожала почти за руку. Поставленным голосом распоряжалась, выпуская в ворота или на ступеньку трамвая:



– Держись достойно!

Поляки говорят: цо занадто, то не здраво.

На все случаи жизни у матери были веские аргументы, излагались они с актерской верой и убежденностью. Столь же обоснованно и твердо оппонировал им малыш-мальчик-подросток, потом юноша – Орик.

Для Марты Мартыновны он был самым-самым: умным, талантливым, красивым – таким человечество обязано... Для себя – Орик тоже стал образцом.

К двадцати годам третьекурсник Орест Кочетов слыл блестящим полемистом, живущим по другой польской поговорке: на то человек жие, жиби добже зъяты. К двадцати двум – имя дипломированного специалиста русского и английского языков замелькало в газетах города под изящными и довольно дерзкими статейками на молодежные темы. А лицо его засветилось на экранах телевизоров. И несмотря на картавость, Орик был принят ведущим общественных программ с окладом и небольшими гонорарами. Его доморожденная смелость совпала с дозволенной толикой вольнодумства в бесхозной и смятенной стране.

– Мама, это Света. – Однажды он привел бледную девушку в джинсах. – Сообрази чего-нибудь поесть.

Для здоровья нужна женщина, решила Марта Мартыновна. И хорошо обихаживала блондинку три недели, ровно до того утра, когда Орик заявил:

– Света остается у меня. Мы женаты. Оформим потом.

В матери проснулся национальный принцип подхода к невестке, хуторянский, и он оттеснил все навыки и вышкол цивилизации. Немедленно марш, невестка, к рогачам-ухватам, котлам-казанам, корзинам-верейкам, экономии-бережливости! А Орика – на пьедестал и, опережая мать его родную, протирать мужа теплой тряпочкой, приветствовать молитвенно, не позволять ему взяться за холодную воду.



Девушка, несмотря на большую отдаленность от родителей и отсутствие средств существования, продержалась чуть более двух месяцев. К тому времени Орик понял, что она – не вариант: провинциальна, малоинициативна в постели, и все прочитанные им, уже без матери, классные приемы секса молодайка никак не могла освоить, не та органика. Расстались.

Смуглая семиточка Ида показалась Марте Мартыновне не столь красивой, сколь перспективной. Бушевала мода на Израиль, и девушка намекала на семейный переезд в теплые и авансом обеспеченные края. Вот только оформятся все документы, ну, три месяца... Ради законности пришлось позволить Орику расписаться. И далее: занять комнату побольше, с лоджией, а главное – мать согласилась принять на себя приготовление пищи и на «третий рот» и – терпеть. Уже не по польской, а по нашей пословице: овчинка стоит выделки.

Миновало три месяца. Овир затягивал с документами. Закрадывалось сомнение: еврейка ли невестка? Оказалось, наполовину. Отношения с нею у свекрови остывали. Оби-няками дознались, что не по матери она семитка, а по отцу – совсем маловероятно перемещение в землю обетованную. А лимит терпения иссяк. И начался инструктаж: это лучше будет приготовить тебе самой, супруга лелеют не так, мало времени проводишь в нужных заведениях, не имеешь связей...

А Орик тем временем осознал, что он еще не отгулял свое и перспектива свободной страны не стоит амурных ограничений. А тут свобода заварилась у себя, пусть пока вербальная, медийная, из-под полы. Такие грядут открытия на эротическом, сексуальном, порнофронте, что требовалась партнерша погибче и беспардонней правоверной иудейки. Мать изысканным чутьем постигла настроение



сына и дала себе волю. За столом и попутно, перед сном и при побудке постоянно рассказывала, как оно следует поступать, что говорить и как это было у нее самой с ее незабвенным и единственным...

Коллизия разрешилась просто. Ида получила визу из Израиля, сказала, что в разведку поедет одна, подготовит квартиру, найдет для Орика газету на русском или английском языке... Пока мать с сыном ворошили свои планы, анализировали, печалились и ликовали, невестка улетела. И ни весточки о себе. Куда удариться за правдой, не знали. Решили – дело закрыто.

Орест тем временем пользовался спросом. В нашем полумиллионном хуторе редкий человек владел четырьмя языками, да еще своим, природным, подвешенным – аккурат для политических скандалов, был вхож в телевидение и в газеты. В общем, благодетели из-за бугра именно ему выделили офис, дали машину со ставкой шофера и добрую меру горючего на каждый день, главное же – много денег на создание журнала, очага демократии и развития. Парень сразу научился львиную долю капитала тратить на обустройство маминой квартирки на среднем этаже: обои, кухня, черная ванная, оргтехника по высшему разряду. Единственное, к чему был холоден, – это к машине: боялся руля и знаков на перекрестках. Зато не боялся гонорары, предназначенные авторам журнала, оставлять себе. В наших краях многие пишущие сдают приличные материалы, не требуя вознаграждения, только ради служения идее независимости да еще ради популяризации собственного имени. О рекламе вообще говорить излишне!

Появилась новая нареченная. Парадокс: среди отчаянных, распустившихся – в прямом и переносном смысле – в угаре свободы юных горожанок страстью Орика была семнадцатилетняя дочь сельского священника. Угловатая,



застенчивая, красивая – воистину дива непорочная. Он вспыхнул: из такой бы сделать оральную партнершу! Эта не из тех, что сами, зажмурившимися кошечками, ищут сосок. Ляля держит и губки и ножки сжатыми, а отец Никодим разведывает, что это за ухажер: и предварительные выводы его весьма нелестны и опасны. Пришлось венчаться.

Как и в прежних двух попытках, Марта Мартыновна начинала благостно. Поднималась затемно, готовила изысканные завтраки, благо, доходы от каких-то траншей, спонсоров, реализации журнала шли через сына в ее инкрустированную, в виде рундучка, кассу у изголовья. Все условия для высокоодаренного ребенка – хоть и не первый, а все же медовый месяц. Гляди, зачнут внука или внучку – и ей на старости забава, и ему в его неизбежные преклонные годы опора.

А Орик присматривался к Ляле.

– Можно, я поглажу твои волосы? – начинала она словами из сказки.

– Мы сегодня ложимся вместе? – совсем виновато спрашивала уже на пятый, шестой и так далее день.

Красиво, трогательно, да все, как в первый раз, и под взглядом иконы. Рядом ютилась стебельком под стеночкой, все боялась потревожить «хозяина». Позволяла уstraиваться на себе прилично и прислушивалась, замирала, прямо не жила. Только при блике из окна сверкала слезинка в уголке глаза. Скучища!

Приносил муж литературу, в переплете и на фолиантах из Интернета. Индийские и европейские приемы. После двенадцати ночи разыскивал в телепрограммах нечто близкое к эротике, включал в «видике» порнографию. Не читала, отворачивалась, запевала свой деревенский фольк и уходила на кухню. Оттуда, бывало, звучали подражания церковным гимнам. Да-а...



Канитель тянулась год. Пришлось пару раз сходить на Пекарскую, выложить по сотенной и получить – «ничего на свете нет лучше, чем минет». Но ведь возможны диагнозы, да и популярность не позволяла журналисту мерцать в неблагоприятных заведениях. Орик почувствовал себя обманутым. Держался, сколько позволяла нестойкая воля. И лишь намеками делился с матерью:

– Не тот вариант. От разных корней мы, и разные садовники нас поливали.

Однажды явился домой в превосходном настроении: получил очередные доллары от какой-то международной организации – на развитие демократии. Естественно, развивать новые отношения в стране доверено было матери. Поужинав, увел Лялю в спальню. Та робко прижалась к нему еще стоя, в одежде, и невинно пролепетала:

– Расскажешь что-нибудь?

Он взбеленился. Чуть ли не с матом переспросил:

– Сказку, что ли?! – И зашипел, не опасаясь ушей матери: – Даже эти твои слова свидетельствуют о том, что нам ничего общего не дано. Люди из одного детского садика не ставят столь дурацкие вопросы!..

Марта Мартыновна и впрямь слышала все. Сегодня она получила карт-бланш на поедание неудобной ее Орику женщины. Веник, скалка, поводок собаки, хозяйственная сумка, пылесос, поливальник, посудомоечная машина, та же стиральная, дверные и телефонные звонки и пр. и пр. – все перешло из рук в руки – от свекрови к невестке. Еще полгода каторги с полным отсутствием молодого супруга дома по вечерам, а иногда и по ночам. Начались у него поиски новые и почему-то все непродуктивные. Одна попалась грязнуля, другая бездарная, третья замужняя, даже с детьми; четвертая – кандидат наук, красавица-спортсменка и секс-модель – дала от ворот поворот и вышла через



сваху за богатого немца; пятой подсунул спецлитературу, принесла на другой день – читать не умела...

Объявил поэтический конкурс «Девичьи строки» в своем журнале. Так приходили горбатенькие, усохшие, затрапезные, убогенькие. Черта в их поэтическом таланте! Только место на страницах тратил, а можно было там разместить рекламу или продать колонки политическим партиям. Не было в городе эдакого соединения: красавица, талант в стихах и гений в постели.

Талант и везенье, да еще «на безрыбье и рак – рыба» засветили Орика в столице. Получил приглашение посетить Киев, месяц спустя – Варшаву. На недельку, а все же не пропал его польский язык зазря. В колготне командировок и новых знакомств не удалось поискать в иных градах вымечтанную женщину.

И вдруг – предложение сверху: на месяц в Соединенные Штаты Америки.

Душа воспарила, воля заговорила:

– Ляля, расстаемся.

– Так отец же отказался... Куда я?..

– Я договорился. Ты поступаешь в училище, тебе дадут комнату на пару с еще такой же скромницей. К твоей стипендии я два года буду тебе приплачивать две сотни. Хватит на молочишко и трусики. Тем более что ты их не мараешь...

С большими слезами с одной стороны, терпением и ликованием с двух других сторон – расстались.

Две недели спустя старенький «Боинг» переправлял через океан дюжину счастличиков от молодой журналистики. Больше пишущих со знанием английского страна не наскребла. И больше борцов за демократию стране не оплатили доброты из-за бугра.

В Джорджии нашим разрешили пользоваться Интернетом в муниципальной библиотеке. На второй же день к



столику одинокого Ореста подошла женщина его лет, может, на годик старше.

– Хай? Ду ю спик инглиш?

– Кое-как, – нашелся свободный мужчина и сообразительный журналист. – Рад буду попрактиковаться.

Она была русая, невысокая, затянутая в строгий костюмчик под визитку. Лицо так же затянутое тонкой кожей, слегка скуластое, глаза чуть навывкате, серые и озабоченные.

– Вечером как отдыхаешь? – Это она запросто сказала.

– Пока нет предложений.

И смотрел на фигурку – с приличными ножками, с талией девушки. Не красавица, но для разового посещения подходит.

– После работы зайдем ко мне.

Предложение смелое, но, возможно, это так привечают в Америке всех гостей из освобождающихся стран. Чай, разговоры и уроки демократии?..

Жила она, Рейчл Моби, в квартирке «ту рум», то есть две спальни, разумеется, плюс малый привесок – кухня, холл, гараж.

Не угощала ничем, видимо, посчитала, что чашки кофе и тостика, перехваченного по пути, достаточно. Сразу вкинула в ванну, сама раздела, терла мочалкой из диковинных водорослей, заливала из душа, забрызгивалась сама и постепенно снимала с себя жакетик, юбку, блузку, лифчик, трусики. Садилась Орику на спину и хохотала, хохотала. Беспардонно вела себя, словно с дикарем, с которым все дозволено, и никто не прознает деталей, и суда не сыщешь!

В постели взяла на себя роль мужчины: валила его на спину, закутывала его голову простыней, сквозь хлопок мягко, как не главное, поцеловала в губы, потом почти за-



глотнула по очереди и адски медленно каждый сосок на его подергивающейся груди. Потом подышала в волосики на лобке, покурчавила их носом и деликатно укусила посиневший от жажды отросток. Даже выкрикнула:

– Какой у тебя пенис!

Было сказочно хорошо. Неужели все женщины Америки таковы? Не потому ли здесь такие широкие улыбки у мужчин и производительность труда, недосыгаемая для нашей высокоморальной Украины?

Он вывернулся из-под женщины, нашарил ее лоно, работал-работал, вот-вот высшая точка... Она улучила момент – извернулась, дала ему постонать, поматериться, погоняться за нею по комнате. Потом свалила его на пол и оседлала.

В общем, заснул Орик бездыханно.

Ночью чувствовал параллели вечерних коллизий. В паху горело, нежило, возбуждение превзошло все вероятности. Юношеский страх поллюций! Но они приближались, с его органом творилось сверхъестественное. Он принудил себя открыть глаза. Простыня с ног была сброшена, Рейчл, голенькая и воздушная, сгруппировалась в его ногах и делала сказочный минет. Сонному! Стократная мечта всякого отечественного мужика – молодого, старого, коммуниста и беспартийного, мечта, которую редкий смеет высказать любовнице, жене... И совсем единственный получает ее...

Назавтра, в полдень, потягивая портер, руководитель программы сказал:

– Орест, воля ваша, только вы должны знать, что Рейчл насильно разведена. В пользу бывшего супруга отсужены трое маленьких деток, мал мала меньше. Она тоже насильно некоторое время держалась в лечебнице. Кажется, обязана платить алименты экс-мужу. Увиливает. Впрочем, вы человек временный, вам ничего не грозит.



Командировка сошлась на одном, на ночах с отвергнутой кем-то женщиной. А дни, занятия, публикации, все такое казалось третьестепенным, отбываловкой, и представления о Соединенных Штатах свелись к актам с Рейчл.

Уезжал он, она рыдала в аэропорту. Он тоже рыдал бы, но мешало окружение и кое-какой остаточный гонор.

– Я тебе напишу, – сказал он.

– Я тебе позвоню, – ответила она рюмся.

– Я тебя приглашу в гости.

– Я приеду насовсем...

Что говорят люди на прощанье? Разумеется, всегда глупости. Так заведено. Но иногда сбываются самые несуразные обещания.

В случае с Орестом зашло дело далеко.

Он тратил свой крепкий заработок на телефонные разговоры через океан, она звонила чаще. Наконец, вызов, ожидание.

Марта Мартыновна не могла нахвалиться поведением сына. С креста снятый, не перечит, вкалывает на службе и дома, моется, смазывает кожаную куртку салом и все рассказывает про американку Рейчл. Разумеется, кроме отнятых у нее деток и бешенства ее любовных оргий. Бог знает, не удалось парню в Израиль, может, переберется в Америку. А он, не похоже на себя, вкалывал, чтобы быстрее истреблялись дни до первого сентября, до ее самолета. Рад был летаргически уснуть на полтора месяца, не есть, вычеркнуть шмат жизни... Все спонсорские деньги и слабые доходы от журнала бросил на совершенствование своей квартирки. Деревом обил стены комнат почти до половины, перехватил у богатеньких множество наворотов к газпечке, к очистке воды, к электрооснащению; связи – черт знает как во всем таком разобраться маме, совковой женщине! Но гонор возростал, на соседей она, как и сын, по-



смастривала слегка свысока и через левое плечо, с иронией. Червячок иногда сосал Марту Мартыновну: это же когда он оформит документы на выезд! И сколько терпеть такую желанную для него, единственного сыночка, частичку, самую послушную дольку его персоны? А уедет ее единственный – кого же окликнешь: надел ли в морозец подштанники, выпил ли снадобье для витаминизации, правильно ли выстроил и отходил журналистов и компьютерщиков в офисе?! И восторг, и мучение для ревностной дамы...

Рейчл прилетела. Бледная с дороги, затянутая то ли в корсет, то ли в режим питания и молчания. Начался перевод с английского на наш и обратно. И снова гордость: как Орик легко управляется. Застолье Марта Мартыновна сделала самое лучшее, национальное с примесью собственного кулинарного творчества. Снова уступила большую комнату молодым, комплект постели достала из сундука с приданым – тридцатилетней давности, но то еще!

На другое утро Орест на работу не пошел, и мать подумала: пусть дитя отдышится, не подохнут сотрудники. На третье – тоже спали молодые до полудня.

В лихую пятницу мать уже вошла будить сына. Про себя ахнула: сигареты по всему паркету, штоф – на боку, покрывало в ногах, простыня сбита, два голых тела сплетены и оба похрапывают. А ведь сын не курил и не храпел прежде!

Для начала вызвала его на кухню и на родном языке высказала претензии: работа есть работа, умный муж жену не балует, следует избегать излишеств.

В офисе Орест появился только в понедельник. Как оправдательный документ привел заокеанскую невесту и принес коньяку и бутербродов с осетриной – это в нашем-то, в копеечно-обобранном, крае.

Среди сотрудников выделялась одна, Оля, с которой главный, то есть Орик, пару раз впопыхах переспал. Ей,



разумеется, новая пассия шефа не понравилась, и что-то послышалось в уголке о шансах этой классной компьютерши перебежать в конкурирующий журнал. Два мужика постарше рассматривали заокеанскую чудесницу как экземпляр из иного мира не только в плане партнерства, но и чисто антропологически. Остальные жадно выпили на заре рабочего дня.

Главный просмотрел гранки, письма. Рейчл обязана была сидеть напротив. Впрочем, она ни на что иное не была способна. Тупо глядела на него, казалось, перехватывала его дыхание, на лице ее вырисовывалась мина отдаленного оргазма. Оба гордились друг другом.

Во вторник Орик пришел в офис один, но только к двум часам пополудни. То же повторилось в среду, четверг и пятницу. Он ничего не хотел, только интимно трудиться с нею и отдыхать с нею в защелкнутой изнутри комнате. Человек всего достиг в этой жизни.

На истерзанной кровати она целовала ему руки, голенькая сидела то на его откинутой ляжке, то верхом на простертом на животе пенисе, чуть заметно покачивалась, просила по-младенчески:

– Ты спи. Я никуда не уйду. Я не уеду... Прогонишь, я останусь в городе, буду смотреть на тебя издали, ты и не заметишь... Смотреть на тебя и мастурбировать...

О приготовлении пищи, уборке, чтении, Интернете и не помышляла. Красиво отброшенные на пол ножкой трусики и полуштоф в головах были неизменными аксессуарами миниоргии. Ему, собственно, ничего другого и не нужно было.

Марта Мартыновна заволновалась. В замочную скважину прослышала о планах молодых отказаться от Америки и – глубоко задумалась. Что лучше? Или вырваться ее уникальному дитяти в широкий и свободный мир, или те-



шить ее старость в этой раздрызганной стране? И – как он там себя будет вести? То, что с ним происходит в последние дни дома, никак не укладывалось в ее представление о карьере сына. Потихоньку принялась будить в терпимое для молодежи утреннее время. Потом напоминать о походе в офис, хотя бы к двенадцати дня. Из-за двери слышались возражения. С каждым утром все тверже. Потом Орик выходил к матери на кухню и шепотом скандалил.

– Я уже вышел из подтяжек. Как-то держусь на плаву без твоих инструкций.

А держался он все ненадежней. Оля таки ушла. Верный зам, он же водитель дарованной машины, слегка препирался и все забирал руководство журналом на себя. Политические мероприятия, благодаря которым, собственно, и подбрасывались доллары, тоже уходили черт-те куда. В течение медового месяца заработки Орика упали в три раза, а присваивание появлявшихся в офисе сумм как-то перестало его интересовать.

– Тебя уволят. Пойдешь по миру! – все громче шипела на кухне мать.

Начались открытые скандалы. Сын проявил волю: четыре дня походил на службу с утра, пошерстил штаты свои, в результате чего уволился полусумасшедший журналист, живший на справке с психлечебницы, на котором, оказывается, здорово держалась международная пропаганда. А когда главный снова залег с субботы до четверга в любовное ложе, ушел и зам. Безнадзорную машину угнали. Милиция сразу нашла ее, но без колес. Постоял лимузин недельку под дождем на колодках – тут доброжелатели сообщили о технике передвижения, совершенно не нужной журналу, куда следует, и Киев забрал машину.

Следующий номер журнала не вышел в срок, собственно, один выпуск был пропущен. Главный даже не сообщил



об этом ни инвесторам, ни рекламодателям. И те, и другие отвернулись. Дома Марта Мартыновна прознала биографию потенциальной невестки – устроила общую разборку со всеми надлежащими аргументами. В результате Орик снял крошечную квартирку и, прихватив подругу, съехал из дому. Слез было – река и маленькое озерцо. Но тихий рай с милой отгородил Орика от матери.

– Боже! – жаловалась женщина подругам. – Он же влип! Она же не может больше рожать, из одних болячек склеена... Что с ним будет в старости?! У меня есть он, хоть такой, а у него? Некому будет воды подать больному!.. И ради кого? Трое детей за океаном, а она даже не позвонит туда, не справится!..

По телефону Марта Мартыновна еще пыталась руководить, бороться, но это уже было эхо проигранной войны. Молодые то отключали мобильный телефон, а то спали после трудов любви и не дотягивались до трубки.

Журнал закрыли. Деньги перестали поступать. Мать узнавала обо всем первой. Пришлось верстать «продуктовые корзины» и передавать через знакомых. Со временем сын сам стал забегать в родную квартиру. Хватал приготовленную передачу, Марта Мартыновна с копыта начинала свою проповедь, но Орик врал, что его срочно ждут в политической партии, куда он нанялся творить имидж.

– Которая из партий?

– А какая разница?

И убегал, прихватив снедь.

Месяца полтора спустя, вернувшись от идеологов, с которыми недавно враждовал, а нынче и впрямь просился в упряжку к ним, Орик застал на столе первое, приготовленное Рейчл, блюдо. Купленные на углу, с пыльного тротуара, тонкие коржи или толстые блины, в них завернуто полусырое мясо, недорубленные овощи, вообще – что Бог



бросил на пути выскочившей с постели на улицу женщины. Ел любимый с аппетитом и благодарностью: это она приготовила, и для него, а как красиво называется – бурито!

По городу пошли широкие слухи о странном явлении: американка вдруг переехала жить в задрыпанную нашу провинцию из-за любви! Пицца для сплетен богатая. Но нашлись и сочувствующие. Через Ореста предложили ей работу учителя английского на крупном предприятии и с хорошей оплатой.

Она долго сидела в трепаной рубашке любимого, голенькой попой на голеньких промежностях его, плакала: как я буду без тебя?..

– Но ведь всего четыре часа после полудня.

– Я не могу четырех минут...

И все же обстоятельства сильнее страсти.

Но только на четыре часа и – для него. Он же сползал с постели только в ее отсутствие, выходил на два-три часа, искал ближайший штаб первой попавшейся партии и предлагал свой короткий, но яркий опыт полемиста за первую предложенную сумму.

– Вы же печатно разносили наши идеи в пух и прах!..

– Раскаявшийся грешник дорогого стоит.

– Вы же сотрудничали с прежними властями!..

– А где эти власти? С кем сотрудничать?

– Вы и от нас уйдете с переменой погоды!..

– К тому времени вы уже получите от меня дюжину классных пасквилей.

– Вы не покидаете альков двадцать четыре часа в сутки. Откуда свежий материал?..

– Надо уметь забавляться Интернетом.

– Ваш цинизм сбивает с ног!

– Правда, одна только правда, ничего, кроме правды.



Если давали заказ сию минуту, он бежал домой и быстро-быстро шарил по сайтам, воспаленным вниманием сразу набирая материал, ловко нанизывая чужие мысли на чужую задумку. Обрывал статью аккурат тем абзацем, на котором его заставлял скрип ключа Рейчл в двери.

Если с заказом медлили, он тут же уходил. Топал по не своей комнате из угла в угол, переступал через смятую у дивана сорочку, футболил забытую среди коврика пробку, удивлялся, как его журнальный столик оказался вверх ножками на холодильнике, и не трогал его. Места ему не находилось, ни одна мысль не складывалась в голове. Для полноценной жизни чего-то не хватало. Ее рук на его животе, ее жалкого русского мата, с которого началось изучение нового для нее языка, поминутного касания ладошкой к кошонке и неожиданного предложения прямо за обеденным столом:

– Расстегнись, перед приемом пищи, пока у меня чистые губы, я поцелую головку твоего пениса.

Рейчл вбегала, словно после марафона. Он бросался навстречу, поднимал ее на руки и волок в ванную. Случайные власти воду пускали не всегда горячую, любовники падали в битое корыто, названное модно – джакузи, не всегда успев сбросить последнюю одежонку. Вставляли прямо в воде, чтобы успеть, чтобы не терять драгоценного времени. Жизнь-то уходит.

...Тут, по канонам самых допотопных индийских фильмов, страдающий персонаж попадает под случайную машину. Марта Мартыновна оказалась в «скорой помощи» с переломом правой лодыжки. Порядочный водитель кинул сумму на лечение. Но ведь нужны посетители, душевная подкормка.

Первый день никого не было. Потом пришли «дети». Рейчл постояла в дверях вонючей палаты на восемь чело-



век, койка к койке. Орик вывалил на тумбочку мандарины, бутерброды и «спрайт», забыв отвинтить крышку.

Уселся, дождавшись, когда освободится единственный стул для посетителей. И молчал. Говорить было не о чем. Мама все сказала в течение почти тридцати лет упорного, ежесекундного воспитания будущего человека высшей пробы. Теперь остались только упреки и жалобы, которые ей казались неуместными перед сестрами по несчастью, – сыном должно гордиться. А он... Он сухо спрашивал и записывал, что надо в аптеках, кому дать на лапу, что бы ей хотелось поесть.

В душной палате витало: женщина уже отыграла в житейской драме под античным названием «Орестея». Была у нее эпизодическая роль, в экспозиции, для затравки. Теперь вышла на сцену главная героиня, странная, свихнутая, но весь лучший текст и лучшие мизансцены – у нее. Она теперешняя, из пьес абсурда. Старой актрисе больше не появляться из-за кулис.

...Минуло шесть лет. Первые три-пять Марта Мартыновна еще надеялась, что спектакль без ее участия скоро закончится. Не может же благополучная по нашим ущербным представлениям американка жить в глухой украинской провинции, в снятой квартирке, питаться одними «буритами», работать на нашу едва-едва зарплату!.. А Орик, привыкший к маминой опеке: когда-то обстиран, накормлен обильно и разнообразно, расспрошен о всех тонкостях его жизни... без офиса, без журнала и окружения зависимых людей... бегать по мелким газетенкам и кланяться: киньте-ка что-нибудь борзописцу!..

Она продолжала крупно заготавливать овощи-фрукты на зиму, копить копейку. Звонила ему, стараясь попасть в минуты, когда Рейчл не было дома, приглашала на обед. Нечасто он приходил – исхудавший, с догоняющим взглядом голодного. Застолья всегда кончались скандалом.



- Сын, ты попал в беду. Она же не хозяйка, грязнуля!..
- Мама, я зашел только потому, что ты просила...
- А у самого уже атрофировалось сыновье чувство?!
- Мама, я спешу...
- Она же детей бросила... она тебе не родит... Кто тебе стакан воды подаст в старости?!
- Мама, я пошел.
- Ты хоть не оформляй с ней супружество!
- Уже!

И, дожевывая на ходу, Орик сбегал с этажа.

В последний год Марта Мартыновна махнула рукой. Много было своего: хромота, выход на пенсию, хворающие – и сама она, и ее собака, единственный собеседник и послушник.

А на другом конце города – мелкие приработки, непомерная плата за жилье, унижения перед политтехнологами, перебежки из партии в партию, полное исчезновение достоинства и профессионализма.

Но, видно, счастье не в этом...

Счастье – это обретение партнера, с коим воплощаешь свое предназначение.

УТРЕННИЕ РАДОСТИ

В одну руку – два целлофановых мешка, в другую – список нужных яств, в нагрудный карман – купюра с Грушевским. Бабка моя хорошенько знает, что полсотни гривен никак не соответствуют стоимости поименованных в списке овощей-фруктов и прочих продуктов. Но ею замечено, что из мелочных гонораров я всякий раз зазначаю два-три червонца, потому уверена, что я вернусь навьюченный донельзя.



Рынок на Колодезной разгоняют. Во всяком случае, уже которую неделю висит два аншлага, запрещающих тут устраивать ярмарки. Наш законопослушный народ не читает того, что ему претит, потому рыночек удлиняется и плотнеет. Цены сшибают с ног, зато соседям экономия на транспорте и физических усилиях.

С возвращением я не получаю завтрак, его надо еще приготовить. А новое поручение есть:

– Смотайся на Потемкинскую, там я в «секонд хенде» отложила для тебя две летние майки. И померяешь джинсы. У тебя в старом дипломе значены две сотни, возьми их, я тебе с пенсии верну.

У многих женщин есть ничего не значащие фразы, «верну их» – одна из таких.

Как человек с богатой внутренней жизнью, в обиходе я чистый недоумок. Бегу сначала вниз ко Второй Слободской, уверяю реализаторшу, что тут для меня кое-что оставлено. На меня привычно смотрят как на шалого. Догадываюсь, почему, и бегу вверх к садику Петровского. В этом мрачном заведении в свалке тряпок и клубах пыли сидит тощая девочка и приветливо улыбается. Если бы она личико свое держала кислым, зарюмсанным, я бы не пожалел ее. Но она, бедненькая, без кислорода и света, за три червонца в день... еще и улыбается. Мне захотелось всплакнуть вместо нее. Из сострадания я перемерил все наличные в хламе джинсы. Переплатил за майки, которые вряд ли надену из брезгливости, и ушел, уронив свое настроение на весь день.

Завтрак мой состоит из творожка на дне тарелки, гречневой (овсяной, перловой, ржаной) каши, жбана чаю с размоченными сухариками и прослушивания радио «Fm» – для уверенности, что наши люди живут «тип-топ», вскоре вообще наступит эдем, а власти наши – душки. Не путать с тушками.



Тут же следующее поручение:

– Пока ты не сел к своему дурацкому компьютеру, сбегай на Третью Слободскую и возьми сметаны. Непременно «Славия».

И тут я обретаю счастье: в захудалом магазинчике нахожу материал для рассказа. Еще за порогом слышу скандал в развитии, что-то похожее на препирательства из старого полтавского анекдота:

– А ты, молодичка, не будь такой, как все ваши торговки! – Это хриплый и обкатанный голос крепкой старухи по сю сторону прилавка.

– А вы не будьте такой, как ваша мать! – слабый, но звинченый голосок девчонки, понятно, продавщицы.

Последняя реплика достает покупательницу, оказывается, мою соседку. Она подбоченивается – чисто баба Параска из Нечуя-Левицкого, берет октавой выше, а может, и двумя:

– А какая же это такая моя мать?

– А точно такая, как вы!

– А какая же я, семь чертей тебе в печенку!

– А точь-в-точь, как ваша мать!

– Ты же не знаешь моей матери. Она преставилась, когда тебя еще и в купели не купали!..

Я передал бы скандал весь и дословно, но ни один редактор самую соль его не пропустит, да и рассказ не о колоритном скандале.

Войдя, я рассмотрел бретёров: старуха – обрюзгшая, обветренная, в толстом домашнем халате и вездеходах на босу ногу; девушка – былинка придорожная, бледная, прихорошенная из последних сил и усталая за двоих.

Предмет спора был пустяшный: вернувшись из магазина, старуха недосчиталась гривны. По нынешним ценам это даже не проезд в две остановки. Но моя героиня при-



шла искать свою правду, а эта новенькая на нашей улице продавщица, неотесанная деревенщина, оказалась с норовом – не признает бабкину утрату. Пока обе женщины апеллировали ко мне, я вспомнил все, что я о них знаю.

Старшая – активистка на весь мой двор. Когда-то у нее был муж, лётный офицер, вышел на пенсию сорокалетним, совсем молодым спился от хорошей пенсии и безделья, вскоре умер. Бабе Фане теперь семьдесят, она получает какую-то часть пенсии за мужа, на рассвете шастает по задворкам универсамов. Собирает картонные коробки, добавляет в них газеты из мусорных ящиков, часто – прямо из почтовых ящиков, и несет сдавать в макулатуру. Потом прихорашивается и усаживается на бойком углу двух переулков с подносом, на котором рассыпаны и в пачках сигареты, в крохотных стаканчиках семечки, еще спички и какая-то несъедобная мелочь.

Заметна во дворе баба Фаня тем, что, в отличие от скрытных и живущих двойной моралью соотечественников, рискованно откровенна. Случайному встречному она по своей инициативе доложит, сколько сегодня заработала, какому сержанту или студенту отдала «за так» пару сигарет, что ела на обед. Мне как журналисту она, вместо утреннего приветствия, через весь двор может крикнуть:

– Все, с геморроем покончено! Жидкая пища и холоднылокания! Напиши, пусть народ спасается.

Часто соседка пересказывает программы телевидения, с гражданским смаком кроет Сталина и «коммуняк». Однако голосует за Симоненко, потому что и отец ее, и муж были членами самой народной партии Ленина-Сталина.

Только на последних выборах поверила регионалам, и то лишь потому, что ей кинули полсотни из-под полы.

Я напряг дряхлеющую память и вспомнил все, что знал про молодую продавщицу. Зовут Милой. Впервые я увидел



ее три года тому в тряпичной ятке под своим окном. Щипал руки непривычный в нашем городе мороз, брезентовую штору на проеме двери трепал ветер. Внутри темно.

– Ау, есть кто-нибудь? – пытался пошутить я, заранее зная, что за прилавком стоит какая-нибудь милая девушка.

Прилавка не было. Свалка ящиков и бутылок, на подвешенной доске пакеты с примороженными сладостями. На треногой скамеечке сидит и плачет в кулачок худая и не по погоде одетая девчонка. Я попросил минеральной воды. Выдала молча, деньги взяла и сдачу дала, не глядя ни на меня, ни на купюру с мелочью.

Зима не удалась – и холод, и дождь. Ятку раскачивал ветер и поглощала тьма. Покупатели проходили мимо нее, только бродячие собаки описывали ее углы и просились внутрь. Девушка стелила у своих ног тряпку и позволяла им ложиться, греть бока друг о дружку.

Жалко было и несчастную реализаторшу, и собачек, да и хозяина, замахнувшегося на самый жалкий бизнес в нашей стране. «Курочка по зернышку клюет, – рассуждал я. – Когда-то это хозяйство разрастется. Но для этого ему надо быть дерзким и наглым, надо знать, кому и сколько давать». Ладно, пусть крохотный частник вертится, Бог ему помогай, а я помогу тоненькой девчонке...

– Послушай, солнышко, ты бы перешла служить в лавку потеплее. – Мое сердце искало, чем бы услужить подростку. – На Космонавтов, у моего знакомого, есть вакансия. Там хоть стены пластиковые и дверь закрывается.

Дал адрес. Неделю спустя по пути на службу заглянул, как эта бедная Мила обустроилась. Было тепло, и на улице и в магазинчике; торговля шла бойко.

Девушка при свете электричества оказалась хорошенькой и опрятной, подавала товар и стучала по клавишам кассы ловко. Я подумал – приживется...



Тут вошел бритоголовый парень лет двадцати пяти, в жеваной куртке и с недовольным лицом.

– Ну, долго ждать? – спросил он с порога.

Мила потускнела, съежилась, движения ее притормозили.

– Мне выплачивают вечером, когда уйду.

– Ты давай мне, что есть. С хозяином разберешься вечером.

Бритоголовый бычок взял, почти выхватил, из детских ручек какие-то деньги и тут же скрылся.

Я узнал, что Мила живет у этого хвата на квартире, «в приймах», он не работает, каждый раз приходит к ней в магазинчик, как только проснется, то есть к середине дня. Сидит и ждет, пока покупатели принесут деньги. Забирает, сколько есть, идет опохмелиться. Она безропотно отдает; как же – выгонит из дому.

Месяц спустя я встретил хозяина магазинчика, неудачливого молодого отца семейства, который под налогами государства и поборами мелких чиновников едва сводил концы с концами.

– Прости, как там моя рекомендация?

– Мила, что ли? Да никак. В первый же месяц нехватка по счету восьмисот восьмидесяти гривен.

– И как ты?.. – Меня ударило сразу два горьких чувства: сострадание к приятелю и сочувствие к девушке (я ведь догадался, куда ушли деньги)... и моя вина – по моей доброте этот убогий магазинчик пришел к лишним тратам.

– Да ладно, – с пониманием вздохнул мелкий хозяин. – Я с нее не взыскивал. У нее такая кабала, что в год не соберет и три сотни. Ушла с миром...

...И вот я вижу Милу в кирпичном помещении, в тепле и при электричестве. Главное же – она сражается на равных с моей горластой и непроходимой соседкой. Разумеет-



ся, с ее стороны это хамство не по мне, пресечь бы. Но я знаю, из каких жалких и забитых крестьян вышло это тоненькое и симпатичное существо, через какую школу «гражданского брака» и работы на чужого дядю оно прошло и проходит. Бог его знает, может, и приживаются в городе и выживают только те, кто научается оставлять в прошлом свою тихую деревенскую нравственность и открывать пасть пошире нашей, рожденной и развитой в толчее города, офицерской вдовы...

ЧЕТВЕРТАЯ ПАЛАТА

При совках к пишущей братии относились бережно. Заболел – клали рядом с номенклатурой, в спецлечебницу, так сказать, прикармливали. Мне, беспартийному, удалось полежать в палате на двоих с бывшим секретарем райкома и будущим губернатором. А сегодня, только после мольбы и обещания не залеживаться, меня впустили в четвертую палату заурадной городской больницы.

Одноэтажная земская постройка позапрошлого века рассчитана была на нижних чинов и зажиточных селян. Не знаю, платили тогда пациенты или держава их благодетельствовала. Теперь же лечение бесплатное, то есть препараты, шприцы, пищу приноси с собой, вноси неперемные добровольные пожертвования за забор из тебя же крови, за вливания и примочки, а также за улыбки медсестер и суп для бедных людей. За утренний чай и обеденную баланду лучше заплатить – только бы не есть.

По угрюмому коридору снуют больные в пестрых подштанниках, поношенных домашних халатах и даже в ночнушках. Напротив четвертой палаты дверь в душевую и



туалет прикрыть невозможно, сквозняк встречный. Оттуда выписывающиеся здоровяки сперли смеситель и крышки с обоих унитазов.

Крохотная приемная низкооплачиваемых врачей, обитатели ее все прекрасного пола и довольно милые, они из последних сил спасают болящих.

Еще с порога четвертой мне в лицо ударяет трижды прошедший через чужие легкие дух и вослед – яростный рык в полдюжины голосов:

– Так он же меньше моего смыслит!..

– А что они на выборах того?.. А что он плетет сегодня?!

– А Юлька что, была лучше?

Понятно, народец наш. Не про ниву и цех, не про предков и потомков и совсем уж не про Бога во исцеление души и тела глаголят. Мое разношенное воображение рисует приют отставных актеров из рассказа «На покое» Куприна, «Палаты номер шесть» Чехова.

Девять коек, мятый холодильник, два зарешеченных окошка. Середину занимают оппоненты: инженер по технике безопасности, коротко стриженный, полуголый, с ладошкой у тугого уха, то у одного, то у другого. Напротив – головастый, с торсом старого гиревика и руками молотобойца Семен Тетеря. Голос его – с пожарной каланчи, в выражении лика давнее утомление от больничек, непостижимо перешедшее в экзальтацию. Говорили еще четверо, но всех подавлял гегемон, в том смысле, что и Ленин считал, и древние греки – вождь, пахан, авторитет. Рельефной рукой, через спинку кровати, он сжимал сучковатую трость, не столько свою третью точку опоры, сколько посох Иоанна Грозного. Еще от моего воображения: в палате, впрочем, как и в стране, правит не внутренний распорядок и закон, а простолюдин, который разом наступил на простаков и валит напролом. И тут чем меньше у него знаний и раздумий, тем уверенней поступь и тверже рука.



Минуту спустя оратор говорил не о политике – он смеялся над обращением глухого инженера к медицинской сестре: «Сестричка, милая, вы так жестко работаете со шприцем!»

– Сестричка? Милая? Да ей восемнадцать, да она в этом шприце видит кое-что другое и дергает, как чувствует, гы-гы-гы...

А разглядев историю болезни глухого, гегемон гудел:

– Анализы у тебя хорошие. Мой шурин так с хорошими анализами и помер, гы-гы-гы...

Его мобильный телефон был столь же голосист, как и хозяин. По пяти раз на дню палата слышала нечто вроде такого диалога:

– Сеня, ты еще того?..

– На посту, блин.

– Скажи своей, если того к святому Петру, пусть мне сообщит.

– Да я, в случае того, сам до тебя дозвонюсь.

И не поймешь, паясничает абонент или машинально говорит глупости.

Видение мира у крепыша Тетери здоровое, народное. Как выяснилось позже, он вывихнул свои бедра при укладке шпал, а горло и страсти остались при нем. Сквозь свой природный мегафон он провозглашал мир входящему и указывал на свободную койку. Утром первым сообщал, кто из врачей появился за окном, комментировал текущую политику правительства. И все это с приставкой «блин», пожалуй, за каждым вторым словом. Чтобы быть услышанными через простуженный и пропитый баритональный бас, свои голоса повышали и коллеги по палате – учинялся цыганский табор. В дверях появлялись делегации из соседних палат:

– Ради Бога, мы же не на майдане!



Унимался гегемон на короткое время, пока уходили просители. Тут же находились новые темы. Стоимость квартир, в центре города и на слободке, преступность соседа по койке, бомжа Жени, который не ходил, а дергался и хватался за спинки коек. Этот к пятидесяти годам не имеет ни кола ни двора; только дряхлый пес, как пришел за ним к приемному покою, так и сидит под нашим больничным окошком.

– Эдак, блин, ты, вездеход, загнешься, и твое животное по тебе издохнет. Не подумал смолоду, не учился, не вкалывал!

Изредка Тетеря обличал бестолковых медсестер:

– Я, блин, спрашивал: «Будешь брать кровь?» Она: «Сегодня нет». Я нажрался, а она тут же позвала, блин, сдавать кровь. Я говорю: «Брюхо полно!» А она: «Сколько вам лет? Старикам все равно!» Ну, не зануда? – И все это на могучем речитативе.

А еще гегемон умел петь. Лежа голым животом вверх, он воображал гармошку на груди, перебирал мнимые клавиши и частил частушки:

Бросила береза, бросила осина.

Не везет с девчатами парню Буратино.

Ночью солист выразительно хралел. Ни постукивание, ни качание его койки не унимали мощные рулады. Пошли жаловаться старшей сестре. Женщина отмахнулась: мы тут все на полторы ставки, чтобы выжить. Нас не хватает на войну с собственным народом.

И вдруг! Хромой бомж Женя, прозванный уже всей палатой «вездеходом», с голоду или от скуки, указал на меня:

– Это писатель. – И громче, чтобы пересилить Тетерю, обратился ко мне: – Эй, служивый, ты пишешь стихи?

– Прозу, – скромно отозвался я.

– Просьбу? – переспросил гегемон.



– Прозу, – повторяю выразительно.

– Это один хер, – веско сказал Тетеря. – Ан-ну, врежь что-нибудь душевное.

Больничное настроение, а больше – жажда заткнуть глотку оратору подтолкнули меня к высокой поэзии. С последним чувством я прочел всего «Мцыри» – все равно тут не поймут, мое ли, Лермонтова ли.

Гегемон не умел разглядеть красоту стиха и силу выражения чувств, но в его вместительной и кипящей груди возникали спрессованные эмоции, а в львиной голове – своеобразные ассоциации, крутое сердце билось в ритме высокой легенды.

Сильно достали его строки: «Ты видишь на груди моей следы глубокие ногтей». Мужик даже потер свое покоренное бедро и нежно погладил ягодицу. В глазах Тетери возникла растерянность, когда звучали строки: «Меня могила не страшит, там, говорят, страданье спит»... С его задубелых ресниц скатилась слеза. А после заключения: «И с этой мыслью я усну, и никого не прокляну» – ему долго чудилось, что поэма продолжается. Он молчал, следом онемели дружбаны по горю. Поддай кто-нибудь заурядный, пошлый звук – подстарок достанет его своей сучковатой палкой.

Закончил я в поту и с одышкой, держалась церковная тишина. Пять минут спустя в дверях выросли три дамы из соседних палат:

– У вас что, покойник?..

Наше тихое сопение заставило чутких женщин действовать: они позвали дежурную сестричку. Сердцебиение и учащенное дыхание было только у меня, остальные внутренне вымерли. Гегемон широким жестом выставил прочь сердобольных мадонн, он стыдился своей неожиданной слабости. И только долго спустя прерывисто вздохнул:



– Я, пожалуй, так не смогу.

И тут бомж Женя проявил себя психологом:

– Не святые горшки обжигают. Ты только начни, любо-го за пояс заткнешь.

До вечера Тетеря лежал, уткнувшись носом в холодильник. Ночью – ни единого храпа, а если прислушаться – тонкий шепот. Человек творит.

Утром, не позже шести, он включил все шесть лампочек, – на койках зашевелились, – и рыкнул надо мной:

– А ну, «просьба», послушай, как выдал я:

Милая Светлана, я люблю тебя.

Выровняй мне позвоночник,

Я прошу тебя.

О хорошей массажистке, жизни не щадя,

Всю жизнь буду помнить я!

В восторге новый поэт заржал и спросил:

– Ну, блин, у кого оно лучше получается на сегодняшний день?

Тихоня Женя поднял обе руки и подло порадовался:

– Боже! Сколько дано человеку!.. Только, Сеня, этого мало. Видел, как «просьба» долго и крылато читал? Ты прибавь, прибавь еще. Про мануальную сестричку, про нянечку, ну, про Наталию Сергеевну. Обидно же будет, если забудешь врача. У тебя редкий рефрен: я люблю тебя!

Тетеря залег за холодильник, даже на обед не пошел. А про Женю я подумал: к мусорным бакам и побоям собутельников старик пришел через университет и труды мозга.

Пришла супруга гегемона, Муся, круглая пенсионерка из штукатуров, лицо простецкое, но милое. Пара уединилась на койке за холодильником, словно на далекой лужайке. Он полулежа, она – приобняв роскошное брюхо и склонившись над ним. Глухой, невнятный шепот – и тишь в палате.



Ночь снова без храпа. Утром новая поэзия:

Милая Наташа, я люблю тебя.

Выпиши меня поскорее домой,

Все равно ни хрена пользы от капельницы.

Аплодировала вся палата, а «вездеход» Женя заключил:

– Правда! Больше, чем правда. И много еще, кроме правды.

Снова пришла Муся. Результат ее вчерашних переговоров «на лужайке» таков. Женщина открыла перед Женей большую сумку, извлекла байковую рубашу, потертые, но подбитые штиблеты и отутюженный серый костюм.

– Примите, уважаемый. Мой из всего этого вырос.

Потом развернула на тумбочке «вездехода» большую салфетку и разложила на ней пирожки, ударившие в наши носы поджаренным мясом и луком. Еще банку кефира, яблоки.

– Угощайтесь. Вы ведь сиротка.

Не привыкший к щедротам бомж сопел, не находил слов. Жевал поспешно, глотал нежеванное, словно земляки могли отнять у него кусок.

Два пирожка «вездеход» отложил на край салфетки, спросил:

– Можно, я поделюсь этим даром? Знаете, разделенная радость – две радости.

На ласковые кивки Муси и Семена Женя тяжело поднял свое разбитое тело, одной рукой оперся на палку, в другую собрал пирожки. Рывками притопал к окну, раскивая наши койки, открыл створку.

– Бровко, а подойди-ка сюда!

Шелудивый пес поднялся тяжело и хромо, как его друг и хозяин, с пожухлого газона по ту сторону решетки, робко подошел. Женя просунул ему пирожки.



– Пируем, брат!..

Я уже говорил, теперь имею свидетелей: к мусорным бакам и подачкам Женя пришел через университет и труды разума. Семен же познает интеллектуальный труд в больничке.

Т О Н И

У Лины Коробовой внутри пусто. Ничего не случилось, но в душе поло, сердцу не обо что удариться, тело готово бросаться во все стороны, только и ему нигде нет опоры. Так уже было в ее день рождения, когда поднялась в свою «скворечню». Лялька спала, на сковородке обнаружился гренок и пережаренное яйцо; съела, скинула на пол лифчик и трусики, вошла в ванную – воды нет; расплакалась. Вдруг вспомнила, что сегодня ей стукнул двадцать один год, что она мать-одиночка, что родителей нет, а тот, гегемон, разметчик-сварщик, укатил в Ригу, уже второй раз, сделал ручкой навсегда, – а ведь не расписаны, помощи не взыщешь.

Повторилось такое еще, когда возвращалась из магазинчика в тупике, где оттрубила двадцать четыре часа, темная и сонная; такой и увидела парнишку, пожалуй, сверстника, но с виду инфантильного, с забранной назад прической, с чутким, пронизывающим взглядом, похоже, близоруких карих глаз. Рослый, плечистый и поджарый, в общем, хорошей стати, а еще светлоликий, как и Лина, одет в темный гольфик с короткими рукавами, в брючата, похожие на камуфляжные, – чарующий, ну прямо в голос зовущий, только с замкнутым ртом. Смотрел и бичевал душу. Отвернулась, чтобы не мучиться, а минуто спустя взглянула снова:



чудо не повторилось, парень испарился, ну, привидение! И сердце покатилося, заходило ходуном, не ласково и привычно, а зло, угрожающе – вот упадет молодая мама и оставит дочурку бессрочно в круглосуточном садике.

Со временем возникала пустота внутри – от окрика хозяина, от грохота мага в проезжающем автомобиле, от лая бродячей собаки, от перебранки этажом ниже; странно, не от звонка в дверь, а оттого, что никто давным-давно не звонит. Вспомнит это и заранее опирается о стену. Ну, отчего так? Однокомнатная, со всеми неудобствами и выгодами, оставлена ей, в магазинчике дают уже сто гривен за сутки, только прячься, когда на горизонте контроль, – ты ведь не задекларирована, тебя в природе нет, пенсию не начисляют. Впрочем, Лина не собирается жить так долго, до шестидесяти; к тому времени угрожают женщинам начислять пенсию с шестидесяти лет.

И вот она стоит у перил моста, за спиной «Бам» – набережная с красивыми склонами, с рыбаками, свесившими с камней ноги и удочки, с редкими парочками и стайками на ступеньках и по аллеям. Все обычно, а грудную клетку разносит. Оглянулась.

Светлоликий незнакомец в камуфляжных брюках остановился, к нему шагнули три подростка с бляхами на поясах, в обвисших штанах и одинаковых футочках. Первый сразу ударил парня в скулу. Тот не отвел голову, не дрогнул, даже заулыбался в недоумении. Второй нахал с размаху достал его в грудь.

– Хулиганье! – отчаянно крикнула Лина и двумя прыжками очутилась между троицей и чужаком. – Милиция! – и кулачком ударила ближайшего подростка – попала в горло, тот закашлялся.

Хулиганы разбежались. Парень все так же виновато улыбался и спрашивал, странно подбирая слова:



– Наверное, нездоровые?

Из носа у него поползла струйка крови.

– Вам больно? Я помогу, – и приложила к верхней губе незнакомца свой носовой, не совсем свежий, платок.

– В кино принято: рыцари, это, выручают женщин, а тут наоборот. Нехорошо с моей стороны.

– Вас бьют, а вы улыбаетесь...

– Мальчишки видели меня скинхедом. Духовная жизнь у вас, это?..

– У нас? Вы приезжий?

– Да, и у вас... – стараясь отвлечься от разговора о скандале, молодой человек поглядывал по сторонам, все улыбался, даже руку поднял: – Многое поменялось!

Только теперь Лина уловила мягкий гортанный акцент в речи парня и заторопилась:

– Да-да, кепки, бляхи. Рокеры у нас или роперы воюют со скинхедами. Глупость, конечно. Посидим в тенечке, пока кровь уймется. Вот рядом кафешка.

Они перешли на склоны, заняли крайний столик. Он все придерживал ее платок у носа.

– Простите, – заговорила женщина, теряясь в мыслях.
– Вы издалека?

– Очень, – охотно и вместе с тем неопределенно отвечал парень.

– У вас таких глупостей не водится?

– У нас другие глупости, но водятся, – он старательно повторил ее слово. – Я – Тони.

– Тони? У нас женщины – Тони. Вы англичанин?

– Новозеландец.

– Ого! Это же тысяча двадцать километров по прямой!

– По прямой.

– Сколько денег на билет! Из богатеньких вы?

– Студент. Прошлым летом... у нас, это, сегодня зима... южное полушарие. Летом я – стригаль. У нас на одного



жителя страны – двадцать, это, единиц овец. Летом заработаешь хорошо, зимой учишься. Или вот, это, каникулы маленькие, зимние – поедешь...

– Откуда такой хороший наш язык?

Тони просиял и потряс головой:

– Гены. Я тут родился. Три годика было, это, увезли.

– Родители?

– Можно так сказать. Купили меня с моего согласия. Хотели сестренку, пять лет, а она плакала: «Не хочу от мамы!» Мама плакала тоже: одна с тремя маленькими, отец в Афганистане, это, без вести... бедность. Мама плачет, сестра плачет, а я говорю: заберите меня, я хочу конфетку... Вот, двадцать лет далеко – приехал и ничего не узнаю, только у вас, это, у нас – хорошо. Уже ночью уезжаю.

Лина вся наполнилась светом, даже выросла над столиком. Этот удивительный голос, чуточку заметный акцент, деликатные манеры и красивый-красивый облик!

– Родились у нас? – прошептала с недоверием.

– У нас, – медленно кивнул Тони и не без гордости добавил: – А там, это, тоже у нас – вырастили, учат. Только требуют работать. Там все работают. Леса много-много – еще сажают, дороги чистые-чистые, а мы еще чистим.

У женщины намокли глаза. Она не могла объяснить себе, отчего. Такой мужчина и – не в ее судьбе? Где-то есть обустроенная страна!.. Смогла бы она продать Ляльку?!

И заговорила резко, как бы наткнувшись на встречный поток, обретая гонор, забытое уважение к себе:

– У меня тоже все в порядке. Нет проблем. Муж – классный судовой мастер, даже инженер. Спрос на него! Сейчас в Риге, присылает тысячу долларов в месяц. – И остановилась, увидела движение в глазах Тони. – Что, не верите?..

Парень улыбнулся своей милой, виноватой усмешкой:



– Вам не верить нельзя. Только почему, это, тысяча? Так мало. Он вас не любит?

Тут уже было все непонятно: назвала запредельную сумму, и, оказывается, мало. Женщина сникла, суетно искала тему, чтобы перевести разговор на обиняки, и, как всегда в таких случаях, в мыслях царила путаница. Сказала правду, как выдумку:

– А я вас уже видела... неделку назад... – И запнулась.

Вдруг Тони сказал такое, от чего внутри все заколотилось, и не только путанные, но и трезвые мысли пропали:

– Я тоже вас выделил, это, в транспорте. Экскурсию делал. Как у вас ездят?.. У нас нет ни троллей...бусов, ни трамваев, только машины и автобусы. Неделю назад... хотел еще увидеть.

Ей стало весело, потянуло к кокетству:

– Ну да, у вас там, в такой живописной стране, красавиц не перечесать!

– Нет, красивые женщины только у вас.

Таким тоном не лгут, ему-то не верить грешно. Лина покраснелась, чувствует – уши горят, окуни их в воду – зашипит. И снова задергалась:

– Вы – поездом? В котором часу? Можно, я вас провожу?

– Ночью ведь, и я не один...

Она не могла остановиться:

– Ничего-ничего, приду. Я издали... Будет красиво...

* * *

...Ночью было красиво. Пассажирский состав подсвечен слабыми разноцветными фонарями, блики прятали бесчисленные изъяны вагонов, перрона, колеи и самих кондукторов, движение и гам служили общим фоном. Располневшая, дурно причесанная и подкрашенная невпопад



женщина, видимо, мать уезжающего, в мареве тоже выглядела прилично. Милая молодичка, видимо, сестра Тони, сияла модным нарядом, явно подарком брата. Сам молодой человек был привычно спокоен и величав, улыбка возникла под наплывом луча и тут же стиралась мглой. А вот глаза то и дело отрывались от лиц родственников и украдкой шарили по перрону.

Лина притерлась к широкому бигборду, забилась в тень. Торопливые пассажиры то перекрывали слабо освещенную фигуру Тони, то являли ее взгляду еще и еще, и всякий раз казалось, что больше не откроют: пока пробегут, поезд уйдет. Хотелось, чтобы его вагон не уходил, ни сегодня, ни завтра, никогда. Пустоту в душе Лина больше не ощущала, лишь щекотное, сладкое свободное парение на огромной высоте... Да твердое сознание, что парашюта за спиной нет и, странно, женщине он не нужен был совершенно. И ничего другого не надо, только бы сохранить это чувство невесомости и таинственной связи с чем-то чистым и высоким.

Как светло бывает отчаяние!

АРТ-ТЕРАПИЯ

Писатель Дорошко задолго до психушки слыл чокнутым. Полноценной и достаточной признавал только ту жизнь, которую застал в своем ареале при рождении: в обносках и с недоеданием, с угнетением сердца и представлением о достатке, как о чем-то постыдном. Жил на уровне своего народа. А списанный из лечебницы с неосязаемой и копеечной инвалидностью, совсем съезжился. Зрение и слух обострились и ушли в подкорки, на кончик пера про-



силась злосчастная правда и натуральные люди с их теневой, благой и грешной возней. В отношениях с властями, с обществом, даже с близкими доминировал медвежий страх, то есть избегал противостояний, сколько мог, а не мог – бросался на пугало очертя голову. Половина души пряталась и дрожала, другая – гордо восставала против порока. В спокойном обиходе он был подчеркнуто, артистично спокоен и школярски правилен. Это и составляло его диагноз.

В перемены к добру, в безнаказанность праведников наш бытописец не верил, и чтобы новые власти не вернули его в лечебницу, писал в стол. Повезло: с супругой числился в разводе, жил через прихожую, кормился, если не забывал, самостоятельно – тут она не помеха.

И так с дюжину лет. В его шестидесятилетие, которое никто не заметил, с началом нового тысячелетия, до которого Дорошко не планировал дожить, явилась ему буйная решимость – выкопать многожды перепрятанные три житейские повести, отлежавшиеся, призабытые, и – издать их. Под лупу перечитал, посмеялся и поплакал, отложил, не поверив, что это он мог такое сочинить. Листал классиков, штудировал теперешних авторов из тех, кто почестнее, разумеется, не фантастику, не эротику, не зубоскальство, только правду и ничего, кроме правды, как на Страшном суде.

У него было лучше. Понял, что время сублимации через сброс душевных накоплений в стол прошло: или он выходит на люди, или по своей воле просится обратно в психушку.

Издатель прочел и сказал:

– Напрасно вы краснеете и прячете глаза, это из ряда вон хорошо. Только мы принимаем рукописи на компьютерных дисках. Найдите грамотного наборщика, это вам



обойдется, по количеству страниц, в полтысячи. И... найдите спонсора, мы ведь частное предприятие.

Сон покинул Дорошко на неделю. Полтысячи гривен – это половина его пенсии, а сколько требуется на издание, заказчику не изволили сказать. Думается, в десять раз больше.

Лучше было оставить затею. Но ведь издатель – живой человек: читал три дня, хвалил, подсчитывал расходы, теперь, поди, надеется – подленько со стороны автора свернуться.

Во вторую неделю одолела жажда оставить после себя след, стар ведь, катит с базара. Пусть едва заметный проселок и только на своем околотке, ничтожный, сколько таких писак пылится по хранилищам библиотек! Да, но в повестях – его опыт, сокровенный и оригинальный. Исповедальный, честный и насмешливый стиль, к тому же – увлекательный, как летнее, карманное чтиво. Скольким неудачникам достаточно прочесть его – и не придется тратить жизнь на свой такой же опыт.

Тут и вспомнил о Серафиме Дольской, весьма шапочной знакомой, еще по газетным визитам. Второстепенная журналистка, дамочка на редкость пробивная и умеющая вертеться. Она точно – леди с компьютером, и упражняется на нем лихо. Встретились, понятно, «на вы». Хорошенькая женщина; в свои пятьдесят с небольшим лет как-то заученно весела и богата расхожим юмором. В подвальной кафешке, подальше от чужого глаза и сглаза, как давнему знакомому, без вздохов, даже на улыбке, она исповедалась: муж оставил, не понравились члены семьи, то есть дети. Один со своим театром не держится дома, а другой требует няньку постоянно... Ушел давно, продав легковушку старшего сына, еще он забрал все сбережения и купил себе лачужку в коммунальном дворике. В такие пени ста-



рый литератор не глубоко вникал, сватать даму не соби-
рался; какой из него жених – ни кола, ни прокорма! Глав-
ное для него – женщина взялась скинуть на диск почти
пятьсот страниц по гривне за каждую.

Десять дней спустя Дольская впервые пригласила лите-
ратора к себе домой за готовой первой из трех повестей.
Своевременно: строгая экономия на пище сберегла полто-
ры сотни. Когда в прихожей громогласно объявил об этом,
Серафима Ивановна прижала палец к губам:

– Т-с-с, дитя спит в соседней комнате.

– У вас малыш?

– Тридцать лет малышу, полуночник он, Интернет в
наших руках, широкие связи, сервер, крутые воротилы – и
мы при них... Днем я, ночью – сынуля.

И возникла новая глава из ее жизни. При рождении ее
старшего сына медработники перестарались, так что те-
перь он прикован к креслу. Да так крепко, что мать кормит
его из ложечки, в туалет тащит под силки, знакомым пере-
водит с родного на родной его натужные и нечленораз-
дельные звуки. При этом парень удивительно просвещен-
ный и с юмором. Тоже пишет рассказы, правда, клавиши
гоняет кончиком своего примятого носа.

– Но не тушуйтесь – дело привычное, – реплика без
ожидаемого материнского вздоха. И тут же – в руки фал с
его прозой: – Прочтите на досуге и сделайте замечания.
Вы классный рассказчик, я уже поняла, переписывала вас,
ну, и читая взасос. – Тут милый, искательный хохоток.

Первое побуждение – отказаться, мол, подслеповатый
старик свое едва разбирает, а тут – чужое видение мира, да
еще не реального, а какого-то заоблачного в прямом пони-
мании.

Но вспомнил о своей тупости и зависимости от хозяйки
дома: никогда он не поймет, как это управлять мудрым



компьютером, даже на кнопку нажать боится. О каком-то Интернете слыхом не слышал. Никогда не обзавестись ему этой техникой, а значит, вечно придется ходить на поклон к уже притершейся и такой сведущей в житейской буче Серафиме Ивановне. Да и ловкая лесть ее полонила слабую душу писателя: взялся Дорошко благотворительно потрудиться на инвалида.

При получении второй повести с той же постраничной оплатой старик был обременен целой книгой начинающего автора и с установкой: прочесть, отредактировать и, при случае, в издательстве замолвить словечко, да с намеком, что при согласовании понадобится снисхождение. Тут же женщина околичными словами поделилась опытом своего нынешнего бытия, мол, мамка Серафима умело выдоила из сволочных властей под инвалидность сына и машину, которой удалось расплестись с супругом, и уже второе кресло с моторчиком, и несколько путевок, и крупнее, чем у иных инвалидов, пенсию. Уж если общество так печется о несчастных, то где тут устоять простаку Дорошко! Загрузил себя работой на чужого дядю, то есть племянника, неделя эдак на пять.

Третий визит к Дольской обогатил открытого новым впечатлениям литератора многими познаниями. Наедине шептала Серафима:

– Если у сыночка написано не очень уж... то вы не сетуйте. Это ведь не литература, а процедура. Знаете такое понятие: арт-терапия. Я лечу человека, ограниченного физически, тем, что загружаю его интеллектуальной работой. Тем, что ему под силу, если уж лишен парень всего прочего. Это сильно отвлекающий момент, держит душу на плаву. Я в этом хитром деле профессор, хи-хи-хи...

В тугие мозги Дорошко вползает еще одна мысль: а ведь он сам писал в стол, чтобы не сойти с ума, чтобы суб-



лимировать от кривой и темной жизни к зрячему и ясному вымыслу. А то, что у него получается чистый натурализм, – лишь следствие, свидетельство о полном отсутствии в человеке фантазии. И как теперь не опекать несчастного юношу? Не многим ведь жертвует старик, всего лишь крохами отведенных ему дней.

До издательства диски со своими повестями Дорошко не донес. Складывал гроши на первый взнос, искал старого однокашника, который теперь ворочал банком и мог хоть частично покрыть расходы.

Минул месяц. Встретился другой однокашник, слабенький литератор и большой пройдоха, Сенин. Напросился к старику домой, мол, полистать его рукопись, есть же у тебя, разбойник, твой опус, кроме как на дисках, еще и на листах!

Зашел, выпил всю влагу в квартире, просмотрел черновики и ахнул:

– Ну, бандит ты, коллега! Ходишь, клянчишь на издание, а сам, поди, нагреб за эти повести тысячи! Да в долларах! А? Медвежатник ты с большой дороги!

– Слушай, Сенин, я с тобой повторно чокнусь. Не рюмкой – башкой. Как я мог нагрести, если ни одна живая душа, кроме двух помогающих обещаниями протолкнуть эти труды в жизнь, не покупала эти вещицы?

– Я покупал.

– Не понял...

– Я оплачиваю Интернет, и мы со старухой в три приема, ночей недосыпая, читали твои опусы с продолжением. Говоришь, нет у тебя техники? Как же ты сайтом обзавелся? Да еще под псевдонимом? Славы боишься, мародер ты эдакий! Пан Дульский, что ли! Косишь под переводного? Пан Дульский! Лавры полячки Запольской не дают покоя?! Вышьем же за твой подлинный успех. И за твою истинно хохляцкую хитрость!



...Идут дни, недели, месяцы. Дорошко не навещает издательство, не звонит Серафиме Ивановне ни по телефону, ни в дверь. Делает мелкие услуги соседям, потом застенчиво спрашивается к ним «на Интернет», находит сайт, подсказанный Сениным, и читает-перечитывает повести некоего Дульского, даже заучивает на память, пошел по третьему кругу. Кроме соседей, знакомых с Интернетом не оказалось. А эти стали избегать его, даже отказываться от мелких услуг, закрывать дверь перед его носом. Пошел по Интернет-клубам, поначалу принимали с уважением, но вскоре даровое сидение старого гостя среди подростков надоело хозяевам, а сам маэстро до того издержался, что ему не из чего было даже пообедать. Из одного клуба вытурили, перед другим постоял и сам не решился войти. Двинулся вдоль окон: может, сограждане читают того же Дульского. И он пристроится. Но за темными стеклами только поблескивали слабые пятнышки.

Эти отблески запечатлелись у старика в голове, даже во сне он видел темные строки на белом фоне, читал их без единой запинки. Дни превратились в напряженное ожидание ночей. Ночами он проживал заново свою юность, зрелость, старость, со всеми лишениями и невзгодами: обносками, недоеданием, угнетением сердца и показным, фальшивым презрением к достатку. Иногда ему думалось: он стал профессиональным ожидальщиком.

Даже автора, похожего на себя, нашел в истории литературы – это поэт Осип Мандельштам. В голове непрерывно прокручивались печальные ритмы, кажется, харьковского бухгалтера Чичибабина:

Жизнь – кому сито, кому решето:

Всех не помилуешь.

В осыпи общей вас-то за что,

Осип Эмилиевич.



Потом сами собой, в голове или в душе, пелись чужие стихи на мелодию из ненашей оперы. Напевал старик, мычал, ставил текст и мелодию на открытый звук, наконец, в утреннем просонье ему показалось, что строки эти написаны про него же... со временем, завтракая всухомятку, с приподнятым сердцем прозаик вдруг осознал себя поэтом: да стихи написаны им, Дорошенко! Он вскочил, походил по каморке, радовался, ликовал, отчаянно дорожил открытием. И решил: публиковать свою эту гениальную «писеску» он не будет, все равно укрудут.

Отголосок того, давнего, торможения сдвига в психике усиливался. Но теперь сдвига возвышенного, сладостного, примиряющего с жизнью и держащего на плаву... арт-терапия.

...История пани Дольской не менее интересна. Ее младший, здоровый, пробивной, весь в маму характером сынок влюбил в себя туристку из Австрии, перебрался за бугор сам, а потом и мать с братом-инвалидом перевез в Вену. Там, в зажиточной, сильно сердобольной семье, в большом доме невестки Серафима Ивановна показала свои кулинарные, прачечные, горничные и прочие хозяйственные таланты и закрепилась навеки. Для души она исподволь переводит на немецкий язык упомянутые выше, уже ставшие совсем своими три повести, даже нашла издателя.

Социально активная женщина...

ИЗМЕНИТЬ ПУТАНЕ

Подстарок – это когда вам пятьдесят пять, ну, шестьдесят лет. И вы – ровненький мужик с прыгающей походкой, бритый и причесанный, с частой оглядкой на молодых женщин, у которых лица или фигуры по вашему вкусу.



Подстарок – это Радий Вотуш, человек с распространенным пороком, давно высмеянным в анекдоте:

«– Рядовой Тёмкин, что вы думаете, глядя на полотна Айвазовского?»

– Я думаю о половом акте, господин лейтенант.

– Что же вы, деревенщина, в музее думаете о половом акте?

– А я всегда об этом думаю, господин лейтенант».

И тут – коллизия. Супруга съездила на курорт лечить желудок, а вернулась с манией воздержания. Недалекая врачиха и толстая книжка, которую благоверная привезла домой, внушили впечатлительной женщине страх перед микромиром до того, что она ела только приготовленное дома, пила очищенную и замороженную воду, руки мыла, не успев прикоснуться к собственному лицу. И совсем веселенькое – объявила великий пост супругу.

Ну, как совместить эти два анекдота, литературный и житейский!?

Терпеть, размышлять можно день, ну, учитывая возраст, – неделю, а дальше?

Пошли наблюдения и осмысления. За кордонами и морями устроены заведения для нивелировки подобных казусов. В нашей же раздвоенной, расстроеной и распятой стране еще крепко живет христианская мораль. Впрочем, только на словах и только по одной из десяти Заповедей: «не прелюбодействуй». Про «не убий» мы впопыхах забыли, а «не укради» стало забавной шуткой.

Впрочем, если пройтись по Интернету, можно найти дюжину ласковых приглашений окунуться в мир наслаждений и прочей мишуры. Тут же обольстительные портреты в стиле «ню», все молоденькие, из давних снов подстарка.

Решался Вотуш долго. «За» было растущее желание и обида на супругу. «Против» – пропаганда «антиспид» и



естественная безгловность интеллигента. Не дурак, понимал, что на фото – чужой интерьер для парадных съемок. Бикини на девушке – из костюмерной или взято напрокат от кутюр. Даже если все атрибуты ее собственности, то они пропотевшие, застиранные и оцупанные сотней рук предшественников.

Когда бес едва не сломал ему ребро окончательно, Вотуш выбрал на мониторе кругленькую блондинку со взбитой прической и умело схваченной купальником пышной грудью. Учел и стоимость визита, не разорять же семью капризами тела. Позвонить сразу не решался: стар ведь, откажет, и его душа наполнится презрением сама к себе. Наконец:

– Я здоровый, чистый мужчина, но пожилой...

Приготовил дальше: «гость вашего города, хочу избежать помех в работе». Не понадобилось. «Мне без разницы», – был бойкий ответ и тут же короткий перечень услуг, какие ограничения, где нужны резиновые изделия. Подошло.

В обеденный перерыв подстарок смущенно стоял перед воротами старинного двора, озирался, готовился уйти, если еще пять минут... Но щелкнул замок, юркий мужичок выскользнул, пряча глаза, однако боковым зрением смерил Вотуша, попутно заронил мысль: предыдущий клиент.

Прижал створку за спиной, обезопасив себя с тыла, и окинул двор взглядом. Мать родная! Двухэтажные строения, целых четыре, приоткрытые форточки, внизу битые подъезды. В который из них стучать? Справа явилось спасение – оно было в цветном халатике и с мягким голоском: «Мужчина, сюда!»

Уже в прихожей он плотно прижал спиной дверь, убеждаясь, что щелкнул замок и опустилась тяжелая портьера. В слабом свете, синем, похожем на лечебный, стояла де-



вушка не первой молодости, с хорошеньким лицом и излишне тяжелой грудью и вся чужая-чужая. Накопленные греховные желания исподволь уходили. Утешал себя мыслью, что так было и раньше: в одиночестве бес нарастает, но проходит два-три дня поста, и нечистый отпускает, снова же на два-три дня.

И потом, назад дороги нет, неприлично, нецивилизованно.

– Здравствуйте, – совсем по-домашнему сказала девушка. Однако в уголках ее глаз мелькнуло что-то такое, что стукнуло старого Радия по макушке: а ведь эта мерзавка знает его.

– Вот, за ширмой, душ. Освежитесь. – Она заторопилась, чтобы ему в голову не пришли худшие подозрения.

Он тоже отмежевался от всего, что мешало тому, за чем он пришел: взял свежее полотенце (незаметно ощупав, даже понюхав, свежее ли) и отчаянно, по-солдатски быстро разделся. Под горячими струями сделал вывод: девушка не его, отдельного индивидуума, знает, а постигла мужчин в целом, – и стих прошел.

Когда, весь напряженный, Вотуш вошел в спальенку, она стояла уже голенькая. Несколько полная и торопливая: наверное, потому свет тут был сильно приглушен, а в углу мелькал красками и источал тихий блюз старый телевизор.

– Меня зовут Ксана. – Явно псевдоним, но это к лучшему. – Располагайтесь...

– Вы ложитесь, я с дороги посижу.

Вотушу хотелось привыкнуть и присмотреться. О возможности перехватить болячку он забыл, просто и без оснований не спешил.

Улыбаясь невинно, словно она всего лишь хозяйка званого ужина, Ксана легла на спину. Он сел у ее ног и, чтобы не показаться ослом, положил ладонь на ее бритый лобок. Она заполнила паузу признанием.



– Подруга осуждает меня, – прошептала Ксана глухо. И он уверился, что девушка таки знает его, скрывает знакомство изо всех сил, но находит нужным объясниться.

– Это подруга из зависти. Вы ведь девушка при деньгах, – не найдя ничего умнее, ответил Радий.

– Да, – виновато спохватилась она. – Гонорар положите на тумбочку.

Понятно, случалось, от нее уходили не заплатив. Поднялся, шнырял кистями по карманам и мимо, нашел три сотни, небрежно бросил на столешницу, эдак с полным безразличием к тратам.

– Я учительница младших классов... была замужем... – зачем-то рассказывала она. Ах, да, ведь ей кажется, что он помнит ее, продолжает оправдываться.

Голосок звучал ласково и виновато, впрямь старшая школьница на первом свидании. Запиналась. Доволен произведенным на нее впечатлением и вырастая в собственных глазах, Вотуш старался помочь молодой женщине.

– Вы в своей стране нелегалка?

– Как водится.

– Крыша у вас надежная?

– Да, есть.

Хотелось выяснить, из каких слоев сутенер: чиновник, милицейский или цивильный торговец женскими прелестями. Однако много и сразу валить на женщину, и без того сбившуюся в комок, не смел. Рука его усыпляюще витала над интимными складками ее тела, мягко ложилась на живот, принуждала партнершу украдкой двигаться влево и вправо и по-кошачьи мурлыкать.

– Я тебе не в тягость? – это он.

– Что вы!.. Вы старше и мудрее...

– С чего ты взяла? – вырвалось «на ты», и Бог с ним.

– А вы смакуете женское тело. Многие – коллекционируют.



– Трудитесь и наблюдаете?

– Да-да, у сильного пола чаще бурлят наслаждения иного рода. Скажем, ликуют от чувства превосходства... ну, очередная победа, материал для хмельной бравады... Сплошь и рядом простое желание излить лишнее. Пятьдесят минут, а то и с наскока, как петух, и убегают. Ни на что больше мы таким не нужны. И редкий гость не скрывает свою чуткость, то есть выпытывает, как ты дошла до такой жизни. И совсем единицы хотят обогреть и приподнять женщину. Улавливают и в ней жажду любви, пусть не совсем обычной, ворованной, там, или продажной... Ой, я заболталась!

Надо было откликнуться, но подстарок весь поплыл в сладко-замуленном чувстве благодарности. Красивая девчонка изливала ему душу, да в такой изящной форме, что кроткие ее излияния укрощали самые сильные его физические порывы. Были слаще их, таких было куда меньше на земле.

Она вдруг тихо завизжала, не то из шалости, не то от восторга. Акробатическим движением оказалась на полу, лицом к его коленям. Носом уткнувшись в его живот, она горячей ладонью толкнула его в грудь.

– Падайте. Падайте и летите долго-долго.

Голыми грудками повела влево и вправо, зацепила все, что можно было задеть, и принялась едва чувствительно, по-младенчески целовать давно набухший отросток.

– Как все это забыто мной! – крикнул он шепотом.

– Когда мужчины это забывают, они скоро старятся, – не отрываясь, она ухитрилась высказать такую важную мысль.

И правда, ему так бы лететь и лететь. И ничего большего не надо. Когда он стонал, она визжала в обе ноздри, разделяя и умножая наслаждение.



Потом дала отлежаться и прийти в себя. В какой-то момент почувствовала, что пауза затянулась, прошептала:

– Не все любят оральный секс. Вы – гурман. Вы угадали, почувствовали... я ведь больше люблю... так...

А он подумал: нет, тут что-то большее, чем плотская работа. Женщина идет навстречу от полноты сердца. И тут она попала на своего. В какие-то мгновения он старался развенчать эту мысль, мол, профессионалка, поднаторе-ла... И ловил каждое ее движение, каждое слово и звук, чтобы уличить. Но не было отдельных ни движений, ни звуков со словами. Вернее, они были, но только как сопровождение чего-то большого и главного. А что это такое важное и наполняющее тебя всего, подстарок не догадывался. И прекрасно! Чем меньше называешь явления словами, тем они загадочней и красивей...

Послевкусие важнее вкуса. Прокрадываясь чужим двором на улицу, потом с независимым видом шагая по тротуару, Вотуш чувствовал себя на том самом седьмом небе, о котором пели классики. В голове светло, мир воспринимается с самой веселой стороны, а каждая клетка организма молодеет. И ясно же стало, что дома о нем не заботились вовсе. Ведь прежде всего надо мужику внушить, что он главная, желанная, чрезвычайно важная часть семьи, а не упряжная лошадь, похожая на ту, слепую, что ходит в дра-ной шлее вокруг колодца и качает, качает воду.

Тогда он, и правда, будет горбатиться и стараться. Надо знать, что у самца, даже подержанного, часты смены настроения, а желания спонтанны. Угадывать их и тут же удовлетворять – святое дело супруги. И никогда его не потянет на сторону. Еще неплохо бы женам скрывать свои малые хлопоты и болячки, все то, в чем мужики не могут помочь... А что у него дома? Придет с работы – ой, забыла принести родниковой воды, сбегай! А теща в припряжку:



развесь белье, я не дотянусь до веревки. А телевизор? Их два, и каждый предназначен, словно заблокирован: для тещи – сериалами, для супруги – политическими разборками. А твой футбол, бокс, специальные программы – все такие прибабасы в расчет не берутся.

И уж совсем плохо к ночи.

– Я сегодня накрутилась: стирка, варка, поход к знахарке. А та советовала против пятницы – ни-ни! Спи на диване.

– Ты вчера не достал денег на куртку, я расстроена, дай отдохнуть от тебя.

– Звонила дочь, они поссорились с мужем... – и тот же адрес для сна.

А после курорта вовсе отвод.

Какие там уют и ласка? Ради чего вкалывать и унижаться на службе?!

И на полдороге домой выкристаллизовалась мысль: великое дело – публичные дома! Знаешь ты, зачем туда идешь, и встречают тебя исключительно ради твоей цели. Ничего привходящего и чуждого ласке. И плохо, что приюты любви приватные и вне закона. Поставить бы дело на державную ногу, оснастить комфортом и медициной, подобрать барышень на всякий вкус!.. И в казну доход, и счастлив народ. А нравственность? Если общество развалилось, девять из десяти заповедей Исхода попораны, то почему крайней должна быть самая невинная? Ведь никаких счетов не предъявляешь супруге после красивой встряски на стороне, даже любишь ее неким остаточным чувством самца.

Великая странность случилась к ночи. У супруги не было повода огорчаться его поведением – аккуратно день зарплаты, и вроде бы всю принес ей. Ужин удался, по телевизору не показывали борзых от власти, а только юмор... А он ни разу не взглянул на законную, даже когда она фланировала под самым его носом в одной ночнушке.



На другой вечер – то же. В течение недели Вотуш до того удумался, что пришел к выводу, что он не может изменить Ксане. Неприлично обижать такое красивое, покладистое, нежное, преданное тебе существо. Ну не может ее вычеркнуть не только из памяти, но и из «послевкусия». Понял это, и его обдало холодом, перепугался в смерть. Может, это и есть то самое, что называется развратом? Не сам поход к путане, а то, что откладывается в душе и ломает семью. О, скудный наш менталитет!

Притупилось желание, состояние всего организма стало настороженным, виноватым и слабым. Теперь он боялся смотреть фильмы с эротическими сценами, не оглядывался на жену в неглиже. Совсем сдвинулся, когда понял, что все время просматривает улицу на сто шагов вперед, чтобы не встретить Ксану. Не сможет отказать себе в новой встрече с нею.

Да, в загул следует пускаться смолоду, а в подстарках – сиди дома, а то неровен час – сдвинешься и станешь беречь верность не супруге, но путане.

Завершение этой истории ни одному писателю и в голову не придет: супруга крепко полюбила Вотуша за то, что он «зауважал» ее и больше никогда не лез к ней со всякими глупостями.

СЕМЕЙНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

– **Д**вадцать пять лет ты с меня пылинки сдувала. Теперь принялась выколачивать, – скалил зубы пенсионер Дарий Алексеевич.

– А все недостатки, – переходила на пиано Людмила Авраамовна.



– Ну, тогда можешь ехать.

Только после четвертого скандала эти двое пятидесятилетних, подержанных, но милых и со следами ухоженности людей поразумелись.

Первый раз повысили голос два года назад, когда супруга сказала, что с этой страной каши не сварить, мол, завербуется она в Италию, как все порядочные женщины. Дарий с издевкой запел:

– Бывали мы в Италии, где воздух голубой... – и не допустил ни своей хмельной, ни ее трезвой мысли шагнуть в сторону Апеннин. – В прислуги или в стриптиз, о, моя законная?!

– Законную содержат достойно!..

Пошли в ход пословицы, слухи, рифмы, матерные возгласы. Угомонились, наконец, только каждый и в душе и вслух остался при своем решении. Женщина за дорого купила *italiano – russa* разговорник, втайне пошла по бывалым товаркам: как *туда* проще добраться, к чему *там* можно руки приложить, и прежде всего – кому и сколько для начала на лапу давать? Узнала, что многим придется жертвовать, но не остановилась.

Повторный диалог шел в сопровождении грохота посуды и звонков соседей в дверь – мешаете жить! Третьей была немая сцена, похожая на драку глухонемых или на фрагмент из оперы «Фауст» – шабаш ведьм, только с отключенной музыкой Гуно, что совсем уж страшно. Нечто среднее, с попыткой задушить, только так, чтобы не на глазах у соседей и ни в коем случае не впутать следствие.

Теперь же сидели по углам, сопели в четыре ноздри.

– Как я... в одиночку? – с одышкой шептал Дарий.

– И в одиночку пьют, – утешала Людмила. – Хоть кину тебе, на что пить, и позволю бражничать в приличных условиях...



...Перебралась она через три границы благополучно, оплатила посредника, довели до Кальяри. Пристала в услужение к зажиточной семье, с двухэтажным домом и приходящим садовником, показала свой *italiano*. Нанялась переворачивать с боку на бок девяностолетнюю *seniogu*, два раза в неделю подстилала под нее клеенку и протирала, как павшую статую времен Цезаря, губкой и ароматизирующими водами. Тоскуя по родине, пекла себе блины, угощала хозяев и тем сильно угодила макаронникам: они своевременно платили по семьсот евро и позволяли чувствовать себя как дома, то есть есть и пить все, что ели-пили они, и не высчитывали за харчи.

И правда, тут воздух голубой, в людях цыганская непосредственность и вороватость, только, в отличие от нас, живо трудолюбие и чопорность, а главное, все есть и... бери – не хочу! Уже на третий месяц звонила домой:

– Теперь меня зови Лючия. Высылаю первую и, даст Бог, не последнюю помощь. Жаль, доченька осталась дома. Она все так же без работы? Дай трубку Ляле.

На голос двадцатипятилетней дочери расплакалась:

– Я тебя вытащу сюда. Через не могу – вытащу...

– А папа же?..

– Тут не подойдет ему, тут только легкое вино пьют...

С доченькой вышли затруднения. Подмывать отходя она ни в какую не соглашалась, а девушек с дипломами да интеллигентскими замашками на полуострове своих – пруд пруди. Так и отстучала Людмила-Лючия годик одна, с тем и приехала на побывку домой.

Наедине с нею Дарий был ласков, отбивную сварганил собственноручно, чаек двойной закатил, постель сам разобрал, и весьма поспешно. И все же отвычка дала себя знать: волтузился вокруг да около, сопел в обе ноздри, брал тайм-ауты. А когда мир вокруг возликовал, подстарок заключил процесс в своем духе:



– Если долго мучиться, что-нибудь получится.

Три дня спустя у хозяйки все чаще вырывались реплики некстати и упреки:

– Кран не зажал... По счетам платишь с опозданием, пеня... Лишнее яйцо поджарил, а *у нас там* – расчетливо все, отсюда и достаток...

И получила:

– Любовь на расстоянии крепче, ты не находишь?

– Распаскудился ты, Дарий божий!

Прощаясь, Людмила-Лючия плакала на груди у дочери.

– Тебя заберу. Непременно заберу.

...Мечта осуществлялась круто. В Кальяри зачастил из самого Катандзаро младший брат хозяйки, Томазо, оборотистый малый. Утверждал: *sono celibe* (я холост), слыл бабником, потому, после красного сухого, к ночи искал отдушину. Длинной рукой, во избежание кровосмесительства, нащупал осанистую Лючию. Разница в возрасте в двенадцать лет (не в его пользу) при разовых попытках не помеха. Устойчивость остарбайтерши несколько удивила, а уступка в финале – восхитила: «О-о, *roksolana!*»

Лючия-Людмила позволила связь продлить, хотя в один из его приездов не нашла милого вечером в гостиной. А наткнулась через сад, у соседки, – на парочку вповалочку: на ковре при свете фонарей в окна. Партнершей была сама соседка, а партнером – Томазо. Лючия попятилась и сбежала, чтобы хорошенько обдумать ситуацию, и – закрыла глаза на измену. Уже притерпелась к темпераменту итальянских *bombino*, главное же – смирилась во имя лучших надежд. При ближайшем свидании заговорила по-матерински:

– Тебе бы жениться.

– О, из ваших бы молодую роксолянцу!

– Я тебя сосватаю.



– Voglio sentire! (Хочу слышать!).

И с утра она, закрывшись в комнате, звонила дочери:

– Ляля, парня тебе нашла! Из богатенькой семьи и сам с достатком. Хорош во всех отношениях! Ну, лет на восемьдесят старше тебя...

И началась настоящая работа, труд ума и души, а не бездумный – рук да ног.

Вечером расписывала любовнику «одну родственницу», показывала фотографии Ляли, а днем звонила то ей, то Дарию – обрабатывала, готовила к встрече с претендентом на руку...

– Привезу на недельку к вам, на смотрины.

...По осевой линии центральной улицы нашего города всю половину августа каждый вечер прогуливалась видная пара. Он – рослый, похожий на отмытого цыгана, в нездешней разлеталке и тонких джинсах, иностранец, она – наша, хороша до чертиков, встречные мужики и даже бабы сворачивали себе шеи. По наущению матери Ляля играла скромницу и тянула с ответом на самое главное – предложение. Томазо даже упрекал Людмилу наедине, разумеется, на итальянском языке. А под рюмкой и снова же оставшись вдвоем, заявил:

– У меня что, пост? Выручай, Лючия.

Сообразуясь с обстоятельствами, мать учинила все так, что дочь, сохраняя неприкосновенность, была поспешно приглашена в Кальяри и Катандзаро для ответных смотрин и окончательных переговоров.

Дарию Алексевичу сильно не нравилась эта ненашенская затея. Но им правили три комплекса: один – слабость отца к перезревшей дочери; другой – признание матриархата, по-домашнему – подпятника; третий – вселенская мужская слабость к крепким напиткам. Последнему пороку он и предавался – все обстоятельства благоприятствовали.



...Молодые с матерью уехали. В Калабрии сыграли свадьбу на лошадях. Дочь и мать жили в разных городах. В Катандзаро отношения между молодыми складывались как нельзя лучше: Томазо кичился своей некогда великой страной, возил в Рим, водил в собор святого Петра и не одергивал, когда Ляля крестилась справа налево, похляцки. Посетили дилера от «Фиата», и молодой супруг указал на ряды разноцветных легковушек: «Cosa mi prendere?» (Что закажешь?) – и разрешил Ляле первую ее машину разбить хоть с первого раза. Когда были в галерее Питти, он вообще ушел с приятелем пропустить стаканчик, мол, *scusi, disturbo* (прости, я не мешаю), и – сама осваивайся. За все такое с итальянской поспешностью заказал *un figlio* (сына), а Ляля с хохляцкой готовностью понесла. Семья чудная, с калабрийскими прибабасами. Скажем, когда Ляля была временно недоступна, Томазо изредка появлялся в Кальяри один, с деловым визитом или – кто их, цыган, разберет?.. Непременно приглашал тещу на вечернюю прогулку, поил в ресторане. В гостиничном номере с упоением рассказывал ей об ожидаемом Джакомо и от души и тела благодарил *goksolana-ulo* за все добро, совершенное этой женщиной для продления и укрепления его породы.

* * *

И снова у нас.

...На углу Космонавтов и Нагорной каждый вечер возникает выбритый и надушенный мужчина старше средних лет. На нем светлый или темный, непременно модный, костюм, всякий раз новый галстук. Осенью – куртка с претензиями, зимой – полупальто со смушкой и шляпа грубого фетра. Весь вид его благообразный, даже возвышенный. Он ступает к навесу «Янтарь» у крохотного, довольно бед-



ного магазинчика, садится за залапанный столик с резными месседжами: «Здесь пил Саня с корешами», «Будьмо, гей!», со множеством эскизов срамных частей тела. Трепанная палатка во многих местах прожжена сигаретами, расписана пивными брызгами, наполнена нервом и матом.

Из-под полы подстарок принимает самый заурядный стакан водки и с расстановкой, по-хозяйски потягивает кружку-другую пива; наливает первому, кто подсядет. И говорит, говорит красивым сиплым баритоном:

– Не важно, мы избираем эту жизнь или она нас избирает... Но есть другая, скажем, жизнь шахматной фигуры. Это да! Конь в центре доски. Дрожи, и пешка и ферзь!..

Лица перед ним поросшие под плесень, седые и рыжие, с мутными глазами, подбитыми губами и струпьями в уголках рта, – все неопрятные, замызганные, согласно и нечленораздельно мычачие. Одни принимают на плечо за чужой счет, уходят, на их место подсаживаются другие.

– Я могу себе позволить и сегодня, и завтра... И вам позволяю... – витийствует благообразный господин, адресуясь к одному, а когда этот исчезает и возникает другой тип, он продолжает прежний монолог, не сбавляя тона: – Только скажу, участь мужчины определяет близость или отдаленность женщины. – Господин пьет еще, угощает: – Была бы она рядом, скандалили бы. А так всё – на большой с присыпкой... – И палец козырьком.

Иногда встряхивает головой, как бы прозревая:

– Да, позвольте представиться. Дарий Алексеевич... Дарий божий...

И так два, три и пять лет и далее, в жару и в стужу...



КОШМАР ПО ФРЕЙДУ

Я ожидаю, что на мои похороны сограждане придут не проститься с достойным землячком, но убедиться, что в городе одним плутом станет меньше. С теми же ожиданиями, то есть ничуть не испытывая сочувствия, я отправился на кладбище для избранных постоять в заднем ряду над свежей могилкой накануне усопшего мэра. Даже стихи из старого британца явились под настроение:

Его похоронив, был город безутешен:

Он здесь родился, был воспитан и... повешен.

Стою в окружении постных, фальшиво скорбящих физиономий, среди коллег, всеми помыслами устремленных по своим заботам. Священник невнятно, нечленораздельно, обгоняя словами мысли, торопится отпустить грехи усопшему, а заодно отпустить деловых людей к их бизнесу – старик понимает, я понимаю, каждый понимает, что ритуал в тягость отборному товариществу...

– Сколько внес наш дорогой Максим Егорович в копилку городской общины, – бросив жменью грунта на древесную, тонко лакированную крышку гроба, выступает старейший депутат, по слухам – кум покойника.

А рядом со мной лысый коллега из партии-соперницы криво ухмыляется:

– А сколько вынес?

– Сколько земляков из старой гвардии умирает зря, – всхлипывает над могилкой другой матерый деятель.

– А сколько еще зря живет! – гнусавит рядом лысый.



Вторая острота уже плагиат, потому я не ценю ее. Тем не менее, настроение глупого козленка не покидает меня, впрямь – перед бедой.

...Я ушел было с кладбища раньше других, свернул за лесополосу – мрачный день как-то сразу превратился в сырой вечер. В мороси я различил шагах в десяти впереди себя невысокого мужчину в коротком кожаном пальто. Походка рысцой, прыгающая и как бы с оглядкой, словно незнакомец убегал от процессии, от ночи и от ауры смерти. Он всем походил на покойного мэра. Я подвержен резкой смене настроений, потому сдрейфил, тут же вернулся к автобусам и поехал на поминки со всеми.

За столом я выпил лишнего, не вкуса ради, но чтобы приглушить видение – убегающего покойника. Дома спал в медленном и вязком коловороте кошмаров: торговался с кем-то значительным, чья из нас двоих очередь следовать за мэром... Вздрыгнул – вроде бы проснулся от брызг из горсти супруги: она с трудом разбудила меня:

– Эй, депутат, у тебя же в десять сессия. Подъем!

...Депутаты набились в малый зал в полном составе, при жизни власти предержавшего такой явки не случилось. У всех физиономии постные, с креста снятые и – в казенном рвении – снова же фальшивые до чертиков. Ждем из тыльной дубовой двери, сильно похожей на вчерашнюю лакированную крышку гроба, появления первого зама. Впереди предложение и обсуждение кандидатуры на пост нового Городского головы, пикировки и черная неопределенность.

И вот она – беда! Не из персональной двери хозяина, но прямо из стенки выходит... со своей обычной артистической улыбкой, поигрывая плотными плечами и рысисто подпрыгивая... сам Максим Егорович. Из дальней дали зазвенели по нарастающему церковные колокола, по залу



разлилась благость и смирение. Зал вздохнул, выпустил пар из уст и не вдыхал долго, похоже, никогда. Я омертвел и прямо пальцами под шевелюрой нащупывал спасительную мысль: это все – кажется... и кажется только мне. Однако молодой прохвост от партии Принуждения высохшими губами прошептал:

– Брат-близнец или двойник?..

Я хотел крикнуть: «Не было у нашего ни близнеца, ни двойняшки! Кто пустил на сессию постороннего?» – Но не хватило духу.

Черт возьми, мы же материалисты, про Бога до сего дня все вспоминали только в дни болезней или когда наезжал рэкет на наш, записанный на родичей, бизнес. А тут мистический страх сковал общие мозги. Боковым зрением я замечаю, что шкет из партии Подхалимов глухо подхихкивает, как это делал и прежде при появлении шефа. А старый стукач из Неопределенной оппозиции шарит у себя за пазухой, достает «конduit» и помечает событие дня, чтобы предьявить куда следует. Понятно, жизнь входит в обычную колею. И хотя мороз ходил у меня по спине, а глаза выпирали из орбит, я решил не бежать из депутатов: все-таки льготы, неписаное право лоббировать свое дельце, опять же – иногда портретик в газете, жена дома за человека держит. Потерплю, авось прояснится.

Пока я барахтаюсь в сомнамбулических мыслях, Максим Егорович открывает рот. Непривычно широко открыл, словно освободился от груза прожитых под гнетом лет. Даже зубы оскалил и руку поднял, а из сжатой кисти брызнул луч лезвием сабли. Слава Богу, не сабля, а сверток папируса.

– Господа, вот документ. Я переписал все свое имущество в пользу Интерната номер два и Родильного дома номер три. Кроме зарплаты и непогашенного кредита за «Шко-



ду», у меня – ни копейки за душой. «Шкоду» тоже передаю в гараж горсовета. Прошу следовать моему примеру!

Все двадцать лет независимости, когда кто бы то ни было пытался посягнуть на нашу собственность, зал взрывался:

– Это наступление на права человека и гражданина!

– Статья Ночной конституции гласит!..

– Билль о правах Соединенного королевства...

– Самая демократическая Конституция США на нашей стороне!..

И малейшее посягательство на наше кровное, то есть ворованное, сникало.

Теперь же депутатский корпус онемел. Я оглянулся: все в намордниках и в шорах. Только моя остаточная мысль тускло сопротивляется: «Ни копейки у него за душой... Ему легко, душа уже не при нем». Потом еще, отголоском: «Столь гуманный акт для Егорыча естественен – он же покойник. Попробовал бы он при жизни заикнуться – мы бы его лишили синекуры». А вчерашний лысый из Лиги пострадавших снова устроился рядом со мной и шепчет: «Молчи, глуха – меньше греха. Заартачься – заберет с собой к святому Петру, а тот определит, куда должно».

Зашуршали листы, заскрипели перья. Но привычка депутатов больше иметь, чем уметь, одолевала, депутатский корпус тяжело задумался. Мэр подобросил валежника в костер:

– У Иваненко – два супермаркета. Откуда?

– У Петренко – четыре заправочные колонки. За какие шиши?

– У Сидоренко – весь берег в санаториях. Реку погубил. Выясним.

И снова страшные мысли: «Выяснить-то будут не свои люди, не со столицы, а с преисподней, рогатые, мужеложцы с пудовыми пенисами». Перья на короткое время за-



скрипели, и снова воцарилась тишина, потом, наконец-то! – пошли вздохи и шарканья ног. С заднего ряда вкрадчивое возмущение, как проба пера:

– Какого же хрена мы тут зады просиживаем?

У покойного мэра на все готов ответ:

– Не просиживаете, а нажираете! Да сидите вы тут только в дни, когда вам надо протолкнуть свое дельце. Пишите, пишите заявления о сдаче добра... Да ничего, ни гривны себе не оставляйте!

В средних рядах тонкий голосок, явно из партии Плакальщиц, завыл, запричитал – вот так бы на кладбище, над вчерашней могилкой Егорыча, может, и не было бы второго акта трагедии. Выла Саврасовна, впрочем, она женщина, ей партийный устав велит выть. А нам, поименованным мужчинами да еще элитой города, негоже рюм-сать. Надо бороться. У меня вырвалось:

– А нам за такие подвиги – что?

Власти предержавший с того света и на такое готов:

– А что бы вы хотели?

И пошли сокровенные желания, собственно, то, ради чего народные избранники, то есть ушлая братия, челночили, воровали, наезжали, терпели побои, рэкетировали, подкупали, в общем – лезли во власть:

– Домик над лиманом!

– Шестисотый «Мерседес»!

– Чадо милое в Кембридже!

– Артистку Мамыкину в наложницы!

– Мандат в Верховную Раду!

– В старателях да в этих стенах я потерял эрекцию! Вернуть мне эрекцию!!!

– Замри! – рявкнул покойный мэр.

Страх – первейшее свойство народных избранников, замолчали, как по команде фельдфебеля. А Егорыч продолжил:



– Вот что я гарантирую вам взамен чистосердечной сдачи награбленного: только великое сидение в горсовете, от десяти до двенадцати часов. И без копейки за труды, без льгот и взяток с бедных мирян. Никаких блатных продвижений, чтобы забылась коррупция. Зарплату будете получать только по месту вашей прежней работы и – минимальную...

– Да мы что, окаянные? Мы что, проклятые? Мы что, «пересичные» мещане – Иванов, Петров, Сидоров?!

– Вы – слуги народа. Ваше безвозмездное призвание – трудиться на благо...

Лысый рядом со мной уже дрожал и плакал:

– Да он что, с ума спятил?

– На том свете ума нет – есть только благодать.

Я чувствовал, что благодать и смирение покидают наше благородное собрание, а колокола совсем умолкли. Ожидалось непредвиденное. Как мог, я умирал соседей по несчастью:

– На том свете не зафиксирован ни один сумасшедший. Читать Писание надо...

Справа орал бывший номенклатурщик:

– Я буду жаловаться в Центральный комитет!

Слева его пытался остепенить трибун из народа, черт-те как затесавшийся в наш бомонд:

– А может, и в столице все вымерли?!

В центре зала встал вчерашний экз:

– Нет, братва, это не наш бугор. Надеяться можно только на малину.

При всей заурядности этот призыв был самым опасным. У задней стенки стали падать стулья. По принципу домино грохот нарастал.

– Мы не суеверные!

– Мы не верим в чудеса! Не может же быть того, чего не может быть. Того, чего мы не хотим!



– Воскресение бывает только на Пасху!

Почетные граждане города, люди года, орденосцы и заслуженные-народные, кандидаты и доктора наук – кто при какой сумел прикормиться, – все превратились в толпу, смещались к центру, потом двинули крестовым походом к председательскому месту.

– Один за всех – все за одного!

– У кого кушак из шелка?..

– Голыми руками...

У меня в глазах потемнело.

...И вот – хорошо закольцованная фабула, как в классическом рассказе или старом кино. Снова то же новое, для почетных жмуриков, кладбище. Смиренная толпа во всем темном и темная изнутри. Только гроб не деревянный, а цинковый и в два слоя, и могилка поглубже да в два наката.

Похоронная процессия укомплектована группой из спецназа, да при оружии. Стреляли холостыми патронами не все и не всегда в воздух...

От выстрелов по цели я, собственно, и проснулся.

...Слава Всевышнему! Это моя супруга взрывала надоевшей хлопущки. Нарядная, веселая, она выкрикивала мирно и мило:

– Соня-просоня, вставай, бой часов проспичь! С Новым годом!

НАШ ЧЕЛОВЕК В МОЗАМБИКЕ

Моя заграница – это двадцать пять квадратных километров саванны, приунывшая в раскаленных берегах, совсем не из книжки Чуковского, Лимпопо, буровые машины, грузовики, инвентарь в окружении вагончиков. В



вагончиках – газовщики. Не те, что пьют водку, а те, что бурят скважины. Впрочем, водку пьют тоже.

Через нас перекачивается война за независимость Мозамбика. В понедельник забредут три шоколадных солдата, обшарпанных, в линиялой форме, тощие, с пустыми патронташами, опираясь на винтовки, как на костыли. Это правительственная армия. Они скромно жестикулируют, кривят в истоме рожцы, чавкают пересохшими ртами: поесть бы. Во вторник, пошатываясь, волоча винтовки, имеющиеся не у каждого, прибывается полдюжины совсем оборванных – шорты да набедренники – повстанцев. Те же жесты, то же чавканье.

От тех и других меня охраняет Жозе, тощий чешонец, по слухам – многодетный в свои двадцать три года, пахнет ракушками и спермой; служебной форме он предпочитает женский халатик, бог весть где спертый. Иногда ночью, выходя «до ветру», застаю у вагончика винтовку и россыпь патронов. Жозе нет. Является три дня спустя.

– Где был?

– Деток повидать хотел...

– А вернулся зачем? Тебя же расстреляют за дезертирство!

– Кушать хочется...

Не закладываю приятеля. Сам не лучше.

Мы тут все будто бы... Начальник будто бы руководит. Время от времени, по радио, слышимом во всяком вагончике, говорит с городом Бейрой, считая, что это он на португальском языке и бурильщики не поймут.

– Тимоха, захвати сегодня дойч гараффеш... одну виски, одну джина... пускай стоят.

Стоят «дойч гараффеш» (две бутылки) недолго, два дня спустя – та же команда на том же загадочном португальском.



Врач, по моим агентурным данным – любовник младшей сестры главного инженера Зарубежнефтегаза, занимается переделкой наших кондиционеров в самогонные аппараты. Лечит народным способом: водкой и матом. Парторг – единственный, кто работает. Он военспец, изучает стратегию и тактику, которой в вялотекущей войне нет. Регулярно шифром докладывает по радиции положение дел на театре боевых действий... В общем, вся огромная затея с бурением скважин и строительством газопровода – только прикрытые для «парторга».

Я же – Петя Иванов, старлей в русской кепочке и комбинезоне, с месячными курсами сварщика за плечами. Блюда политические нравы среди очумевших от безделья и без женщин работают.

Но я не про себя. Я про Дёму Куцого из Николаева.

Когда старцам в Кремле стало ясно, что в раскаленной саванне мировому коммунизму ничего не выгорит, они перестали платить нам зарплату, а два года спустя – подали самолет: уматывайте, товарищи, домой.

Дёма Куцый, эдакий тихий опенок с дипломом бурильщика, заартачился:

– Не поеду!

– Как так? – взревел начальник, трезвея от одной мысли: что ждет его на родине?! – Разобраться!

Ни профсоюз, ни общее собрание докопаться до истины не смогли. Парторг велел заняться коротышкой мне. Я снял кепочку, нажил в душе доброжелательный, всепонимающий тон, даже выпил на десятом часу беседы на пару с ретивым бурильщиком... Оказалось, Дёма страдал от зависти. У негров такое увесистое интимное хозяйство, а у него совсем почти никакого. Семья-то есть, а вот для поддержания семейного очага... маловато. Специально подучив чешонское наречие, благо, в устном словаре не более



четырёх сотен слов всего-то... наш человечек выведал у какого-то пройдохи, что все дело в искусстве местного шамана. Поворотит – и все в порядке. Когда еще платили нам зарплату, Дёма насобирал матикалов и долларов, накупил спиртного, марихуаны, цветных побрякушек для поощрения волшебника и его многочисленной челяди. Навестил того в рощице, километрах в двадцати от нас.

– Хорошо, – веско сказал шаман, выпив и накурившись. – Пошли в сад.

Там указал Куцоу бурильщику на дерево, похожее на банановое.

– Выбери себе почку. Я поколдую и... плод будет расти, и твое хозяйство за ним будет расти. Когда ты решишь, что хватит, я сорву плод, на том у тебя уса и останется.

Плод растет, а тут уезжать... Что будет, что? Уехать – связь прервется, а еще и не начиналось... А хуже, если пойдет в рост и так до бесконечности. Тогда – не было ни гроша, да вдруг – алтын в два метра и три дюйма?! Что делать теперь?

Взял я джип и повез Дёму к шаману. Времени в обрез, самолет за нами уже пригнали, стоит, вот-вот заурчит.

Мудреца саванны нашли обкуреным и пьяным в подметку. Он долго не мог сообразить, кто и что от него хочет. Под ручки повели его за хижину, он мутными глазами скользил по деревьям:

– Которое твое? – спрашивал у Дёмы Куцого.

Я торопил. Бурильщик указал на увесистый твердеющий стержень, шаман сорвал его, потребовал еще горячительного и уничтожил плод.

– Такой тут был, такой там будет.

Мы вернулись на базу. Я погрузил Дёму в самый дальний отсек самолета, чтобы еще чего-нибудь не выкинул, не подвел бы Родину.



Летели часов восемь до Адена. Сели, подзаправились. Я не выходил наружу и бурильщика не выпускал – к сиденью рядом с ним прикипел.

От Адена до Москвы, ночью, на полдороге, когда я считал, что все державные беды мои позади, вдруг взревел Дёма Куцый:

- Вернитесь! Не то!!
- Что не то?
- Он не тот плод сорвал!
- Тьфу ты, черт! С чего ты взял?
- Посмотри! Посмотри! Растет!!

Вначале я прижал его к сиденью, уверял, что это он приближается к родине, к своему Николаеву, там жена... ну и предварительная реакция души просыпается, а за нею – плоть... Не помогало. Потом я нашелся:

– Дёма, в длительном полете, на большой высоте у разумных людей пухнут ноги, а у тебя – видишь что...

Не помогает у нас и логика; без насилия не сдвинешь пролетария, такой народ. Я придавил молодого мужика к креслу, поддал коленкой в пах и – рост хозяйства прекратился...

Четверть века минуло, вспоминаю этот эпизод и думаю: сколько денег из кармана трудящихся ушло на осуществление совкового присутствия в Мозамбике, а вспомнить нечего, разве что Дёму Куцого из Николаева!

СВЕТЛЕЙШИЙ

Звездный час приходит к каждому. Даже к сорока годам, даже к лейтенанту милиции. Посчастливилось бы ухватиться за него.



Лейтенант Чорба ухватился сразу за двоих преступников. Его отдирали, били по голове – клещ, рак, медуза... частицами отщипывай – держит. Даже нашей удали опергруппа, и та успела. Одна беда: глаз у Чорбы вытек. Всё. Управление встало на дыбы. Сгоряча лейтенанта эскортировали в столичную клинику, доложили самому министру. Трижды показывали по телевидению – с правого ракурса, где он зрячий. Вручили медаль, премию. Рана зажила от одного вселенского внимания...

Генерал наш, Василий Ключник, принял героя у себя на даче.

– Я горжусь такими офицерами, как вы, господин Чорба, – молвил молодцеватый, голубоглазый, по-отечески настроенный руководитель. – С повязкой на левом глазу вы похожи на основателя града Николаева, фельдмаршала, светлейшего князя Потемкина. Однако мы заказали для вас протез. Теперь другое время, другое отношение к служащему. Специальной машиной, так сказать, чартером, поедете завтра в Одессу, к знаменитому специалисту...

Генерал потчевал чайком с малиной, листал личное дело героя, был щедр на слово. А Чорба, все больше заворачивая голову набок и влево, смотрел и смотрел в голубые, с поволокой глаза красивого, двухзвездного начальника и лелеял свою сакраментальную, кинутую свыше мысль...

Одесский специалист недавно реэмигрировал с исторической родины (там постреливают) и в нашей буче все еще доискивался логики.

– Так-так, покажите ваш здоровенький. У-у, казацкий, черный как смоль! Исделаем и второй точно такой же... черный как смоль.

– Нет, – со всем достоинством молвил лейтенант. – Мне не черный, мне – сделайте голубой, с поволокой.

– Шё? – вежливо захлебнулся в хохотке специалист. – Шутник!..



– Не, – веско сказал Чорба. – Мне нада голубой, как у генерала.

– Шё?! Люблю свеженький юмор. У вашего генерала шё, один черный, а другой голубой?

– Не. Обадва голубые, но какие!..

– Вот это пациент! Вот это служака! Какая верность! Расскажу своей Цыле Самойловне, пускай учится у хохлов. Пускай не жалеет, шо вернулась!

И долго топал профессор по кабинету, осмысливая причуды пациента и приходя в себя. Наконец молвил:

– Вы подумайте до завтра. А я пока оформлю мерку.

Назавтра пациент остался непоколебим: протез только голубой!

Был взят еще тайм-аут. Доктор позвонил в наше Управление внутренних дел, захлебывался словами, выглядел дурачком:

– Я не спрашиваю, почему мой пациент до сорока лет ходит в лейтенантах. Я понимаю, что с таким народом нас победить невозможно. Но мой профессиональный долг, мое доброе имя не позволяют мне протезировать на голубом глазу!..

Как выглядел дежурный офицер на другом конце провода, реэмигрант не видел, но слышал такое:

– Генералу о таком докладывать неудобно, примет за анекдот.

– Господи, так переговорите с семьей пациента.

– А супруга лейтенанта Чорбы в службу своего не вмешивается, она тоже из глубинки. Попробуйте сами...

– Пробовал. Пробовалка устала...

Знаменитый лекарь не спал ночь. Утром умолял пациента:

– Поезжайте домой, подумайте, посоветуйтесь с близкими, вэй змир!



Ответ взвешенный:

– Если я поеду, я к вам не вернусь. А вам заплачено вперед... – И не без намека надвигал фуражку на узкую полосу на глазу.

– А таки да! – воскликнул реэмигрант. – В профиль вы чистый Потемкин. У меня был один из ваших, инвалид на оба, так он громко гордился тем, что похож на Гомера.

Наш герой так и вернулся домой, отгулял удлиненный отпуск, прочел восторженные письма и телеграммы от коллег со всей неньки-риденькой, посмотрел ряд телевизионных выпусков о своем подвиге и – бегом в свое подразделение.

Майор что-то мымрил себе под мышку, смущаясь перед полковником; полковник знал отношение генерала к Чорбе и помалкивал, смирялись с положением дел.

В Управлении, а потом и во всем городе пошел слухок, что на наших просторах появился необыкновенный офицер – выкапанный Потемкин. Творились легенды, анекдоты, даже частушки. Последние, на эстраде, и, разумеется, дураками, – для пиара.

Темным-темным вечером, – по недосугу по времени или сторонясь досужего глаза, – генерал снова принял у себя Чорбу. Сугубо чаевничали, говорили по-домашнему, на равных. Исподтишка выпили рюмашку-другую.

Вскоре Чорба получил третью звездочку, ему доверили подразделение и особо конфиденциальное разрешение связываться с руководителем в любое время дня и ночи, напрямую.

В городе гордились офицером по прозвищу – Светлейший.

Одесский специалист и реэмигрант снова эмигрировал на историческую родину. Там, правда, стреляют, но хоть что-нибудь можно понять в людях...



МЕДИЦИНСКИЙ СЛУЧАЙ

Мой вдовый дедушка Богдан в канун нового тысячелетия свихнулся. Прошел случайную в его запутанной жизни диспансеризацию и принялся каждое утро кипятить две кастрюли воды для душа, глотать натоцак по стакану «Оболони», бриться, завтракать одним «пориджем», придумал себе «ланч» из двух яблок.

Для семейного бюджета намечалось облегчение: за воду платили все так же недорого, овсянка пока что доступна, яблоки у дедули свои, а одним лезвием он ухитрился пользоваться в течение месяца. Но!

Как только отец-мать разбегались в поисках копейки на завтра, а я – в университет, начиналась стирка, глажка, подшивка рубцов, чистка штиблетов и пуговиц, причесывание, то есть укладывание остатков растительности на некогда львиной голове дедули. И это терпимо: полпачки «Ариэля», баночка ваксы на месяц, пара киловатт для электрической плойки. Однако!

К ужину мы сбегались кто в чем: маман – в халате, предок – в безрукавке для диванного чтения, я – во всей прелести гимнастического торса. Старейшина же нашего семейства – садится непременно в сияющей сорочке, широком галстуке в «рябушку» и в своем давнем служебном пиджаке, при интеллектуальной усилки напоминающем смокинг.

– Тю! – вырвалось у маман в первый вечер... но не более, так как была она в доме всего лишь снохой и к тому же слыла тактичной дамой.



– Ну ты даешь, гроссфазер! – это я с порога, но в этих стенах со мной уже мало считались.

У отца в тот день сорвалось три червонца заработка, потому он вокруг себя ничего не замечал. Округлил глаза он лишь неделю спустя, когда собирался в какой-то комитет по защите прав и должен был всходить на трибуну, а единственная стоящая его сорочка и хранимый для исключительных выходов «блейзер» оказались у дедули на плечах.

– Па, ты что себе думаешь? – хихикнул мой родитель... и напросился.

– Думаю, – молвил дедушка Богдан, – что пенсийку свою мне следует получать отдельно. Вот у меня надо убрать две папилломы. Заметны, их воротник натирает.

– Ты бы мог убрать их сорок, ну, тридцать лет назад, – выступил я.

– И сорок, и тридцать лет назад я был плебеем, – с благородной сдержанностью пояснил старик. И мы смирились.

Визит к косметологу был удачен, две недели спустя под подбородком у дедули не было ни коричневых бородавок, ни даже пятнышек. Весь он вытягивался, разил тонкими, избыточно траченными духами. Тоже копейка!

После ужина он долго топтался перед высоким зеркалом, досматривал себя генерально, каждую пуговицу на пиджаке, каждую задубелую волосину на бровях поправлял и уходил без вести. Возвращался усталый, это слышно было по шарканью его подошв и по протяжным вздохам за тонкой стенкой между моей и его спальнями. Я спал сном двадцатилетнего, но если на мгновенье просыпался, то слышал глухие толчки дедулиной спины или руки о переборку. Видимо, ночь он отдавал раздумьям и переживаниям, а днем возносил себя в аристократы, раз уж все предыдущие годы ходил плебеем. Смешно...



Но и грустно. Даже меня, при неукротимом сопромате и летучих Алькиных поцелуях, без доступа (пока) к ее запретному плоду, при хроническом чувстве голода и неизменных проигрышах нашего футбола, в общем, при всех невзгодах бытия, тронули метаморфозы старейшины рода.

– Приветик! – бодренько вошел я в его обиталище, когда предки отсутствовали. И увидел новые обои на стенах, передвинутый к окошку стол с цветами и исписанными листами на столе. Наброски мыслей, что ли? На этажерке – красочные обложки Монтеня и нашего Сковороды. Я присел в накрытое чистым ковриком кресло, как бы походя и небрежно открыл малороссийского философа, прочел: «Лежу во гробе, праздную субботу». Посмеялся, тут же сосредоточился, силясь понять слобожанского мудреца. Дедушка Богдан тем временем приземлился на край своей в обтяжку прибранной кровати и доверительно сказал:

– Не для третьих ушей. Можешь?

– Душа из меня вон!

– Ты парень подкованный. Хочу убедиться в нужном действии одних пигулков.

– Если в курсе, я рад буду... Что за пигулки?

– «Виагра».

Уровень наших общений с дедулей запомнился несколько другим: требование одеваться по сезону, отстаивать себя в подворотне или на стадионе, далее – уроки, еда, ну, гигиена, разговорная речь. Да и то – в последние годы овдовевший старик было опустился, а я вырос, и мы, живя через тоненькую стенку, как бы разъехались в разные районы. И потом, что это он к семидесяти годам заинтересовался такой забавой, далекой от моих нужд? Я едва сдержался от каскада шуток, напустил на себя солидность.

– «Виагра» гарантирует то нужное действие, на которое ты намекаешь.



Тут же, прячась от смущения, я воткнулся в Сквороду, вслух прочел: «Все тебя приемлют, но никогда ты не бываешь иждиваема». Я таки хихикнул: он выдернул у меня книгу, захлопнул и элегантно раскланялся, совсем не похоже на прежнего себя – сказал:

– Благодарю. Не смею злоупотреблять твоим временем.
– Круто!

Чем возвышенней и красивей выглядел дедушка Богдан, тем с большим интересом относилась к нему милая женщина, скорее всего, пенсионного возраста. Именно с нею я высмотрел его по вечерам в скверике и на набережной, а потом и по пути в ее чуть покосившийся домик на две семьи. И после с большим любопытством я разглядывал его самого, его одежду, комнату, бумаги. Неприлично, но ведь может быть и такое, что ему нужна помощь, а мы, живя рядышком, совсем про него забыли.

И вот я перебрал наброски писем, вырезки из журналов на его столе. Всё как у всех престарелых: поздравления с юбилеями, пожелания... рецепты, кулинарные и медицинские... на самом дне коробки – не то справка, не то направление врача или рецепт – по латыни. Тут я профан. Буквы только и могу различить. Хотел уже сложить все, как было, чтобы не быть уличенным. И вдруг одно латинское словечко на последнем бланке насторожило: «onkolo...» – и дальше дефекты почерка.

Я поднял глаза на первую строчку – моя фамилия! Прежде чем очнулась мысль, я испытал страх, то есть полное онемение тела. Я уже не жил; и не достучись сознание сквозь этот заблаговременный ужас, не подскажи, что я лишь третий из тех, кто носит такую фамилию, первый все-таки дедушка Богдан, и направление или рецепт лежит среди его документов, я бы оцепенело вышел на улицу, побрел бы, скорее всего, в бар на ближайшем углу. Потом во



второй и третий. Глушил бы в себе проклятие смерти, такой известной, описанной и виденной. Ведь ничего не чувствуешь, а знаешь, что неспасаем. Обреченность порождает зависть к людям, даже калекам и убогим. Спрашиваешь: почему именно ты? Озлобляешься, опускаешься, позволяешь себе выходки, капризы баловня, дурака. Все становится безразличным. В мире существует только твоя трагедия...

Но латынь на клочке бумаги не про меня. Я сунул ее в ворох бумаг, вышел. Во дворе взвизгивала и прыгала-прыгала черная сучка, бродяжка из шелудивых. Чья-то рука ее заманивала вверх и там бросала ей в рот косточку. Весело было собачке, и... Это был мой дедушка.

Началась жизнь недоумков: я делал вид, что ничего не подозреваю относительно состояния дедули, а он по старинке держит меня за дурачка. Со временем я уловил, что к игре в сверхчуткость и благородство присоединилась мазер. По незначительному поводу она расшаркивалась перед свекром, а на малый религиозный праздник преподнесла ему большой пуловер. Фазер, человек толстокорый, и тот перестал курить в комнате, вставлял словечки про слабую власть и плохой режим только в отсутствие своего отца или после него, и одобрительно.

А дедушка Богдан привел на ужин Лесю Макаровну, запросто представил, усадил рядом с собой и навязал родственничкам общий разговор. Замечу, что подстарочка показалась мне не той милой из покосившегося домика на две семьи. Но вела она себя скромно и ела мало.

– Ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба, – провозглашал дедушка с культурно набитым ртом.

Общего разговора не получалось, так как Монтеня никто из нас не знал. Звучали одни монологи, зато какие!



- Говоря о пище, надо сказать о нравах...
- Всякому слову верит только простодушный...
- Я ничего не боюсь, потому что ничего не имею!..

Ни по латыни, ни Соломона наша дипломированная фамилия не читала, потому блеск гроссфатеровской эрудиции с грустью принимала как подтверждение догадки: помаленьку свихиваемся, дорогая родня! И три головы наследников одобрительно кивали, шесть рук наперегонки подавали старейшине пищу и приборы, а гостя немела от восторга перед почтительностью потомков.

Дождались две тысячи седьмого Нового года, потом восьмого и девятого, наконец – две тысячи десятый. Дедушка все так же холит себя, наряжает, выражается изысканно, питается научно. Вот ночует не всегда дома. Он бы насовсем остался у душевной подруги, но официально ждет со дня на день смерти и не хочет обременять славную женщину скорбным ритуалом.

– Хорошо устроился, – вздохнул как-то мой толстокорый фазер, но потакать дедуле не перестал. Осторожничал: – Не может же такое продолжаться вечно.

А гроссфазер вчера за общим новогодним ужином (за наш счет) изрек:

– Неудачно мы на сей раз выбрали президента. В следующие выборы учтем ошибки, изберем просвещенного, перетряхнем чиновников, пересмотрим приватизацию и... В здоровом теле – здоровый дух!

Я подумал, что наоборот.

– Ждать придется десять лет, – заикнулась маман.

– Подождем, – успокоил дедуля.

Видимо, старику надоело ждать своей кончины.



ЛИЦЕДЕЕВ И БЛУДНИЦ – НЕ ТРОГАТЬ!

В начале сезона в театре возник высокий парень с прямым носом, слегка закинутой назад головой, серыми округлыми глазами и настороженно сжатым ртом. Одет – не в пример штатным актерам, изображающим из себя амплуа по жизни – кто братишку из революционного крейсера (рябчик под косовороткой), кто комика Шмагу (новое пальто с ярлыком, чтобы видно было, что вчера от кутюра); женщины разбились на «классичек» – под субреток, графинь (костюмы из пьес «плаща и шпаги»). Разумеется, не совсем впадали в дурь, однако стилизовались заметно; но больше ориентировались и на «писк моды» – с подиума.

Витя Рахунóк носил легкий костюм из тонкой шерсти, рубахи светлых тонов со стоячими воротничками, остроносые ботинки. Не кричаще, но элегантно. Держался он в тени, хотя аккуратно посещал репетиции и актерскую брехаловку. Всегда стоял во втором ряду мужского состава при вызовах на сцену «для накачки». Ну прямо юноша, близкий к идеалу. Режиссер сразу предложил ему дебютную роль – молодого героя-партизана из наших окраин. Текст вручил эдаким отеческим движением руки, свысока и со словами:

– Поможем. Воплоти, не посрами патриотов!

Через день, в той же малой труппе, что собралась для считки в репетиционном зале, улучив момент тишины, Витя Рахунóк, все так же грациозно и слегка откинувшись на



зад, положил свою роль перед режиссером. Сказал с покладистым вздохом как бы с середины реплики:

– ...Мне же этот текст придется произносить перед публикой... Стыдно...

Воцарилась рискованная тишина. Вызов вкусам и убеждениям Главного!

...Три месяца Рахунók получал в бухгалтерии свои минимальные тысячу гривень, но ролей не получал и мог чувствовать себя ненужным.

Острословы, как ни странно – женщины, озвучили его фамилию поближе к его положению в театре: не Рахунók, а – Нахерók.

Второй режиссер, то есть я, приметил и пожалел новичка. Единственный он из молодых не базарил лишнего, не высывался, не интриговал. При этом обладал внешнестью сценической, голосом приятным; был вежлив, уступчив и – простодушно непреклонен во взглядах. Я приступал к работе над «Мышеловкой» Агаты Кристи и добился от Главного назначения Вити на роль Кристофера Рэна, недавнего солдата, обвиненного в убийстве с некоторыми уликами. Детектив, но классический и с тонкими душевными перипетиями персонажей. Текст – неглупый, добротный.

...Среди старых мастеров и признанной молодежи – исполнитель роли Кристофера был признан лучшим. На гастролях в Кишиневе хорошим молдавским вечером после спектакля Рахунók поджидал меня у гостиницы:

– Сделайте одолжение, выпьем коньячку с участниками «Мышеловки».

– Витя! Из твоих медных грошей ты собираешься угощать труппу?! Что ты пошлешь супруге на пропитание?

– Она у меня хорошая. Мне присылает.

– Крутая?



– Помощница при фотоателе. Но умеет складывать копейку.

Рахунók играл единственную роль. У меня дела в театре не складывались, а Главный последовательно игнорировал молодого артиста:

– Сноб. Из параллельного мира. Театр при последнем издыхании, а он все ищет идеалы...

Артист ждал достойной роли; коллектив втихаря подтрунивал над его чистоплюйством, в душе завидовал умению держаться на людях да и с самим собой без суеты, взвешенно, с элегантной ленцой и – всегда прекрасно одетым.

Комик Торченко шептал:

– У него точно баба из богатеньких.

Заслуженный Шамраев разъяснял:

– Я видел ее. Старше Вити лет на пять, смотрит на него по-матерински: наивняк, мол, чистое дитя.

Мне удалось втиснуть в наш «репертуар-на-потребу» Чехова «Чайку». Поздним вечером – снова вечером – перехватил меня по пути домой Рахунók и спросил:

– Нельзя ли хоть во вторую-третью очередь попроситься на роль Треплева?

Три месяца спустя чеховский юный формалист – литератор, неврастеник и неудавшийся любовник – покориł зрителей. Меня тоже.

В театре же повеяло холодком пуще. Что за судьба у молодого человека! Не принимают всем коллективом, белый воробей. Молчит, а людям кажется – заносится; требует только полноценный драматургический материал и считается лодырем, не желающим играть «на кассу». Он ходил одиноким.

...В конце сезона, когда у меня окончательно разладились отношения с Главным, я уволился из театра. Странно,



но в тот же день заявление об уходе подал и Виктор Рахунók. Но я сразу же перебрался в другой творческий коллектив, а он шагнул в никуда. Попытки найти парня в городе, уговорить вернуться, урезонить не удались. Понятно, с минорным темпераментом и непомерной требовательностью к искусству молодой человек обречен.

Однажды в жаркий день под навес полосатой кафешки ко мне подседа ухоженная, броская женщина, скажем, бальзаковского возраста. Прозрачная разлетайка, думаю, единственная в городе, тонкие бриджи, туфельки с ножек персидской княжны. Лицо выгодно подрисованное, без излишеств и – осмысленное.

– Я нашла вас, чтобы поблагодарить. И за ваш художественный вкус, и за взаимопонимание с Виктором Рахунком...

– Что он? – поторопился спросить я: мне казалось, женщина в ту же секунду убежит.

– Спасибо. Он ведь закончил только наше училище. Сейчас поступает в столичный театральный институт. С его убеждениями надо иметь мощную подготовку... ну и документ.

– Трудно парню будет в нашем мире...

– У нас свой мир...

Последняя реплика слегка огорошила меня. Пока я думал, женщина и впрямь улетучилась. Выждав, вернее, уловив момент, ко мне тут же подсел некогда близко знакомый деловой человек – Савельев. И взхлеб заговорил:

– И ты, Брут, в ее штате?

– Спроси попроще, не догоняю.

– С Анфисой Афанасьевной давно знаком?

– Три... Возможно, пять минут.

– Я привык тебе верить.

– Послушай, разбойник, ты меня пугаешь!



– А ты меня успокоил? – И тут же этот богатенький и вылизанный хлюст нагло хлебнул из моего фужера. – Я ее искал. Со вчерашнего вечера. Понимаешь, земляк, она не только меня водит за нос...

– Благо, есть за что ухватиться. – Я пытаюсь унять его страсти потехой.

– Долларовая! – Знакомец не угасает.

– Плетешь! – И я заражаюсь его ритмами.

– Я полагал, что я один такой – осломysl, еженедельно навещаю домик ее родственницы на окраине, отваливаю зелененькую с Франклином за утешение плоти... Вчера знакомлюсь с пуресом, который платит ей той же монетой. Только я по пятницам, а он по субботам. От него же узнаю, что есть клиенты – по одному со вторника по четверг. Понедельник – табу. Она – святая, когда в театре выходной. Она нас так и величает, не по именам, а по дням недели: Вторник, Среда, Четверг, Пятница и Суббота, как гномов в «Белоснежке»! Как тебе это нравится?! Да выбор бойфрендов у нее все крутой, щедрый!

Я уже давлюсь хохотом:

– Очень нравится, художественно.

– Дак это еще не все. Сама-то втюрилась в тощего актрешку без роду-племени, без кола и двора. Наши взносы она почти все переадресовывает его музе! А?

– Что-то ты слишком накрутил, Савельев!

– Да я разведал в театре. Нахерком парня называют. Да бездарен, как овца на сносях. Накануне вытурили из труппы. Мозгляк и лох! Может, теперь поумнеет, когда кое-что прознает о своей благоверной.

В голове у меня заварилась вязкая каша. Пикантная история смешивалась с загадочной привязанностью, может быть, любовью. Мерещились высокие радости, за которые приходится платить непомерную цену. Мне уже сильно мешал мой давний знакомец. Я вспыхнул:



– Осведомленный человек... Но чего ты от меня хочешь?

– Брут, и ты?..

– Да, но только совсем с другого конца. Зла пжиязнь, как говорят поляки.

– Я считал, что только я... – Уже шипит и брызжет слюной Савельев. – Все мужики – ходоки и бляди.

– Тебе трудно признать, что ты товар не штучный? – Я нагло хохочу.

– Завязываю. Пошла она!..

– Придут помоложе, качки.

Я зажал лацканы давнего знакомого в кулак:

– Только не вздумай открыть глаза Виктору Рахунку.

Он тебя избыет до смерти.

Савельев вихрем закружился и улетучился. А я долго сидел и горестно думал: О tempora! О mores! Ради достойной жизни одного другой вынужден жить изгоем.

О времена! О нравы!.. Впрочем, в памяти встало речение древнего рыцаря: «Город – на разграбление! Лицедеев и блудниц – не трогать!»

СОМНАМБУЛА

Я прожил семьдесят лет, изумлен миром семь раз. Последний случай – 29 июля сего года в автобусе от Ялты до Николаева, который вышел с полуострова в шестнадцать пятьдесят. Водителя и его дублера можно вычислить.

В кассе я попросил место попросторней, чтобы к ночи можно было лечь: косточки старые, геморрой донимает...

– Я вам дам сороковое, расположитесь, как в люксе, – любезно откликнулась полная дама (сегодня ее можно за-



стать там же, в том же окошке) и смахнула лишнюю гривну мимо кассы.

Как всякий хорошо организованный хохол, я прибыл к отправке «ЛАЗа» в момент, когда включалась первая передача и двигатель ревел. Ругнул щекастого, слегка смурного водителя за ненашенскую пунктуальность, получил в ответ без тени юмора: «Не нравится – снимите частника» – и пошел вдоль упакованных рядов искать свое льготное местечко. Сорокового в салоне не оказалось вообще. Сколько я ни наступал на ноги пассажирам, сколько ни апеллировал и к вытянутому в кресле дублера здоровяку, и к Господу Богу, – ответ получил тот, до которого додумался сам и который ужаснул меня при первом прочесывании автобуса: сороковое место – это вся ширь заднего сиденья для отдыха одного из водителей в дороге. Да-а...

Демонстративно топаю в конец салона, заваливаю голову на фрагмент жесткого стула и промасленную фуфайку – это все вместо подушки. Мы народ интеллигентный, к лишениям приучен с детства.

На окраине неурочная остановка. Ввалились два студента с торбами, сунули из кулака в кулак «второму пилоту», обжито пересекли салон и тощими задками опустились на мои ноги. Я горестно сложился перочинным ножиком.

– Мы только до Симферополя, – слава Богу, смягчил мои страдания один.

В красивых сумерках крымской столицы вместо студентов мне на ноги устроились две ширококостные матроны с четырьмя «местами», одно из которых легло мне на бедро.

Я пошел к водителям «повозмущаться». Их на стоянке не оказалось, а вышедший из пиццерии алкаш ткнул большим пальцем за спину:

– Там... пивком балуются...



Моя стреляная душа почуяла опасность. Как же тут уснешь, да еще между двумя аппетитными пышками?

В ночь автобус пошел резвее, словно это не шоферам в горло, а ему в баки плеснули слабоалкогольного напитка. У меня уже осталось полсиденья: поселилась еще одна прима местной красоты, объемами стоившая двух предыдущих. Впрочем, я к ночи измучился, просчитал, что даже в случае аварии мое драгоценное здоровье пострадает мало. Я ведь сижу в самом задку и окружен мягкими боками матрон. С вызовом судьбе заснул.

На Перекопе мои увесистые спутницы исчезли. Я еще покемарил часик с небольшим. Вдруг явилось старческое беспокойство. То встречные машины слишком ударялись в нас фонарями, то корпус нашего лайнера вздрагивал, вроде мы сошли с асфальта. Каково там моим водителям? Поворочавшись с боку на бок, я где-то после полуночи прошелся к рулевым.

Батюшки светы: дублер спал благим манером! Но поразил меня капитан. Он мертвой хваткой вцепился в огромный штурвал, ссутулился, чтобы не упасть, и клевал носом. Соблюдая приличия и боясь быть изматеренным, я украдкой заглянул сбоку, от ветрового стекла, – ему в лицо. Веки у товарища были опущены, ресницы прямо слиплись. Ну, эдак можно дать отдохнуть газам пять, пожалуй, десять секунд, но ведь идет уже полминуты, минута. Видимо, я ахнул, потому что второй водитель встрепенулся и цепко схватил меня за рукав:

– Тихе, – прошептал едва слышно. – Не тревожь. Самое опасное – ему проснуться...

– Ты чего? – совсем одними губами завопил я.

– Лунатик, врубаешься?

– Ты сбрендил...

– Это ты сбрендил. Мы всегда так. Кэп рулит лучше, чем наяву...



– Ваньку валяете? – уже зло повысил я голос.

– Иди на место, – было категорическое требование. – Пускай... Ваньку валяем... – Дублер удобней втиснулся в кресло и смежил веки.

Я не хотел выглядеть сумасшедшим и поплелся на свое виртуальное сороковое ложе. Однако не то что спать, завалиться на бок не позволяли ночные сомнения.

Лучи встречных машин, казалось, целились прямо нам в радиатор, дорога исчезала, а корпус автобуса время от времени взлетал.

Я пошарил по затемненному салону: пассажиры спали. Украдкой, уже страшась самого себя, я приблизился к водителям. Оказалось, аккурат на очередной остановке «ЛАЗ» сам по себе затормозил, капитан клюнул носом в штурвал и прилег на пухлую щеку, свернув подбородок и прядь кудрей на лбу в жуткую гримасу. Дублер, не открывая глаз, потянулся десницей за спину и отворил дверцу. Вышло трое, бросили через плечо: «Счастливой дороги!», а мне показалось, что в их тоне превалировали радость спасения и издевка над нами, оставшимися в руках убийц. Я решился поскандалить. На стоянке это не опасно.

– Вы поменялись бы местами! – нарочито громко я советовал водителям. – Вы уже почти полдороги осилили...

Я не решался высказать свое неприятие лунатизма и общие взгляды на проблемы безопасности на автотранспорте.

– Чё шумишь, деда? – недовольно буркнул доходяга из третьего ряда. – Мешаешь отдыхать...

Заворочались еще двое-трое пассажиров, принялись шикать на меня. Я выступил:

– Вы обратили внимание, как нас везут? Шоферам запрещено спать даже на запасном сиденье, тот, что за рулем, невольно вздремнет за компанию! А тут даже кэп то-



го! Я всю дорогу наблюдаю. Дремлют, чтобы не сказать – спят вповалку!

Оба водителя молча, соловыми глазами пытались разглядеть меня в полутьме. А народ в салоне безмолвствовал.

– Вижу, вам безразлична ваша жизнь! Подумайте о тех, кого вы оставили дома. О детях своих, в конце концов! За рулем ведь спят!

Девушка высветилась встречной фарой. В муках разлепила глаза:

– Чего он бесится? Какое ему дело?

– Слышь, кучер! – рявкнул басок с заднего ряда. – Высади эту оппозицию!

Я весь вскипел:

– Не надо меня высаживать. Я сам выйду! Привыкли сносить надругательства!.. Должен же кто-нибудь высказать!..

Басок всхрапывал дальше. Девица погрузилась в объятия Морфея. Во втором ряду хихикнули и пощелкали языками. А тот крепыш, что при штурвале, мешком осел – так отреагировал на загудевший двигатель и рык включаемой передачи, перевалился от руля к спинке сиденья. Дверца сама по себе стала закрываться. Я схватил свои пожитки и выпрыгнул наружу. Автобус ушел.

От Новой Каховки до Николаева я добирался на перекладных. Обошлось это в два раза дороже билета с курорта домой. Неумный характер и чувство общественного долга не давали мне успокоиться. Я обратился к психиатру:

– Доктор, я здоровый человек. Я по поводу водителей... – И передал суть моего путешествия в подробностях. Недокормленный, с заиканием и все озирающийся по сторонам спец с копыта принялся цитировать Фрейда:

– ...Сновидение является продолжением житейской сцены. – И от себя вывел: – Каждый из нас, после всего,



что мы пережили на работе, в обществе, даже на свидании, часто пребывает в полусознательном состоянии. Трудно отвечать тогда за свои слова, сказанные даже с трибуны...

Приехали! Этот психиатр, как у таких спецов водится, – псих! Я не дослушал, бежал прочь. Но не успокоился, поймал за пуговицу гаишника. Подробности своего вояжа повторил. Был высмеян, разумеется, с высоты предприимчивой колокольни мента:

– Старик, а ты обратил внимание, что салон был переполнен? Ну, вот. А человекуам нужен навар. Вот они тебя сплавили таким образом, а сами в ста метрах подберут безлошадного за наличман.

Ответ не по сути. Я поделился своим беспокойством с коллегой из вечерней газеты. Мужик заметно моложе меня и мир видит вроде большой комнаты смеха. Он спросил:

– Маршрут какой был, говоришь?

– Ялта – Одесса.

– Значит, водители – одесситы?

– Наверняка.

– Ну, так обо что мы будем с вами говорить! Одесситы – люди жанра, им скука противопоказана, а на выдумку они доки. В любом рейсе в салоне эти артисты нащупывают простачка и забавляются им всю дорогу.

Может быть, может быть...

– Но спутники мои? Им-то все как-то по фиг!..

– А люди наши приучены. Едут – и слава Богу!

– А могли же – вверх тормашками?!

– Тоже выход...

– Выходит, я просто глупец?

– Ну... для Николаева ты умный человек, а в Одессе ты был бы еле-еле идиотом.

Ответ исчерпывающий, я успокоился, смирился: может, сомнамбула – это я...



ШЛЯГЕР ИСТЕКШЕГО ЛЕТА

На семейном совете маман изрекла:

– Динару надо спасать. Уже второкурсница, отличница и – такая компания!

– Какая такая компания? – пикировалась второкурсница-отличница.

– Тусовочная. Дорогие сигаретки, обнаженные пупки, сленг, от которого у папочки уши вянут.

– Что касается папочкиных ушей, то они увяли еще в начале независимости, от телерадио, – как всегда с отсутствующим видом заметил предок.

– Но если смотреть масштабно, тут звенья одной цепи...

– Не знает соленого волка! – вступила старейшина рода, бабуля Гуля. – На хуторе Сметаны у меня хозяйничает племянница Ульяна. Туда ее.

– В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов! – из далека своих дум процитировал папа.

Бабуля взбеленилась:

– К москалям ни за что! У нас своей глуши куда ни кинь.

Динара демонстративно отодвинула завтрак и с покорностью ведьмы молвила:

– Да хоть в Простоквашино, только бы сохранить мир в семейке.

...Полынная степь, две хаты под стрехой на отлете села; обваренная солнцем дебелия тетка с коровенкой, курочками, хрячком и огородной бригадой на шее. До того занята хозяйством, что недосуг задумываться, оглядываться и по-



носить криминальный режим; даже расспросить не у кого, в какой стране живем и кто во главе.

Растолкала рекреантку со вторыми петухами:

– Доця, пощупаешь несушок и – в кадушку, под гнет, а то Бровка яйца лопает. Смотри за селезнями, только два и осталось. Были утки, да злыдни со Старых кошар перекрали. Хутор – две хаты, а бардак как вообще! Ничего, выдюжим: частическо заработаем, частическо умыкнем, как невесту... Снимется солнышко – натащишь воды в корыто, лучше на коромысле. В полдень подоишь Марушку, молочко – в кувшины, да не забудь процедить. От блоковки прихватишь вязанку околоту. Небось, днем не стерегут. Борщ-каша в печке...

И как стояла в «запаске» и с верейкой на боку, так и растворилась в утреннем мареве тетя Ульяна.

Динара долго ходила в плавках – просыпалась. Помогла куцая речушка в камышах, с холодным болотцем, стрекотом лягушек и утренней возней пернатых. Несушек определила больше на глазок, две кинула в кадушку, накрыла небрежно. Воду носила в обеих руках и с коромыслом под мышкой.

Потом девчонка ахнула и присела прямо в полынь, сбитая с толку поведением селезней. Они ретиво топтали друг дружку, как разнополые. Тю! Про голубую любовь развитая девчонка знала по ночным телевизионным каналам да анекдотам. Но то среди высших тварей, гомо сапиенс, а тут? И потом, рассчитывает ли тетя Ульяна на яички от подопечных мужской стати?

Слышала, но, изумленная зрелищем похотливых селезней, не воспринимала кудахтанье у хаты. А когда кинулась, крышка валялась в полыни, куры суетились за летней печкой, а из кадушки выпрыгнул, облизываясь, Бровка. Сообразила, как залатать промашку: взяла со стола три яйца от



своего завтрака и положила в гнездо. Прикрыла и загрузила гнетом.

– Продолжим спасаться, – сказала себе в полдень, собирая подойник, скамеечку, полотенце. И направилась к речушке, к выгону.

Марушка настороженно рассматривала новую доярку в шортах и лифчике под самые лопатки, а когда та села и уцепилась за дойки, опоясала раз-другой хвостом и переступила через чужачку.

– Тетю Улю, а чом то вы без спидницы? Обикралы?

Девушка оглянулась: за спиной стояло ископаемое идеальных форм. Забывшая ножницы прическа клубилась русыми кудряшками, глазастое лицо пылало здоровьем и живописно рассыпало по скулам и подбородку юную поросль. Бугристая грудь распинала ковбойку, руки тяжело свисали с высокого стана.

– Я не Уля. Я – Динара.

– Динара?.. Динары... Чиись гроши?

– Грамотный!

– А вы шо думалы, як Иван, то й дурный?

Девушка дернула вымя, буренка хлыстнула ее еще раз и отошла.

– Стрывайтэ, – без насмешки, по-домашнему сказал парень.

Отнял подойник и уселся под коровенку. Пальцы его мягко пошли по соскам: указательный, большой, безымянный, мизинец. Марушка прогибалась от удовольствия.

– Ты откуда такой сноровистый?

– Из Старых кошар.

– То не ты уточек у тети Ульяны свел?

– Угу. – И не поймешь, он украл или знает, кто...

Подойник наполнился, пенная шапка едва держалась. Иван передал удой хозяйюшке, шлепнул буренку по крупу и



молча потопал через холм, осанистый, затянутый в линялые джинсы, из которых вырос.

Час спустя к хутору подкатил трепанный грузовик, из кабины свисала черная от загара рука. Иван выставил, высовываясь наружу, и другую руку, значительно светлее левой.

– Мо, на бригаду треба? – прогудел эхом изнутри. – Що тут кыснуты!

– Мо, треба, – передразнила Динара.

– Мо, за кэрмо сядэтэ?

– Мо... только боюсь.

– Та мы полэм, стэрнэю, куды повэзэ, нэ страшно.

Грузовик петлял, в кузове грохотали бочки. С грехом пополам, в четыре ноги затормозили у тракторной бригады.

– Пообидаемо?

Под камышовым навесом, кишащим воробьями, над алюминиевыми мисками сидело трое чумазных мужиков. Четвертый висел на столбе и ругался:

– Шо воно за привэденция! Када дощ, радио грае, а сухо – мовчыть. Нэ знаешь, на каком ты свити.

Городская девушка вызвала самый простой интерес:

– Сидай до борщу.

Иван отошел с бригадиром за стоявший рядом трактор, долго шептался. Потом дружно выкатили две полные бочки в кузов, заговорщицки перемигнулись. На обратном пути за рулем сидел Иван.

– Токо заскочим на эливатер.

Скакать пришлось больше часа. Бочки разгружали в чаще лесополосы – с кузова в кузов. Чужой водитель глянул на девушку, переспросил Ивана: «Твоя?» – и только после сунул ему в пазушку мятые купюры.

– Воруешь? – спросила Динара.

– А вы свята?



Свернули в долину. Заметно темнело; убранная степь, тяжелое небо – и ни живой души до горизонта. Иван заглушил двигатель. Вышел на бережок заводи и стал кидать в окно кабины рубашку, джинсы. Как-то подкошено плюхнулся в воду. Динара постояла у кромки воды.

– Плыгайтэ! – донеслось из плеса.

– Я без плавок.

– Я тэж.

Она говорила себе: кто такой этот Иван, чтобы его принимать в расчет? Частичка здешней природы: дубок, тучка, ну, молодой конь... Подспудно же ее тянуло в заводь. Она расстегивала шорты. Еще темнело.

– Отвернись!

– Здалася ты мэни!

Купались они скромно, на уважительном расстоянии. Динара хотела паясничать, демонстрировать свою высоту и недоступность, и не могла выдавить из себя ни слова. Совсем рядом с нею, казалось девушке, плескалась, выпрыгивала из воды по самый срам, ахала и ныряла огромная, точеных форм рыба. Рыба, естественно, без всяких одеяний.

– Отвернись, я выхожу!

Она побрела к ступенчатому берегу из дерна, встала за жиденький куст, прыгала на одной ноге, натягивая шорты, почему-то дрожала и горела одновременно. И ей хотелось, чтобы Иван не отворачивался, подсматривал и – мучился. Такой и застыла, когда парень в десяти метрах в сторонке вразвалочку, как один в мире, выходил из воды. Вечерний свет придавал его развитому торсу рельефную лепку, спокойные движения походили на танец, когда он подпрыгивал и хлопал себя ладонями по голове, слева и справа, чтобы вытряхнуть воду из уха, заваливался набок, хихикал про себя.словно девушки для него не существовало. Даже обидно.



...Следующий день для Динары был наполнен суетой. Она спешно сажала курочек в кадущку, носила воду, войлоком тащила околот, доила, задавала хрячку... Ждала, ждала, подгоняла вечер. Иван не появился.

Тетя Ульяна волтузилась у летней печки. Прикуривала от полной луны вечерняя заря, в камышах заснули пернатые, настороженно молчали лягушки. Замыкался жуткий круг одиночества. Для Динары – впервые.

Следующий и последующий дни проходили в машинальных заботах по двору. Ульяна не могла нахвалиться племянницей.

– Токо шо ты все молчишь?

– А с кем мне разговаривать?

...Когда серая печаль не по возрасту поселилась в душе девушки «на поре» и с приходом темноты хотелось бежать в степь и выть, на холме украдкой прогудел грузовик и заглох. Не почудилось ли? Динара пошла на далекую тень, наугад.

Иван сидел, локтями навалясь на руль. Она подошла, постояла, не найдя первого слова для разговора. Он, видимо, и не знал ничего подходящего случаю. Толкнул дверцу справа. Она с достоинством помедлила, обошла радиатор, взобралась на сиденье.

Катили снова в сторону элеватора. Она хотела сказать, что так просто вздумала прокатиться, и не говорила: ложь ведь. А он не мог додуматься до эдаких сложностей. Повидимому. В тени высоченного в чистом поле здания остановились. Иван подал небольшой пакет в потертой газете:

– У сторожив запытаеш. Скаже, Гриша. Почекай и виддасы...

– Там собаки?

– Вин замкнув.

Динара ступила на мощеную дорожку, учитывая взгляд в спину, покачивалась с каблучка на носок, дошла до ка-



литки и передала пакет. Какому-то грязнуле, кажется, по фамилии Почекай.

Обратно мчались весело. Оказывается, под панелью висел крохотный радиоприемник – загремела музыка. В приземистой рощице у бережка Иван расстелил коврик, выставил бутылку, свалил из тряпки конец пирога с капустой, словно из рукава выкатил яйца, плюхнул брынзу. Сковырнул заглушку – понесло ярим самогоном... Она схватила чарку первая, Иван по-простецки ахнул:

– Попэрэд батька в пэкло!

Она подождала, выпила с ним в такт... Говорила, говорила:

– Знаешь, моя жизнь здесь, как вымысел. Мои первые фантазии. Уеду и – как бы ничего и не было. Свидетелей нет, сама себе не судья. Мало ли тайн хороним в закутках памяти. Было или не было, кому какое дело!

Еще выпили. Иван повернулся к воде, встал на колени, стал расстегивать рубаху, джинсы.

– Освежиться? – как бы в оправдание сказала Динара и сама принялась за свои змейки-липучки.

Иван тяжело повернулся к ней, надвигался исподволь, даже угрожающе. Она чуть-чуть подалась назад, замерла. Медленно, не позволяя шелохнуться, парень уложил ее на спину, тянулся к ее лицу, поколол позавчерашней щетиной ее тонкие щечки, потом мягко жевал ее губы. Вверху жидкие тучки в розовых разводах, черная голубизна и два распахнутых глаза. Абстракция. Символ. Тотем. Подо всем этим обнаженная девушка из мира формул и запретов и – чистой воды дикарь. Оцепенение. Жажда крика... Требование созревшего мужчины:

– Ну-бо, хылытай, хылытай!..



* * *

В последнюю субботу августа семейный совет был мажорным. Папа выставил бутылочку мутно-изумрудной жидкости:

– Лонгер! Лиметта! До семи процентов алкоголя. Аккурат для непьющих.

Маман торжественно выставила овальный торт собственного изобретения:

– Поддержим цветущий вид чада степей!

Бабуля Гуля впервые поносила свои салаты:

– Это все товар лежалый. Вот на Сметанах – все с грядки, живое! Да, внучка?

Для себя предок откупорил темный «Янтарь», поучая:

– До этого тебе еще требуется дорости, доця.

Маман не унималась:

– Что значит чистая экология и здоровые нравы! Ну, просто на свет народилось наше дитя. Виват, Сметаны!

Бабуля Гуля категорически заметила:

– А вы – в Саратов, к москалям!

– Скажи тост, доця!

Динара подняла бокальчик:

– За продолжение нашего целомудренного рода...

ПРОХОЖИЙ

Паланка – это пригородная слободка, палисадник, укрепление из кольев. В моем случае – ошметок забора, подернутый валежником огород, хата под жухлой стрехой и роскошный, выставочной работы кирпичный сарай с тремя выходами: для буренки, для свинки и для птицы – в антресолях.



Купил и задумался: зачем? Казаковать? Сдавать под дачу? Перепродать? Не найдешь спросу: предыдущий хозяин сбыл мне за бесценок – потому и купил. Теперь в наказание себе копаюсь, за напасть. Собираю камни на своей земле, рублю корчеватый кустарник, наращиваю плетень. У людей от потуг разыгрывается аппетит, а у меня желчь. На жену, на взрослую дочку. Они даже не посмотрели, в какую сторону укатил мой трепанный «москвич» с двухдневным запасом харчей – на уик-энд!

Виноватое покашливание из-за калитки принудило меня поднять голову. Спиной к взлетающему солнцу, свесив локти с ограды, стоял поросший невнятной щетиной, косматый мужичок в линялой ковбойке.

– Хороший пан все делает сам! – вместо приветствия натужно и угодливо посмеялся пришелец. И добавил: – Бог на помощь!

– Наши Боги послали вас на подмогу!

Я воткнул лопату, поднял моток шпагата и подошел к едва наживленным на кольях прутьям. Как-то само собой конец бечевки попал в руки косматому и ловко зашнырял между вбитыми в грунт опорами.

– Ненадежно все это, – деликатно заметил он. – За зиму истлеет. – И тут же выдернул из кучи малый пучок обглоданных прутьев, пропустил через кулак, щелкнул, как арапником, и принялся прошивать ими прочные побеги.

Молчали. Убивался жаворонок, затылок пощупывал первый зной, подала голос горлица на сарае. Я помогал – он ушивал. Понятно, придется выставлять бутылку. Час спустя я полез в погреб, горловиной выходявший из-под все той же новенькой подсобки. Протер шаткий стол в тени, подбросил стружек в печку среди двора. Мои действия поощряли незваного батрака. Работа спорилась, рубаха в блеклую клетку полетела на сук яблони, обнажилась то-



щая, жилистая грудь и прочие мослы. Над правым соском глубокая ямка, словно от пули, и седеющий пушок вокруг нее. Лицом к свету незнакомец казался похожим на монаха средних лет или расстригу, которому не везло с растительностью вокруг рта да со смирением. Скулы играли, рот поминутно раскрывался, собираясь подать звук, но тут же мокрые губы уходили в усы. Только теплое бормотание доносилось:

– А лоза вербовая, к весне тын зазеленеет.

Потом долгий взгляд на мои беспомощные упражнения со сковородкой и секачом. Наконец невинное замечание:

– Человек умственного труда. А дома – женщины, и не одна... Позвольте-ка я вам подсоблю.

Салат он шинковал, как фехтовал, а мясо рассек на лету, да ровненько, с явным удовольствием в каждой мышце лица и руки.

– Откуда сноровка?

– Чертову дюжину лет провел корабельным коком! – и хихикнул так, словно соврал и не опомнился.

Чарки я наполнил с нахлестом. Он поднял не пролив:

– Будем людьми, как говаривал боцман из молдаван.

Пил он смачно, не спеша, ликуя.

– Повторить?

– Слишком большое наслаждение, чтобы злоупотреблять.

И тут не поймешь: озорничает или впрямь глубоко высказывает наболевшее.

– Балык рубите – это объяснимо: корабельный кок. А оградку вяжете?..

– Это из области мечты. В открытом море все годы чудился замкнутый хуторок в степи... И потом, мой боцман из молдаван говаривал: если человек хорош в чем-то одном, он неплох и в остальном.



– Про молдаван говорят – дураки...

– То дураки говорят...

Ел мой гость, как и пил, аппетитно, торжественно. Даже смутился:

– Извините, редко удается. Отпускают камерников на субботу-воскресенье домой, на подкормку. Пенитенциарные органы обнищали – кормятся за наш счет, а мы – Божьим духом.

Я поперхнулся, тут же, спасая лицо, прыснул смешком наигранно, мол, дошла шутка.

– А вы что же дома не подкармливаетесь? – справился.

– Там засада. Я на счетчике.

Я готов был пронзить его взглядом, только бы дойти до истины. А он играл зрачками. Чистые да лучистые, они расширились, сужались, убегали. Рот по-прежнему приоткрывался и не говорил всего.

– Звать-то вас как?

– Стоит ли?

Во всем облике его чувствовалась порода, запас чего-то, что дается не каждому. А во всякой реплике светились реалии из теневого мира. Дурачит, мил человек, цыганит на хлеб. Навострились паразиты в наше забубенное время!

А этот паразит после обеда сгреб полтонны камней с пашни, вывернул их в арык, да так аккуратненько, что образовалась кладка, через которую запрыгал, процеживаясь, ручей. Успел еще разрезать пополам дверь в хлев, так, чтобы будущая коровенка могла выглядывать в мир Божий, а выйти – извини.

– Видел такое у фламандцев, – заурядно пояснил невежде.

Солнце садилось. Он вышел за калитку, долго смотрел на далекую рощицу.

– Отсюда красиво, – сказал со вздохом и кривой улыбкой. – А выйди на опушку – насвинячено, порушено, дере-



вья хворые... Прости нас, Господи, если еще можешь... – И повернулся ко мне с обычным озорством: – Ну что, на пошонок?

Выпил стоя – торопился мой разовый поденщик. На сунутую в карман ему купюру не обратил внимания.

– Я подвезу вас, – с готовностью я нащупал в рюкзаке ключ от своего дряхлого седана.

Он красиво покачал косматой головой:

– А там вас выследят. И жди на днях не одного незваного гостя, а двух или трех. Да еще с расспросами. Я уж как-нибудь автостопом.

Руки не подал. Ни печали, ни радости при расставании не обнаружил. Вот так.

Ночевал я один. Прислушивался. Жуть поселилась в тихом хуторке. Собаку завести, что ли? Двустволку купить? Но поди знай, на кого пса травить, в кого стрелять. Подойдет вот такой с умелой рукой, свойский, а то вдруг – из бандитов.

Спал чутко. Аукнет филин – знак; треснет ветка – шаги. Все-таки одиночество и неведение – отрада для души, а многие знания – умножают печали.

* * *

Понедельник. В городской квартире супруга включила телевизор и потребовала тишины: читалось обращение уголовного розыска. В кадре стояла черно-белая фотография моего косматого знакомца или незнакомца, скорее, прохожего.

...Найден труп. Особые приметы – дырочка над правой грудью. Кто может сообщить что-либо об этом человеке, звоните по телефонам...

А что я могу сообщить? Я видел, как человек с открытыми глазами прожил свой последний день. Об этом – в рассказе... Не позвоню.



ПЕРВЫЙ ПОДЪЕЗД

Слишком заурядно! Ступает вверх по битой лестнице молодая женщина, скорее, девушка, – напрягаются икры, покачиваются ягодницы, колыхается широкая и короткая юбка в неуловимый рисунок, а Тэд Мазурок стоит у створок с табличкой «Лифт не работает» и чувствует себя толстолобиком на диком рынке: хватает, хватает спертый воздух подъезда и кому-то с фальшивым безразличием повторяет:

– Лифт не работает. Лифт не работает.

Ему уже за двадцать, в его университете четыре девчонки на одного парня, выбирай – не хочу! Постыдиться бы сердечку падать при виде красавицы, тем более что мелькнувшее в пыльном снопе света ее лицо показалось слишком настороженным, стянутым желваками; рукотворно раскосые глаза, лепестками подрисованные талые губы и взбитая короткая прическа вызывают догадку: эта гурия топает по вызову. К кому бы это? С рождения Тадеуш обитает в первом подъезде, робко и с вызовом гнушается почти всеми встречными физиономиями от своего первого и до девятого этажа. К кому бы эта гостья?

В течение дня парень сбегал к Федоту Ладану осваивать компьютер – недавно предки приобрели ему таковой; потом тренировался в ринге со средневесовиком Степкой; по поручению матушки набил продуктами рюкзак и притащил домой. А дома мысли вернулись к незнакомке со стянутым лицом и искусственным корейским взглядом: аппетитная особа.



Кому она дарила сегодня свидание? Неужели Родику, младшему из соседей над головой?

Во втором этаже живет пролетарская семья, неподдельная и колоритная. Диву даешься: на перекрестках города встречаешь европейских женщин, все углы-кварталы застроены приличными офисами, супермаркетами, жилыми домами с потугами на стиль, мобилки в руках, на ногах приличные башмаки. Ступая на «зебру», понимаешь, что если собьют, то уж изысканно отлитым бампером, по радио звучит «добирна ридна мова», в общем, иногда забываешь, что обитаешь в краю непуганых злодеев, выступаешь на людях как порядочный, смотришь на мир европейцем. Кто-то отесывает поколение. Тут же, над головой, – заповедник, охраняемый законом и традицией. Состав: бойкая бабуся Асия, третье поколение беглых татар; хозяин – шустрые языки наушничают: еще в бараке, на дальней стороне реки, затевалась широкая свадьба; дочь натурализованной татарки Катя собралась замуж «за грамотного». Нареченный и впрямь оказался человеком подкованным: за дни ухаживания и дружеских ночевок в общесемейке с отселением гипотетической тещи убедился, что не по силам ему прижиться в пестром и неукротимом кагале, – не явился в загс. Чтобы не пропадал харч, не разочаровались товарки и собутыльники, рыжая Катя разбудила слегка захмеленного после дальнего рейса моториста Котю и сгуляла «веселье» с ним. Власти на тридцать втором году работы «на одном месте» наконец-то отвалили старой Асии мини-трехкомнатную квартирку на весь ее курунтай, а молодые в пять лет обзавелись тремя сыночками. Каждый завод начинался с возвращения Коти с очередного плавания, крепких отметин, где Катя выступала ведущей; еще со скандальчика от старой хозяйки квартиры до ее голосистой дочери и крика чад по мере прибавления. При-



мирение шло целую ночь. Те же шустряки разносили, что отец семейства, как правило, засыпал ниц, любимая переворачивала его, ставила в рабочее состояние и с гиком седлала – просыпалась в ней даже матерью забытая кровь степнячки.

На сегодня двое старших братьев пристроились в благополучные семьи и уже не скандалят за полночь, кому из них достанется квартира после смерти родителей, кому купят легковушку, если мама вдруг бросит пить, не гуляют по две ночи, с дневным отсыпанием, именины да годовщины переезда в квартиру, отъезда и возвращения главы семейства. Теперь отец-мать на работе, бабуся кулинарит, убирает, до рассвета бегаёт подметать трамвайные остановки, все же остальное время нянчит двадцатидвухлетнего внука, отпетого бездельника. Режим Родика таков: поднимается после одиннадцати – включает тяжелый рок. Противно соседям, но терпимо, если он сидит в своей комнате, а если этажами выше и ниже грохот усиливается, значит, «младенец» сидит в туалете или завтракает на кухне. Часто Родик лежит вплотную к динамику, но ор приглушить забывает.

Так, в объятиях Морфея, застают его старушки со всех лестничных площадок, входя с поклонной просьбой прижать стук и вой. Он с «пенсией» не разговаривает, потерпит секунду-другую в приотворенной двери, хряпнет створкой и ложится – при этом ни на йоту не прикручивая регулятор громкости. Когда отец дома, случается, слышит Тэд сквозь потолок благонамеренные речи старшего мужчины:

– Ты бы почитал чегой-то!

– Глаза портить?! – в ответ досадно рычит сынок.

Ни разу не увенчались успехом призывы хозяина и к супруге:



– Вот ты ужралась с утра! Какой смысл?

– Не нервируй меня, я иду на работу! – покрывается реплика мужская зычной женской.

Устраивали младшего на работу: подмастерьем на строительстве – сбежал через день: там поднимать надо; оформили охранником в супермаркете – через месяц уволился: «Что там платят? Тысячу двести? А вычли... Я зазевался – кто-то стащил товар, сняли сотню». Пристроили в армию: потрудился у генерала на даче, тот его отпустил с миром домой.

Если отец или наседавшие братья упрекали Родика в лени, бабуся Асия наседкой бросалась на обидчиков... Тайком приносила внучку сигареты, позволяла вечером выйти в сквер с ее же трешкой и выпить «с горла» бутылку пива. Однажды при встрече с молодым Мазурком подняла на него свои заплывающие, изможденные ночной работой глазки и нечаянно шепнула:

– И у нас растет сынок.

И вот – дикая несправедливость: к оболтусу и лоботрясу приносит свои прелести девушка, которая задевает за живое нормального, даже красивого и дельного студента. До того волнует и трогает, что он, Тадеуш, выслеживает ее. И выследил: выходит-таки из двери второго этажа над квартирой Мазурков.

Сегодня пошел следом за незнакомкой.

Смешно и неловко, чувствует себя персонажем Достоевского, нацелен поднять хорошую девушку из грязи. И ничего не получается. Подсел к ней в скверике – она спряталась в тенечке, перекуривала, ловко так зацепил просьбой прикурить, ввернул деликатное речение, мол, позвольте спичку, вот забыл сигареты дома и – вообще не курю. В довольно необязательной беседе общими фразами намекнул, что в мире студентов бытует скромная и возвышенная



любовь. И получил так же общо, не обидно, но с горчинкой:

– Это если есть кому платить за учебу, комнатушку и пропитание. А если нет – какая уж тут возвышенность!

Понятно: телефончик не попросишь, имя соврет, а разоткровенничаешься – у девушки лопнет терпение и она может сказать: «Не нуди, паря, могу и послать». Такой уж она выглядела в мире литературных экзерсисов Тадеуша. Посидели молча. Повздыхали на разные лады, он вежливо кивнул, расстались.

А неделю спустя, аккурат после урочного ее визита к счастливчику-соседу, Мазурка на лестничной клетке поджидал великолепный Родик, рослый, в меру упитанный, обстиранный и наглаженный, выбритый и приятно пахнущий. Надвигался – чуть выше ростом, с провисающими тяжелыми кистями рук, с миной на лице, обещающей многие неприятности, в общем, Тэду даже понравился.

– Слышь, братан, я стучу один раз. Второй – по крышке гроба, – выразился на нижнем регистре и с бравым оскалом пососал нижнюю губу, даже эхо чмокнуло в подъезде.

Все виденное и слышанное об упорном соседе разом свалилось на Мазурка, он расслабленно прижался спиной к стенке и сквозь зубы проворчал:

– Интересуюсь, о чем может говорить нормальная девчонка с эдаким ублюдком?

Родик сделал выпад, успел прогнусавить: «А она не говорит, она поддает!» – и со всего нагулянного плеча пустил увесистый кулак в цель. Тэд заученно нырнул и уклонился – кулак въехал в ноздреватую и задубелую стену.

– У-ю-ю... Разблядь твою мать! – Красивый сосед присел, сисясь вогнать кисть ударной руки себе в рот, и с таким кляпом стонал – матерился.

Так и был оставлен в подъезде.

Ожидался визит двух старших братьев с разборкой.



Но пришла бабуся Асия, по-своему нарядная: в кофтенке с турецким рисунком, в тяжелом платке с кистями до колен – тем и смешная и жалкая. Сели в комнатке Тадеуша на стулья – друг против дружки. Он виноватый и настороженный, едва прикрытый разлетающей босой; она – чопорная, в продолговатых морщинках на дряблом лице, с мышинными глазками за растянутыми веками и с улыбкой, тоже виноватой и уступчивой, за которой насчитывалось два или три зуба.

– Он один меня любит. Некому больше. Был дедушка – бежал сюда из Гурзуфа, от Бэлы Куна, меня еще не было, только сына Ахмета взял. Тот противился языком – Куна убил. Был отец, забрали в лагерь – татарин был. Нашлась Катя – сразу в интернат увели, от матери-одиночки, от Азии, от меня, из барака. Даже ни разу «мама» не сумела сказать. Потом-потом пришла домой уже большая и пьяная. И ее некому любить было, потому она ненавидела – меня, я под рукой была. Зять – приبلуда, молчит и уходит, уходит. Терпит меня – жилье мое. Старшие внуки пошли в отца – боятся татар, к другой бабушке пошли... А он, Рагим... Ой, Родион, – меня сразу полюбил, первое слово сказал мне – «мама». Говорит «мама» и теперь. И я готовлю и в ночь хожу для него. Растет – все я ему, как мужчине. Надо, пока он – я не помру... И девушку ему я наняла. Надо, для здоровья. Мне хватает. Пенсия и уборка – платят понемножку, можно наставлять...

И с малюсенькой слезой на крупном мешочке под глазом добавила:

– Нельзя меня обижать... нельзя трогать нашу девушку... Я все исправно плачу, каждую неделю. И ей и милиционеру... крыша такая из человека...

Мазурок сидел, совершенно сбитый с толку.

Далеко не каждый поймет старую Асию...



ЮДКА-БЕСПРИЗОРНИК

Говорят, евреи – мудрые люди, но если среди них затешется глупец, то это уже форменный дурак. Говорят, что они хитрецы, но случись в их народе простак, то это – святой.

К лету сорок первого года в Мариновке известны были три иудея. Глава сельпо Сальковский, брюхатый товарищ при ермолке и твинчике, солидный и ответственный, но сусликовые шкурки от школяров принимал сам лично. Погоняет костяшки на счетах, бубня: «Рупь туда – два назад», – и к осени у него на голове меховая кепка, на плечах серебрится куртка из мелких вредителей полей – все от на-вара.

В приспособленном сарайчике стриг селян «под бокс» балагур Абрамович:

– Я вам исделаю головку – ту головку! Я знаю городскую культуру: когда вы в тридцать третьем здесь гибли под голодным мором, я биндюжничал на Молдованке. Там знают вкусы!

Третьим был Бог знает кто – Юдка-беспризорник. Баба Романчиха, которая считала, что затяжные дожди идут оттого, что Господь отлучился на партсобрание, а божата двинули не те рычаги... так она уверяла:

– Это заспанное чучело в мятой кацавейке, шкарах с чужой задницы и в мештах на босу ногу однажды ночью нечистая сила поставила готовеньким среди села, а теперь мы – радуемся!

Было еще четыре еврейки: тетя Катя Лозинская, только ее надо исключить – она «выхристка»; ее сестра-портниха



Мэца; еще старая-престарая Фаня, которая говорила, оскаливая в улыбке свой последний, глазной, зуб:

– Мне восемьдесят третий годочек, и када какой мешигене-немец зачнет меня насильничать, то испасибо ему.

Подметала роскошным подолом улицу красавица Лиля Шнайдер. Эта переходила от одного драпающего командира, с кубиками или шпалами, к другому и была уверена, что который-то увезет ее «в глубь страны».

Фронт гудел уже в Первомайске, и скрытая хуторская контра, то есть те, у кого при коллективизации отняли десятины и «худобу», но не успели их самих командировать в Сибирь, гомонили:

– Отольются партейцам наши слезы. Красные пятнышка вместо медалей лягут им на лацканы... Вот только беспризорника Юдку – за что?

И правда, кому он навредил? То сидел в подвальчике с печным окошком и помогал сапожнику Коле-хроменькому, да так неуклюже вбивал деревянные гвозди вместо подошв в союзки, что его попросили не приходить. То в колхозе Куйбышева прислуживал ездовым, и, наверное, с его конюшей карьеры пошла по миру поговорка: запрягать телегу впереди лошади. Поперли и оттуда. Он приходил молча и молча уходил.

Где Юдка спал, что он ел, знает один его Иегова.

По Мариновке покатилося слово «эвакуация». Во плоти оно выглядело так: у хат директоров машинно-тракторной станции и совхоза, у домика сельского совета, у двора парторга стояли арбы, телеги, брички. На них взваливали тюки, мешки, рундуки, бочки, высаживали детей и жен со старухами. Потом все это выстраивалось в колонну и под прощальный вой и причитания двигалось к грунтовому шоссе к поднимающемуся солнцу. Замыкала обоз клепаная бочка с водой; на облучке сидел одинокий парикмахер и говорил:



– Испасибо полномоченному, пристроил. Это в Мариновке я был Абрамович, а в беженцах я еле-еле водовоз.

Сальковский впряг пару сельповских меринков во вверенную ему по штату телегу, погрузил семью, сам, единственный из продуктивных мужчин, не призванный из-за грыжи и одышки, сел при вожжах, бубнил в сердцах:

– Покидаю нажитое мозолями. А что делать? Варвары стреляют наш род по живому. Меня убьют дважды: как партейца и как еврея.

Юдка подошел к его телеге бочком, чтобы не потревожить начальство, постоял; мимо него суетились, словно переступали через голову, не замечая. Тощее, немытое личико его с невероятно круглыми и чистыми глазами не выражало общего беспокойства: все равно всем места не хватит, да и не для него привилегии. Многодетная и сердобольная тетя Клава все же тронула его за рукав:

– Сынок, тебя убьют. Иди на мою арбу.

Странно, не расслышал беспризорник, что ли: прикосновение расценил как толчок – отвернулся, пошел в переулок к тем евреям, что оставались.

Лилю Шнайдер увез рыжий командир на самоходке.

Тетя Катя Лозинская рыдала в голос, цепляла икону Богоматери над входной дверью, становилась на колени, так, чтобы с улицы было видно, громко-громко молилась по-православному. Ей это показалось неубедительным для недоброжелателей; она сняла икону, прижала к груди и со слезами и псалмами ходила по селу.

Сестра ее, тетя Мэца, понимала, что у Кати есть надежда, а у нее, иудейки, – нет. Она выбирала из своего короба, собственноручно за десятилетия, проколотыми пальчиками и подслеповатыми глазами сотворенные наряды, примеряла на себя, старательно поворачиваясь осевшими плечиками и тощими бедрами так и сяк – готовилась к смерти.



Юдка и тут постоял тихо, даже полюбовался помолодевшей в крепдешине да ситчике женщиной. Она подала ему крынку с молоком, он вежливо отпил, как всегда, не поблагодарил.

Когда обоз с беженцами уходил, беспризорник вразвалочку пошел следом, все отставая и помаленьку теряя из виду последнюю телегу. С ним рядом трусил шелудивый дворняга Сальковских. Уже за лесополосой пес сел на хвост, понюхал воздух за удаляющейся последней арбой, потом повернул морду в сторону села, повыл в ту и другую сторону и потрусил обратно. Юдка поплелся за собакой.

Пришли не немцы, а румыны, в сельсоветском домике открыли примарию, вроде бы власть. Однако время от времени из района на рябой камуфляжной легковушке приезжал высокий красавец, немецкий офицер. Говорят, орал на примаря Цирика, говорят, даже в морду ему заехал сгоряча. На площади соорудили помост, своих подпольщиков не оказалось, повесили привезенных из Савранского леса двух партизан – для исправления местных нравов... Попутно объявили, что закрывать колхозы не будут, а евреям велели прийти в примарию регистрироваться.

Когда у тети Мэцы на новенькой «татьянке», рядом с тощей грудью и плетью висящей рукой, появилась нашитая желтая, почти в ладонь, шестиконечная звезда, Юдка долго рассматривал ее, трогал, гладил пальчиками... и пошел к примарю попросить такую же себе. Сторожевой земляк из полицейских, длиннющий, с винтовкой наперевес, похожий на колодезный журавель подросток Дмытро, у которого, говорят, мама – немка, попер жиденка матом и велел не показываться властям – сделают капут.

Глупой промозглой осенью в старые сараи на холме, откуда скот частью угнали в эвакуацию, а дойных коров и телок разворовали свои, из окрестных сел, из дальних рай-



онов стали сгонять утомленных и запуганных людей с желтыми звездами на грязной одежде. Слухи пошли: вскоре поведут их в Богдановскую балку, а там – понятно что...

Мариновские втайне собирали буханки хлеба, кувшины молока, старые одеяла и фуфайки, несли к сараям. Видели старух и детей на сквозняках, слышали стоны и молитвы на непонятном языке. Добросердечных селян прогоняла охрана, угрожая стволами и побоями. Один Юдка-беспризорник умел молча походить по улицам, немо попросить помощи страждущим и с мешком хлебов подойти с той стороны, где на часах под ветром пошатывался тощий «журавель» Дмытро. Наловчился бочком-бочком, так, что один отворачивался, а другие полицаи на него не обращали внимания, подобраться и просунуть в разбитую дверь холодным и голодным единоверцам какую-никакую снедь и одежонку.

Уже потом, вдогонку, Дмытро крыл его недобрыми словами:

– Шо ты прэшся? Нам же попадэ! Чы сам туды захотив?!

А когда подходил немецкий конвоир и рокотал понятное: Was ist das? – «журавель» невинно и покорно объяснял:

– Цэ хоч и жид, та безвредный. Блаженный, навить звизду не получыв.

Унтер давал подзатыльник Юдке и отпускал с миром.

Ночью угоняли обреченных. Селяне шептали разное:

– Помылувалы, розпустылы додому.

– Не, кумо, пид кулэмэты трэба повный набир. Цых трыматымуть у Богданивци, там тэж е пусти сараи. А в наши щэ додадуть...

И правда, неделю спустя сараи заселялись новой партией несчастных.



Когда «набир» был полным, длиннющую колонну по грязному снегу, под мелкой моросью погнали в сторону Буга. Люди до того изголодались, промерзли и обессилели, что шли безропотно: уж скорее бы конец, какой – там их Всевышний определил, только бы не такое мучение.

Колонна разношерстная, угрюмая и смиренная, даже собак для сопровождения конвоиры не взяли. Шло десяток немцев и румын и малая sonder-команда, набранная где-то в чужих поселках, скорее всего, в наших немецких колониях. Обочь дороги, все так же удерживая винтовку журавлем и в дикой полудреме, шаркал по серому снегу подросток Дмытро. Чуть в сторонке, безотносительно к конвою, в трех метрах от знакомого и нелепого конвоира, совсем погрязая в заброшенной и мокрой пахоте, чавкал дырявыми мешками и Юдка-беспризорник. В колонне он был чужой – на нем не было звезды.

Темным, заплаканным днем людей выстроили вдоль глинистого оврага. На холме формировалась расстрельная команда. Глухо рыдали женщины, отрешенно и уже без надежды смотрели мужчины. Седенькая пара, без головных уборов и в утлых пальтишках, взялась об ручку и прогуливалась перед строем вдоль неглубокого обрыва, видимо, так, как она проделывала это много раз до войны по вечерам, после научной или творческой работы. Тетя Мэца стояла в первом ряду и смотрела в небо, была безразлична и величава – все позади...

На холме, за спиной sonder-команды, раздался истошный вопль, нечленораздельные высокие звуки: так вопить мог только немой от рождения человек, которому ужас бытия вскрыл голосовые связки.

Красавец офицер брезгливо оглянулся, вскинул кулаки и заорал:

– Schiezen sofort wie einen Hund!!! (Пристрели собаку!)



Предупреждая других, бросился исполнять приказание подросток Дмытро. Он вскинул непосильную для него винтовку и направил ее на... упавшего на колени Юдку-беспризорника. Тот загребал кривыми пальцами снег с грязью и бросал вязкую смесь себе в лицо и за ворот. Орал дикими звуками.

Глухой хлопок выстрела в густой, вязкой дымке принудил юного еврея вскочить и побежать прочь, в совсем почерневшую зимнюю степь. Преследователь ринулся за ним, оба потонули в упавшем на серую землю сером небе. Было еще два выстрела, какие-то испуганные, нелепые, Бог знает куда...

* * *

Двадцать два года спустя мирным зимним днем во Дворце строителей шел суд над полутора десятком сорокапяти- и шестидесятилетних давних членов sonderкоманды. Закон требовал для всех высшую меру наказания. Но даже при большевиках в суде положен был адвокат. Назначили робкого и всепокорного старичка с трепаной бородкой и трепаной же папкой под мышкой. Ношенным костюмом не по росту, способностью одновременно и присутствовать, и отсутствовать и съезженными плечиками он напоминал беспризорника Юдку, наверно, и был евреем. Рослый особист, нарядный фат, сильно похожий на мариновского, из сорок второго года, немецкого офицера, только в штатском, предупредил тревожного старичка-адвоката:

– Ты там не слишком отыскивай оправдательные статьи. Я тебя поправлю!

Адвокатик все же работал. Отыскал не статьи, но свидетелей. Одним из них был середнячок с бледным и стылым личиком, в жалком пиджачке и брюках со вздутыми коле-



нями, глаза круглые и невероятно ясные, рот сомкнут. Он почти не говорил, только в зале суда сорвался с места, подбежал к сильно постаревшему, тощему мужичку, стоя похожему на ветхий колодезный журавель без бадьи... и с воплем выдавил из горла, не привыкшего к звукам:

– Я – Юдка!.. Цэ – Дмытро!.. Вин не стриляв!!

...С малой группой телеоператоров я снимал куценький репортаж из зала суда. Я знаю: запуганный адвокат все же доказал прокурору, что некоему Дмытру в страшное время не было и шестнадцати лет. Тому сильно смягчили наказание... А Юдку-беспризорника я больше не встречал...

О ЧЕМ ДУМАЛОСЬ ЛИЦЕДЕЮ

В сельском клубе, – при румынах это был приземистый магазин, десять на двенадцать метров площадь, – появился сублильный человек среднего роста, с серыми глазами, на левом – узенький карий мазок, чертова отметина. Нос прямой, плечи тоже, осанка солдата, только левая кисть застенчиво прячется за спину и всякую секунду сжимается и разжимается, эдакий пульсатор, привезенный из-под Вены в качестве трофея.

В сельсовете его допросили:

– Имя?

– Иван Нестеров.

– Кем служил до войны?

– При театре, в городе...

– Будешь заведовать клубом. Платить только нечем, хочь – как хочь...

Иван Иванович вздохнул и кивнул:

– Батька плотничает, прокормимся.



Где он стащил щебенки и как управился одной десницей, не известно, но три дня спустя через гоголевскую лужу была насыпана дамба высотой в полступни, и к перекошенным дверям культурного заведения можно было подойти. Еще неделю спустя два широких, вечно зияющих впалыми глазницами окна были забиты фанерой, тоже где-то украденной.

Два раза в месяц из райцентра привозили кино. Серую лошадку выпрягали из пароконной телеги и уводили кормиться к добрым зрителям, за что вся приютившая животину семья проходила на сеанс бесплатно. Киномеханик шел к Симе Мадей, упивался и тешил вдовушку всю ночь. Нестеров нанимал подростков за контрамарки, те мыли полы, продавали билеты, стояли контролерами. Сам завклубом подключал электричество от малой динамки МТС, а так как силы тока на все не хватало, то он здоровой рукой прокручивал пленку в аппарате. Публика приходила со своими скамеечками, перевернутыми подойниками, усаживалась прямо на влажные половицы, в общем – кайфовала. Случалось, на распятой вместо экрана простыне строй солдат шел то вперед, то назад. Тогда Иван Иванович успокаивал публику:

– Граждане, будь спок! Это у нас тут три метра пленки не так приклеено!

К весне Нестеров достал кузов кирпича, в дальнем углу зала поднял на метр помост; из старой дерюги скроил занавес и затеял театр.

Тут мы с ним и сошлись. Чахлым школяром я пришел в клуб:

– Хочу выступать...

– Хочешь – будешь. Мы тут «Наталку Полтавку» ставим, будешь играть Терпыла.

Меня приклеили к усам, сунули в дедовскую свитку и посадили за тряпичными кулисами – жди выхода. Там я и



заснул, проспал до конца спектакля, потом плакал. Я узнал, что в пьесе Терпило только упоминается, как добрый покойник, и что шутка Иваныча давно обкатана в театре.

Потом я играл и сына партизана, и сельского пацана, даже собаку...

В старших классах мы занимались с Нестеровым уже в школе. Каким-то чудом этот малограмотный мужичок да еще с увечной рукой стал преподавать физкультуру. Естественно, попутно вел литературный театр. Воочию на школьных вечерах показывал персонажей из программы седьмых-десятых классов. У него я играл Олега Кошевого, Алеко, Гришку Отрепьева и еще Бог знает кого. Все это походило на вымороченные комиксы, но понятие о людях из большой литературы, их красивые тексты заседали в голове навсегда.

Уроки шли в две смены. Наш шестой класс набивал переростками и спертым воздухом аудиторию до обеда, а «взрослый», десятый, – после. Мое место занимала миниатюрная красавица Мария, дочка головы сельсовета, а значит, богатенькая, то есть носила перешитый с мамы бархатный жилет и атласную, лоснящуюся серебром юбку. Во все это я влюбился. Вначале сочинял стихи, похожие на строки из «Конька Горбунка», и только в голове – записывать боялся, а вдруг прочтут. Потом душу прорвало: я на старой, исцарапанной и битой парте начертал: «Здорово, кума!»

Предмет моих страданий меня не понял. На следующий день с последним звонком Мария вбежала в класс, схватила мою шапку, прошлась ею по моим иероглифам и рыкнула:

– Сотри, дрянь ты кучерявая!

Я понял, что моя не пляшет, и целый год таил свою любовь даже от себя. Мучился бы и дальше, но тут пошел



слух по селу: Мария вышла замуж. И за кого бы вы думали? За Нестерова! Узел был разрублен, благородное чувство обожания подменилось другим, порочным: я невзлюбил Иваныча.

Молодожен обустроивал семью через укрепление своей репутации: рьяно обустроивал школу. Оборудовал за двором спортплощадку, ввел в пустом классе художественные занятия. Оказалось, кисть он держал недурно и объяснить юным мазилам колорит и перспективу умел доступно. Под его наущениями школьная команда была подростковый и взрослый футбол во всем районе, а чумазые живописцы выставлялись даже на областных олимпиадах. Но я не любил наставника, подлю радовался его промашкам: когда у него, всегдашнего аккуратиста, замечал смятую манжету или невыбритую полоску под носом. Единственное, в чем я уступал ему, – это ходил по вечерам в его драматическую студию. И за такую слабость люто презирал себя. Смешно, однако уроки Нестерова помогли мне, грязнуле, матерщиннику и подпаску, выдержать немалый конкурс в столичный театральный институт.

На каникулы я приезжал в село и снова играл в любительских комедиях – то капитана в «Шельменке», то Гната в «Бесталанной»...

После третьего курса в угаре столичной жизни я забыл и село, и Нестерова с его Марией.

Десять лет спустя мне, режиссеру и семейному человеку, не доставало зарплаты, и я пописывал в газетах: рецензии, зарисовки об интересных людях, шутки. Как-то не стало живых сюжетов. Помучившись, я вспомнил Нестерова, ничтоже сумняшеся, выдал подвал в областной газете о сельском интеллигентике, который в послевоенную разруху, голод и скуку умел бодрить солдатских вдовушек, их подростков, да и матерых селян своими аматорскими тво-



рениями, кое-каким спортом, да просто личным обаянием, прибаутками, постоянным добрым настроением.

Через неделю из дальнего села ко мне в кабинет добрался сам Иван Иванович. Искренне благодарил за поддержку. Оказывается, со своим опусом я попал в точку. В те дни руководство села построило большой Дом культуры и увольняло с должности Нестерова, у которого не было хоть какого-никакого диплома. На природный талант, доскональное знание быта, нравов, культурных запросов земляков, на всеобщее признание села отцам района было наплевать.

Но после «выступления прессы» его оставили заведующим Дворцом.

Была у меня еще встреча с Иванычем. В самом конце восьмидесятых, когда рушились коммунистические устои, гибла материалистическая идеология, а на смену ей являлась всякая чертовщина: полтергейсты, маги, знахари, в людях вроде бы открывались глаза на затылке и скрытая сила духа.

Престарелый Нестеров, всегдашний фантазер и художник от Бога, в те годы пережил потрясение: его оставила моложавая и с мещанскими запросами Мария. Он не запил, не начал курить, не судился. Он ударился в чудеса: открыл в себе силу знахаря, нанимался лечить людей словом. В то время мытарили многие – дурь приходила и уходила. В Иваныче она задержалась до того, что он попал в районную, а потом в областную больницу. Тут я его навещал, с позволения врача увозил к себе и выслушивал его фантастические рассказы.

Странно, именно в трудные его дни пробудилось сочувствие к нему со стороны его взрослых сыновей. А те уже пошевелили душу матери. Вскоре Мария забрала его домой – помирились. Этого последнего момента из его биографии я не знал.



Не знал и... случилась трагедия.

Однажды я снова почувствовал сюжетный голод. Помалялся от безделья месяц-другой и ухватился за незаурядную судьбу Ивана Ивановича.

Взрослыми глазами окинул наше с ним актерство, проанализировал значение этого лицедея для большого села. Ну, право, для трех сотен хат он был тем же, что Амвросий Бучма для всей Украины, что Иннокентий Смоктуновский для всех, видевших его в мире. Когда в селе закрыли церковь, вся духовная жизнь перекочевала к Нестерову в перекосившийся клуб, в классы, во двор старой школы, потом во Дворец. Но если в церкви мы получали нравственный опыт через притчи и сострадание, то от Нестерова исходила веселая энергия и всегда новая для Дикого поля шутка. От него мы узнали, кто есть Чарли Чаплин, и даже такой парадокс: на одном из конкурсов подражателей Чаплину сам великий комик, выступая инкогнито, занял лишь второе место. Не от Пушкина, – в школьной программе таких строк нет, – но от Иваныча мы постигли, что «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Не от Куприна, а от этого затейника мы узнали, что ложь бывает святая и... и...

Женившись, Иваныч публично заявил, что полностью доверяет своей жене... веник, скалку, корыто, базар, что вскоре устроит ее на работу в родильный дом... молотобойцем. Когда у селянок телились коровы, он первый подходил с поздравлением: «На сыр да на масло!» Под праздники писал лозунги на беленых стенах хат, да с выдумкой, с рисунком...

Я пару раз посетил село, косвенно и как бы без интереса опрашивал приятелей и неприятелей Нестерова о житебытье затейника, правда, свидеться с ним не удалось, уезжал он к сыну в далекий город...



В течение зимы я налегке написал забавную повесть. Отвез в издательство и, как водится у литераторов, сбросил с плеч, забыл и о труде, и о персонажах.

Два года минуло, много воды утекло, поменялись отношения и в стране, и в семьях. Наконец, я получил сигнальный, а потом десятый экземпляр книжки. Тут случилась оказия – я отвез повесть в село, нашел хату Нестерова. Меня встретили двое: он и Мария. Только тут я понял, что старики помирились, и осекся: ведь все мои коллизии строились на том, что Мария изменила бедняге и перипетии вытекали из одиночества старика...

По-быстрому попрощавшись, я уехал с предчувствием недоброго.

Конец этой истории сложился из рассказов тезки и коллеги Иваныча по ремеслу, и недоброй его соседки, также из куценького протокола следствия, и подробного ритуального плача Марии на гробках после Пасхи.

Семидесятилетнего Нестерова таки уволили, перерезали пуповину между человеком и затеей, удерживающей его на земле. В течение года заглохла самодеятельность в селе: земляки не торопились к Дому культуры под выходной, не перекликались петухами с того и другого околотка. В никуда гремели аудиозаписи из окон некогда живого Дворца. Вместо охлябистой, неотесанной, но исконно-искренней и близкой природы в село пришло диковинное, серое, кастрированное и лживое телевидение... и развело людей по хатенкам. Отгородились друг от друга ставнями загорелые, веселые или мрачные лица кумов, свах, зазноб, соседей, бригадира, слободской дурочки, собутыльника. Интересными стали холеные морды и фальшивые речи вождей, отобранные и подкрашенные декорации, все чужое и чуждое. Цивилизация...

И совсем зачах тот невысокий, убогонький и незаурядный человек, что колотил этот клочок Дикого поля сво-



ей поварешкой, непостижимо даже для него самого талантливой. Оказались ненужными его дедовские затеи, и оттого притупилась его выдумка. В Дом культуры он не ходил – есть такая гордость отверженного. Днем на улице перехватывал редкого земляка, но тот торопился по своим делам, вечером недавний «пуп села» чувствовал себя мелким и жалким, человеком не того масштаба. А недавние его почитатели прикипали каждый к своему серому экрану: там бурлила какая-то вымышленная плохими режиссерами страна... по мнению Иваныча, это – ничто, ибо не им и его селянами прожито и живым словом и выдумкой наворочено.

Шел в свою каморку, силился забыться и заснуть. По ночам вдруг до зуда в голове стал слышен немолчный лай собак. И ночь, и две не спал. Пошел за хату уговорить крутую соседку унять животин и получил:

– На то они собаки, чтобы гавкать! – И нечесаный затылок вместо «прощай».

Когда Иваныч был в ходу, эта лахудра просила у него контрамарку, потом приносила глечик сметаны и задабривала: «Теперь я буду вас обзывать Шельменко-денщик!.. Или Свирид Голохвостый!..» Теперь же – затылок...

Ночью – бессонница и думы, а днем – Мария с упреками: обленился, мало пенсии приносишь, по двору не помощник, совсем забыл свою молодую пару...

Тут в ее руках оказалась повесть о Нестерове. И голос ее зазвучал на густой основе и надрывно:

– Хорош ты, ангел во плоти? А я – потаскуха? Я – твое зло? А кто тебя кормит да смотрит?!

И так день ото дня, из ночи в ночь.

Совсем вышла из себя женщина, велела писать письмо автору. И сел писать старик, не хватало духа перечить. В строках было и такое: «Дрянь ты кучерявая!»



- Он уже лысый, – гнусаво отбивался Иваныч.
- Неважно, главное, что дрянь!

Дар Божий еще теплился в человеке, а пуповину обрезали и пищу для души селян придумывали без него. Не натуральную, чуждую, только люди к ней потянулись, забыли себя. Противоестественно все это, да ни сил, ни духа не хватает доказать им, что интересно только их собственное житье-бытье, то самое, чем советуют жить великие. Дома ад, спрятаться негде.

Иваныч нашарил в клети щербатый топор, украдкой наострил его. Пошел в одичалый сад за Дворцом культуры. Постоял, выбрал надежную ветку, так, чтобы с нее сквозь желтеющие заросли видно было и село, и окна его недавнего зрительного зала... Срубил лишние ветки, затесал сук. Закрепил петлю. Принес толстое полено. Встал на него...

Знать бы, о чем думалось лицедею в последнюю минуту...



Часть

2

ТЕАТР БЕЗ ЗРИТЕЛЯ

Треугольная хроника.....	197
Компенсация.....	225
Анафема	247

ТРЕУГОЛЬНАЯ ХРОНИКА

Действуют:

Лада – 43–48 лет.

Стас – 52–57 лет.

Алекс – 43 лет.

Алан – 57 лет.

Однажды, после ссоры

Скромная, но присмотренная и оснащенная техникой комната в квартире Л а д ы и С т а с а . Вечер. Она растирает тело ма-зями. Он – за компьютером.

Л а д а . Стас! Слышь? Подойди.

С т а с . Опять? Сколько раз говорить тебе: за компьюте-ром, за своими, пусть ничтожными, по твоим критериям, но сочинениями, я живу в ином мире. Не выдергивай меня от-туда!

Тем не менее, нехотя отрывается от компьютера, подходит.

Л а д а . Встань на колени, я буду просить у тебя проще-ния.

Он с отсутствующим видом опускается на колени.

Ты когда перестанешь материться?

С т а с . Как только ты начнешь понимать русский язык с первых слов.

Л а д а . Скажу тебе: не ту ложку взял, недовернул кран, лишний раз умакнул в мед сухарик, ты сразу – на дыбы...

С т а с . Потому что я слышал твои поучения тысячу раз и всегда слышу до того, как ты скажешь в тысяча первый раз.



Заранее повторяю их в голове, заранее дрожу, и мои руки перестают мне служить.

Л а д а . Это все твои бзики. Ты нетерпим.

С т а с . И зятек твой не заходит в гости оттого, что нетерпим, и внучка, как только встала на ножки, обходит наш дом десятой дорогой. Заколебала.

Он встает с колен, она вскакивает, идет броуновское движение...

Л а д а . Ты помнишь хоть один случай, чтобы я была не права?

С т а с . Не помню.

Л а д а . Вот...

С т а с . Но это правота палача. Постыла! Ты ее выдаешь всякий раз авансом и с таким нажимом, что чувствуется не только все твое презрение ко мне, но, что страшнее, весь ужас твоей жизни, все накопившиеся твои несчастья. И виноваты в них мы, я, дочка, когда жила с нами, внучка, да все окружающие.

Л а д а . И окружающие бесятся, вместо того, чтобы посочувствовать.

С т а с . Чему сочувствовать? Ты голодна, тебе что, течет за шею? Или тебя принуждают одновременно в двух местах работать?

Л а д а . Я жила и с одной службы...

С т а сИ это я оставил тебя матерью-одиночкой, и я же три года спустя насильно выдал тебя за себя, нелюбимого? Наобещал золотые горы и не дал ничегошеньки? Я предупреждал, что жизнь литератора в наше время нищенская, гривна в час моя цена. Впрочем, не каждый час, а только когда Господь нашепчет что-нибудь со своего вселенского разума и окропит своей чистой совестью...

Л а д а . Продолжай, продолжай. Повтори, что это я тебя окрутила, женила на себе насильно... Потерянная, обеднев-



шая слободская мама с ребенком, обитательница общаги. А ты вывез меня из подвала прямо в отдельную квартиру в центре города, разрешил работать неполный день, сам же приносил каждую копейку гонорара, когда редакции изволили платить... не пил, не курил и по бабам не ходил.

С т а с . Что не ходил по бабам, я не говорил.

Л а д а . Ну вот...

С т а с . Была бы дома уютная блядь, разве мужик пошел бы налево получить недополученное?

Л а д а . Опять материшься!

С т а с . Продолжай: «А вот первый мой, Алекс, не матерился»...

Л а д а . Да, первый мой не матерился.

С т а с . И не пил...

Л а д а . Пил посильно, в свою меру. Так он же был в группе, в джаз-банде, то трубач, то ударник. Как не пить? Такая работа...

С т а с . И по бабам не ходил? Даже приводил домой. Весь квартет с квартетом телок. Когда ты на работе, они раздевались догола, пили, наигрывали буги и рокки и предавались чорт-те чему!

Л а д а . То я лишь однажды застала, о чем я тебе рассказывала. Дура, что рассказывала. А в остальном – он был сельский парубок, как с картины классика...

С т а с . Зато ты с ним обращалась, как с дворовым...

Л а д а . Откуда такие данные?

С т а с . Отчего же он, уходя, крикнул: «Ты мне жизнь отравила!»?

Л а д а . И это ты почерпнул из моих слов... Дура, дура, пересказала!..

С т а с . Разумеется. Но я тебя не выпытывал.

Л а д а . Ты – подлец! Ты с самого начала первый откровенничал со мной, явно провоцировал и меня на откровен-



ность. Это твой способ собирать житейский материал для журнальных пасквилей. Влезть, втереться в люди, а потом вывезти, беспардонно, наголо! А я, простушка, забыла стыд, рассказывала интим...

С т а с . Я поначалу не собирался далеко заходить с тобой, потому – начистоту.

Л а д а . С чего бы это не собирался? Под тридцать балль-завских лет я смотрелась как огурчик.

С т а с . Помидорчик! С первого же «здравствуйте» пригласила пообедать к себе в общагу. И пританцовывала, и выпрыгивала на подоконник, вроде бы полить цветок, а по сути – показать себя с тыльной, с выгодной стороны.

Л а д а . Можно подумать, ты вел себя церемонно! Прихлебывал и чавкал – редкий специалист, интеллигент в третьем поколении! Ты после первой же рюмки заиграл на губах «Прощание славянки», да еще потом принялся отбивать такт вилок и ложечкой по столешнице. Вел себя так, словно мы были женаты двадцать лет и я давно привыкла к твоим прибабасам.

С т а с . С первой рюмки я хмелею. Непьющий. И потом – от смущения...

Л а д а . И от смущения заглотнул все мои да и моей малышки запасы сосисок и картофеля – заготовки на три дня вперед.

С т а с . Да, я и жевал так бойко от смущения и... страсти.

Л а д а . Три дня не ел?

С т а с . Три дня не ел и три месяца бабу не имел. Кусал и жевал окорок Буша, вроде грыз и глотал твою ляжку.

Л а д а . Ах вот почему ты распространялся о перспективах! И хату вскоре получишь, и по должности уже в конце квартала выпрыгнешь!

С т а с . Так я же синекуру и впрямь получил в конце квартала...



Л а д а . А хату? В конце пятилетки?!

С т а с . Наговариваешь! Через год, но получил же. И дочку твою выучил, и в гимназии и в университете.

Л а д а . Она сама выучилась. Ты только при сем присутствовал. Она тебе была по барабану – чужой ребенок...

С т а с . Да если хочешь знать, я окопался у вас в общаге только ради нее.

Л а д а . Новости!

С т а с . Я присмотрелся – славное дитя, кукольное личико, балетная фигурка, умненькая. Думаю, не приведи Бог, всю жизнь мешкать будет с одной мамой в бараке, среди пьяных работяг, мыться по очереди в мужском душе, бегать в туалет за дом! Гляди, под пьяную руку пролетарии изнасилюют еще в тинейджерах. И вообще – пройти девочке всю дорогу мамы, избави Бог!..

Л а д а . А какую такую дорогу я проходила?

С т а с . Ну, бедность, одиночество... хваталась за одного, за другого. А «кобели на раз» ценили свежесть и фигурку ровно столько, на сколько прихватывали дамочку с собой в отпуск, на курорт. Поматросили и – бросили. Я видел – женщина в отчаянии.

Л а д а . Из чего же это ты сразу увидел отчаяние, нахал?

С т а с . Так со мной же пошла по накатанной привычке – во второе же свидание. «Я сама, я сама разденусь»...

Л а д а . Ах ты ж неблагодарный! Я приняла тебя за современного, без комплексов, типа – из-за бугра. И не думала, что ты надолго удержишься, на пятнадцать лет, а в подстарках ударишься в воспоминания. Да я тебя просто пожалела.

С т а с . Пожалел волк кобылу и оставил хвост да гриву.

Л а д а . Это я волк? Ты посмотри на себя – в два раза крупнее моего.

С т а с . Это смотря что замерять.



Л а д а . Похотливый старик!

С т а с . Фригидная старушка!

Л а д а . Упрекай, упрекай меня моими недомоганиями.

С т а с . Какие недомогания? Лечение для тебя – всего лишь хобби. Услышишь по радио, увидишь по телевидению рекламу снадобий, тут же тянешь денежку и покупаешь. Тянешь из моих натужных приработков.

Л а д а . Я получаю кое-что сама!

С т а с . Твоих заработков хватает лишь на дневное питание субтильной и экономной домохозяйке. Даже на оплату коммунальных услуг не остается.

Л а д а . Упрекаешь куском?

С т а с . Отнюдь. Именно и только на кусок тебе своего и хватает. А принарядиться любишь... Но это – Бог с ним. А твои постоянные эксперименты со снадобьями да витаминами хребет мой вскоре переломают.

Л а д а . Хам ты... Самый большой хам среди всей вшивой творческой интеллигенции!

С т а с . Зато твой Алекс был воплощенным джентльменом.

Л а д а (*сияясь уязвить*). Кстати, прошлой ночью он мне снился. Аккурат под пятницу.

С т а с . Суеверие – еще один твой комплекс. «Под пятницу сны вещие, сбываются». Не мирились ли вы с ним на радость трудящимся?

Л а д а . Не кощунствуй! Он снился мне больным.

С т а с . А ты его выхаживала.

Л а д а . Ты что, этот сон смотрел вместе со мной?

С т а с . Это единственное, что я еще могу делать вместе с тобой.

Л а д а . Импотент!

С т а с . Не понял?!



Л а д а . Повторяю: импотент!

С т а с . Повторяешь и полагаешь, что ты меня сим оскорбляешь?

Л а д а . А что, и это тебя уже не прошибает?

С т а с . Я достаточно не стар, опытен и прочее, чтобы понимать, что в хороших женских руках мужчины импотентами не бывают.

Л а д а . И тут моя вина?

С т а с . Разумеется. Когда мы начинали на этом нежном поприще, ты трудилась, как на конвейере, а теперь... ручка притомилась, уста не разомкнуть. Кто из нас импотент?

Л а д а . То, что ты говоришь про орал да анал, я за собой не припоминаю.

С т а с . Напрягись, напрягись. Я осязательно припоминаю. А до меня не в одной душе ты оставила восторженные воспоминания!

Л а д а крепко бьет С т а с а по голове. Завязывается драка.

Л а д а . Мерзавец! Мою искренность превращаешь в сплетни!..

С т а с . В ласках, в орале я не вижу ничего сверхъестественного!

Л а д а . Это для вас, пошляков!

С т а с . Да все мне знакомые семьи живут так...

Л а д а . Врешь, врешь!

С т а с . Да пошарь в Интернете!

Л а д а . Интернет – свалка мерзостей!..

С т а с . А наш собственный опыт?

Л а д а . Вон! Вон! Чтобы я тебя больше не видела!

Они разбегаются по углам, усаживаются, сопят.

С т а с . Не понял. Ты меня отпускаешь?



Л а д а . Не отпускаю, а выгоняю.

С т а с . Пардон, из моей собственной квартиры выгоняешь?

Л а д а . Квартира числится на мне. Я за нее плачу, я ее убираю, ремонтирую.

С т а с . Едри твою мать! Это я, олух царя небесного, первую свою квартиру переписал на первую жену – и лишился крыши над головой. И вторую переписал на тебя? Ё-моё, за халтурами и не заметил...

Л а д а . Олух он и есть олух! Да тебе просто лень и некогда за дурацкими твоими писаниями опекать квартиру! Ты и зарплату, и гонорары получать свалил на меня. Занят, видишь ли!

С т а с . И куда же мне теперь? В мэрию под забор?

Л а д а . Ты властям нужен, как собаке пятая нога. Как мне нужен! Но когда отбросишь копыта, я непременно приду убедиться... Кстати, весь читающий город придет... не проститься с тобой, а убедиться, что отошел благодетель и некому больше публично капать на мозги согражданам.

С т а с . Капать? Читают же... Как только мой опус в журнале – номер нарасхват. И на моем напишут пьедестале: «Грешил он много, но его читали!»

Л а д а . Недоброжелателей у тебя много, потому разбирают, чтобы не попал навет на глаза другим, их недоброжелателям.

С т а с . Так и другие издания просят у меня материал...

Л а д а . Хвали меня, моя губа, не то раздеру до ушей! Иди, иди, посмотрим, какая дура тебя еще приютит.

С т а с *(принимается нервно смеяться)*. А и правда, в этой жизни я не обзавелся ни одним адресочком, куда мог бы спрятаться. «И нет за гробом ни жены, ни друга»...

Л а д а . Натура такая неуживчивая. Принципы твои пропащие: называть вещи своими именами, все помнить и здо-



рово увязывать двумя перевесами в своих паршивых писаниях. Вот и получай – что посеял, как ты говоришь, в этой жизни, то и пожни в следующей жизни.

С т а с . укладывает свои нехитрые вещи – бумагу, ручки... Л а -
д а . вдруг вынимает из шкафа его белье – бросает на стул.

С т а с . А как же компьютер?

Л а д а . Ты, что ли, купил его?

С т а с . Не купил. Выиграл на конкурсе на лучший паск-
виль.

Л а д а . Пасквиль! Это единственное, что ты умеешь здо-
рово лепить. Сплетник!

С т а с . «Только из сплетни кое-что узнаешь о человеке».
Генри Джеймс.

Л а д а . Ты всегда был богат чужим умом.

С т а с . «То, что дураки называют сплетней, есть единст-
венный способ кое-что узнать о своем крае». Стендаль.

Л а д а . Стендаль такой же пошляк, как и ты. Только ис-
торики на нем хорошо кормились и раздули его славу.

С т а с . уже хохочет, садится с носками в руках.

С т а с . Послушайте, мадам, за что вы меня так отчаянно
ненавидите?

Л а д а . За то, что ты все помнишь и грубо называешь
вещи своими именами. За то, что к старости я хочу забыть
свое... ну, всякое там прошлое, а ты вывозишь наружу – и
свое и чужое. Про меня под псевдонимом. Это что, род ма-
разма или месть за неудавшуюся житуху?

С т а с . Куда же мне теперь и впрямь?..

Л а д а . К сыночку своему, за кордон, в Моравию.

С т а с . Языков не знаю, как говорил Чапаев.

Л а д а . Но главное, тебя там сильно ждут!



С т а с . Не ждут. Сыну я все его детство внушал: «Дорогой, не походи на отца. Будешь верить в идеалы, невезуха от тебя не отступится».

Л а д а *(бросает в него бельем)*. Давай, давай!

С т а с . Что – «давай-давай»?

Л а д а . Складывайся и сматывай удочки.

С т а с . Спешешь.

Л а д а . Боюсь, заболтаем конфликт и... останешься. Было такое, не раз.

С т а с . Нет уж...

Л а д а . Так что же ты сидишь?

С т а с . Присел перед дальней дорогой.

Л а д а . Дальней – это куда?

С т а с . А черт его знает.

Л а д а . Ну, тогда – счастливой дороги!

С т а с . Благодарствуйте.

Л а д а . Вставай, вставай.

С т а с . Компьютер все-таки... Соска моя. Не буду писать – с ума сдвинусь.

Л а д а . Ты и так сдвинут.

С т а с . Побить тебя, что ли, на прощанье?

Л а д а . Руки короткие.

Он резко подходит к ней. Она его сильно бьет. Он садится.

С т а с . А говоришь – вдвое меньше меня...

Л а д а . Вставай.

С т а с . Компьютер бы...

Л а д а . Устроишься, черкнешь адресок, я тебе его пришлю.

С т а с . Не обманешь?

Л а д а . Я тебя когда-нибудь обманывала?

С т а с . Обманула лишь однажды, но сразу и навсегда.

Л а д а . Это когда это?!



С т а с . А когда с ходу присосалась, глазами ела, подхихкивала на всякую вялую остроту. В постели корчила профессионалку...

Л а д а . Мерзавец, врешь!

С т а с . И хватило тебя, пока мы расписались и я получил большую квартиру, и – да, дурак, переписал на тебя все права!

Л а д а . Джентльмен! Голубая кровь! Только читатели и принимают тебя за интеллигента. На бумаге ты аристократ, порода! А в быту – слободской хам. Хамло! Вон! Вон!..

Л а д а выбрасывает пожитки С т а с а за дверь. Выталкивает супруга.

Полгода спустя

Кое-как накрыт стол. Суетится легкая, как девчонка, Л а д а . На ней простенький сарафан, передник, волосы заплетены в косички – типичная сельская красавица на выданье. Входит неопрятно одетый мужчина, с забинтованной головой, с торбой из мешковины на плече, – типичный скотник из глубинки – это А л е к с . Л а д а отстраняется, странно смотрит на вошедшего.

А л е к с . Я это – сюда или... не того?

Л а д а . Простите, вам кого?

Она берет со стола ломоть пирога, заворачивает в салфетку и несет вошедшему.

Вот... угоститесь... там, в подъезде...

А л е к с (*подает телеграмму*). Я вот... Сосед Севченко из Балашовки передал... Вроде бы приглашение.

Л а д а (*берет телеграмму, читает, прыскает*). Ой, Алекс? Не узнала! Прости. Меня предупредили, что ты будешь сегодня к ужину. Видишь, я приготовилась, жду тебя... но в таком виде!..



А л е к с . В каком таком виде? Привычное дело...

Л а д а . Замнем! (*Пританцовывая, идет ему навстречу, напевает.*)

Хоть поверьте, хоть проверьте,
В эту ночь приснилось мне,
Что за мною принц приехал
На серебряном коне...

Ну же, ну, поддержи на два голоса! За годами и заботами забылась наша молодая песенка? Или ты не в форме?

А л е к с (*не в себе, туго соображает*). Я нет.... давно в рот не беру...

Л а д а . Ну, здравствуй, здравствуй, Алекс! Сколько лет и зим не виделась. Через третьи руки передавала тебе, будешь в городе – заходи.

А л е к си не курю.

Л а д а . Сущий ангел во плоти! Деревенская жизнь на тебя положительно влияет, приятно посмотреть. Садись к столу. Дай стяну с тебя курточку. (*Брезгливо раздевает гостя, выбрасывает куртку в переднюю.*) Замнем. (*Наигранно веселится.*) Помнишь вашу хохлацкую песенку:

Ой продала дивчына курку
Та купыла козакови куртку.
Куртку за курку купыла –
Вона його дужэ любыла...

Это про нас с тобой когда-то. Сколько всего съедобного из Балашовки, от мамы, я привозила и тогда, по бедности, обращала здесь в одежонку для тебя. Выводила деревенщину в люди.

А л е к с (*дурковато смеется*). Ты меня выводила, выводила в люди, а я все тянулся из людей – в Балашовку, к гурту.

Л а д а . Не скажи, в институт я тебя впихнула, даже один курс до конца вместе домучили, ты в группе лабал на трубе, бил в барабан. Чего мне все такое стоило! (*Газетой накры-*



вает стул.) Что ты стоишь, как чужой? Садись. Вот на этот стул...

А л е к с . Может, с порога... Ты звала меня, хотела что-то передать туда, в Балашовку, маме?

Л а д а . С мамой я связываюсь мобилкой, купила ей. И в гостях она у меня бывает на святцы. От нее я кое-что знала о тебе, хоть ты и переехал в Люборадовку. Мне нечего в Балашовку передавать.

А л е к с . Так меня же зачем позвала?

Л а д а . Ну, как же, восемнадцать лет, больше, не виделась. А тут сон уже который раз приснился, вроде ты заболел...

А л е к с . Восемнадцать лет не вспоминала, а тут вдруг приснился...

Л а д а . К старости душу заполняют воспоминания юности. Садись. *(Поправляет газету на сиденье.)* Вот на этот стул садись. Что у тебя с головой?

А л е к с . Шоферил. Врезался в лесополосу. *(Тяжело усаживается.)* Только то было в последний раз... в рот не беру, закодировала знахарка.

Л а д а . Давай угостимся, потом расскажешь, как тебя закодировали.

Наполняет его тарелку, он не знает, как начать есть.

А л е к с *(щупая вилку, ножик, меняя приборы в руках)*. Стыдно рассказывать, такой врач нахальный. Да ну его...

Л а д а . А мы выпьем по маленькой – осмелеем.

А л е к с . Так я же...

Она наливает, он берет, отворачивается, осушает рюмку. Она не спускает с него глаз, тоже растеряна, наливает вторую.

Л а д а . Рассказывай, рассказывай.

А л е к с . Коновал, а не врач, лазил в жопу, вшивал пузырь суровыми нитками. Три дня до ветру не того...



Л а д а . Подробности не обязательны.

А л е к с . Ты спросила, я рассказываю. Мы же, говоришь, не чужие.

Он тянется к бутылке, она перехватывает.

Л а д а . Успеется! Закусим по первой.

А л е к с . Да, я только наперсток. А курить бросил – отвожила баба, старая-престарая, аж с третьего села, с Коновязи. Ромка дошел до ручки тоже... Помнишь Ромку Налыгача, что Гашку Веретельникову держит?

Л а д а . Нет... Впрочем, помню, пусть так, помню... И как же? Но ты жуй, жуй.

А л е к с *(смачно жуя, в то же время говорит, теряя куски из рта)*. У Ромки телега, «Москвич», так он повез и себя, и меня. Еще Куцый напросился. Так эта ведьма из Коновязи вроде бы отвернулась от нас, а сама так, чтобы мы видели, намешала в самокрутку кизяка с махрой, плюнула от себя и прикурила. Цигарка скворчит, как сковородка, – и повело... мне в рот: соси, служивый! Принудила нас выкурить по полной цигарке. Шептала, пока мы сосали говно, била нас головами о стену. Когда мы совсем отключились, ведьма полила наши головы студеной из криницы... а открыли глаза – велела повторять за нею клятву. А потом сказала: три дня вас будет тошнить, выворачивать кишки, а потом, если закурите, подохнете... Во как! Мы три дня не только рвали, но и срали в рожок...

Л а д а отрыгивает, хватается за горло, выбегает на минуту за дверь. В это время А л е к с наливает и воровски выпивает рюмку, алчно жует. Вернувшись, Л а д а наливает себе и ему. Она пьет молча, пьет и он, пользуясь ее замешательством.

Л а д а . Давай про наши первые дни в последнем классе... Помнишь, как я первой подошла к тебе – пойдём на лужок?



А л е к с . Ты была на класс старше, уже титьки торчали и меж ногами ныло...

Л а д а (*про себя*). Фу! (*Весело.*) Первые лирические настроения. Учила тебя танцевать в кругу. Помнишь?

А л е к с . А я по ногам тебе топтаться...

Л а д а . А как я к тебе в Севастополь, на службу, приехала. Ты – матросик такой был в форменке, subtilный. Приятели нашли ночлег для двоих, а мы не расписаны. Матросик жаловался: дают снадобья, чтобы молодежь не бесилась без девок. А я: «Давай распишемся тут же, на флоте». А матросик: «Доложу по начальству, разрешит ли?» А я: «Без регистрации я не смогу». А матросик: «Зачем же приезжать было? Издеваться? Зачем ночлежка?!» А я: «Потерпим до завтра. Подадим заявление в Загс – тогда и...»

А л е к с (*подогретый сексуальной бьялью*). А он что?

Л а д а . А он хватал меня за все места.

А л е к с . И ты ему дала?

Л а д а . Кому «ему»?

А л е к с . Ну, тому матросику!

Л а д а . Так это же был ты.

А л е к с . Я? Говори!

Л а д а . Ты что, такое – и забыл? Алекс!

А л е к с . А было ли? Не помню.

Он берет бутылку, она выхватывает у него из рук.

Л а д а . Ну-ну, переберешь.

А л е к с . Не мучай... (*Весь дрожит.*) Видишь, вернулось... вот – в руках дрожь, во всем теле... Налей.

Она налила, он выпил, крикнул, ему легче.

Говори, говори.

Л а д а . Да нет, если светлая лирика тебе чужда, прости... Забыл самое главное в жизни.



А л е к с . А чего главное в твоей жизни?

Л а д а . Ну, брат, так меня еще никто не оскорблял!
(*Сердито ходит по квартире.*)

А л е к с . Эти городские, чуть что – оскорбил! Я что тебя – мордой об лавку или среди твоей хаты навалял?

Л а д а (*вдруг захохотала*). Нет, таки здорово, что Господь нас вовремя развел.

А л е к с . Чего ты, полоумная?

Л а д а . Ты выпил, поел? Я вот немножко о тебе позабочусь, и мы – квиты. Ты не обидишься, если?..

А л е к с . Чем ты еще можешь меня обидеть?

Она открывает шкаф, достает рубаху, костюм.

Л а д а . Вот, совсем ни к чему в моем доме. И мало ношенный... и рубаха. (*Прикладывает к нему.*) Примеришь, будешь носить. Бери.

А л е к с (*растегивается*). Полоумная... примерь! И так видно – по мне.

Л а д а (*приседая от смеха*). Ты совсем, совсем обнажи свое хозяйство!

А л е к с . А твой что скажет? Нагрянет, увидит меня голого?!

Л а д а . У моего – глаза вперились в другую сторону. Разве что боковым зрением...

А л е к с . Он у тебя что, косой, что ли?

Л а д а . Темный ты мужик, Алекс. Мой закопался в свою житейскую фантазию, оторвался от меня, потому – глух и нем.

А л е к с (*укладывая вещи в свою торбу, застегивается*). Что это тебя ведет на юродивых? Так твой больший урод, чем я, еще и глухой и немой?

Л а д а . Что тебе до него? Дают – бери.

А л е к с . У меня и башмаки прохудились... От твоего не выделишь?



Л а д а (*потешается пуще прежнего, хохочет, лезет в нижний ящик*). Дорвался – если мед, так уж и ложкой! (*Бросает к его ногам башмаки.*) Вот, только новенькие и есть. Возьмешь?

А л е к с . К новым не привык. Не надо...

Она наклоняется за обувкой, он перехватывает башмаки, прячет в торбу.

Ладно, ладно, возьму, а то еще обидишься – зазнался, мол, мой бывший. Я того, еще закушу, а ты поройся, гляди, чего-нибудь еще не досмотрела от твоего. Что Бог даст, я все в торбу.

Л а д а находит носки, майки. Вдруг садится с вещами в руках.

Л а д а . Алекс, постой. А что это ты ни слова не спросил об Але?

А л е к с . Об Але? А что это за одна?

Л а д а (*поначалу размеренно, театрально*). Ах ты ж мерзавец! В твою честь назван ребенок, без тебя возвращен...

А л е к с . Постой, постой ты, не части. Это твоя, что ли, Алина?

Л а д а (*исподволь заводится*). Моя? И твоя! Ни копейки алиментов не присылал, сама вытащила ребенка – сколько трудов и унижений! Так хотя бы теперь вспомнил, волокита!

А л е к с (*пряча пожитки за спину*). Чего ты, чего завелась? Было так все миром, ладненько. Из чего я собрал бы тебе алименты? Из-под бычьих хвостов или от бензина из бака? Так от быков мне на жратву не хватало, а пересел на «газон», так это когда-то бензина было – залейся, в кювет сливали, чтобы ходки на станцию приписывать. Бензин тогда был – рупь стоил, только на самогонку водилам... А теперь, слыхала? Подорожал бензин, и меня снова поперли в скотники.



Л а д а . Карьерист ты у меня, Александр! Первый парень на селе! Поди, не признавался, что детки по свету раскиданы?

А л е к с . Уймись, сильно городская стала – на село тюкать! Да я толком и не знал про твою Алю. В сельсовет звали, заранее брал флягу, а там выпьешь с секретарем – он и потеряет повестку дня... про твою Алю...

Л а д а . Опять «твою Алю»? Не вместе ли мы ее тачали, пьяная ты морда?! Кукушка паршивая, тряпка, которую и половой-то назвать не сподобишься! Ан-ну, мотай отсюда, а то я тобой не согреюсь! Дуй – ей-богу, заберу манатки мои обратно!

Л а д а выбрасывает мешок А л е к с а за дверь, выталкивает самого гостя. Слышно, как хлопает дверь, скрежещут замки. Л а д а вбегает в комнату, падает на диван и громко рыдает. Потом берет мобильный телефон, набирает номер.

Л а д а *(весь монолог ведет с рыданиями на разные лады)*. Аля, дочка, ты? Приветик... Да ничего я не рюмсаю, легкий насморк... Да, плачу. Врагу не пожелаю, после городского общества, хоть и задрюпанного, но все же... вдруг – полное одиночество. Да, на нем держался наш круг. Я не раскаиваюсь, не жалею, не зову, не плачу, но факт есть факт. Одна... Да на черта мне эти подтоптаннные, испытые кавалеры. Только что выперла очередного. Да ты его не знаешь. Твой родной отец. А у вас все о'кей? На море? Смотри, внучку не простуди. Вечно возвращаетесь с простудой. А то еще вирус схватите. Да ничего я не предсказываю. Да ничего я не плачу! Не уродился еще тот самец, ради которого бы я плакала... Ладно, поговорили... В дверь звонят. Берегитесь на море... Говорю, в дверь соседи звонят!

Понятно, никто не звонит. Поплакав еще, Л а д а наливает себе рюмку, пьет, включает телевизор. Слышна танцевальная музыка. Она успокаивается. Вдруг подает свою мелодию мобилка.



Ла да (приободрившись, чистым звуком говорит в телефон). Юта? Ой, не ждала, приветик! Давно не звонила... Какие такие сверхновости? Появился кто? Аллан Юрьевич? Тринадцать лет ни слуху ни духу. Бежал при первых признаках свободы, причем – за тридцать земель, в Новую Зеландию. Нашел, прохиндей, страну, где ни перемен, ни кризисов – земной рай! А ведь был парторгом крупного завода, марксист-активист... Ну, он и со мной, и с тобой был любезен. Кажется, сначала с тобой, потом со мной. А еще с кем – тайна за семью замками и покрыта мраком неизвестности, как все у настоящей номенклатуры... Что поделаешь – мужик с верхней полки! Ну да, ну, что мы рекомендуем его друг другу? Не по сенькам шляпка! Нас с тобой удостаивали готовить междусобойчики для элиты у него на даче. Разумеется, и вниманием не обходили – когда-то и мы были рысачами... (Вдруг брызнула чувством, запела.) «Пара гнедых, запряженных зарею... пара гнедых»... Ты до замужества, я после развода – молодые, легкие и востребованные. Да, теперь и ты, и я – соломенные вдовушки, но еще в форме. Так зачем Аллан Юрьевич на родину явился? Не всех еще обобрал здесь и не все вывез? Я не хамлю. Кто сейчас не обкрадывает нэньку Украину... Да? Аллан Юрьевич обо мне спрашивал? Польщена! Ты дала ему мой телефон? Спасибо, только к чему? Он весь в поисках, а я тут при чем! Впрочем, погоди... погоди... Его телефон? Не надо. Сам позвонит, если вспомнил. Ладно, покалякаем, вспомним нашу с тобой молодость и его первую зрелость. Нам по двадцать шесть, ему под тридцать пять, мы мелкие клерки, он – гроссен пурес... Ну, ты даешь! Да брось... паясничаешь! Если случится что-нибудь интересное – позвоню. Ну, будь здорова и не злоупотребляй витаминами!

Ла да отключает телефон, явно оживает, беспредметно посмеивается, напевает все громче и громче.



Еще два дня спустя

Л а д а наряжена гран-дамой: макияж и прическа от дорогого визажиста, платье из столицы, туфельки на шпильках. Стол накрыт роскошно. Звучит нежная музыка. Л а д а выносит гитару, пристраивает ее на стуле, прикидывает что-то в уме – переносит инструмент на диван, потом решительно подвешивает на самом видном месте. Красивая мелодия от двери. Л а д а открывает. Входит А л л а н Ю р ь е в и ч , respectable мужина, с большим букетом цветов.

Л а д а . Ждала, ждала, и все же так неожиданно!

А л л а н . Здравствуйте. *(Передает цветы.)* А вы смотрите, как выразился классик: тридцать пять как двадцать пять...

Л а д а . Сорок три.

А л л а н . Сорок три, как двадцать три.

Обоюдный счастливый смешок.

Л а д а . Сразу прошу за стол. Выпьем – в глазах прояснится. Помните ваши молодые стихи под гитару:

Мне показалось, ты пришла –
И в нашей жизни прояснилось.
Но оказалось, ты мне снилась
И рядом вовсе не была.

А л л а н . Я такое напевал?

Л а д а . Не только напевали, но и сами сочиняли.

А л л а н . Боже, как время уносит от нас все лучшее!

Усаживаются, он по-джентльменски наполняет фужеры.

Л а д а . С приездом вас.

А л л а н . Прозит. Впрочем, лучше, как у вас, на Украине: будьмо – гей! Или лучше, как говорят молдаване: будем людьми!



Л а д а . По-новозеландски вы еще не поднимаете фу-
жеры?

А л л а н . По-новозеландски – это по-английски. А ост-
ровной местный народец, маори... не то что украинцы...
маорийцы за свою культуру, за свой язык не держатся. Они
из кожи лезут, чтобы породниться с завоевателями, при-
нять их язык. Все перенимают от Великобритании, даже
королева Елизавета у них на деньгах.

Выпили, разом вздохнули. Она счастливо смеется.

Л а д а . Что вздыхаете? Не полную неделю побыли дома
и уже заскучали по чужому краю?

А л л а н . Отнюдь. Я там сильно вздыхал и тосковал по
нашему захолустью.

Л а д а (*вперившись в гостя взглядом*). Лучшие общие
воспоминания приходят, когда двое от души помолчат.

А л л а н . Узнаю вашу прежнюю мудрость.

Л а д а . И я все пробую узнать вас прежнего.

А л л а н . Трудно узнать во мне прежнего бонвивана.
Слегка состарился, открыл в себе страстную привязан-
ность... к родным пепелищам и к отеческим гробам – снова
же, как выразился классик. Там я вдруг понял, что такое
ностальгия. Даже о рифмах вспомнил и о напевах...

Поднимается, берет гитару, два-три аккорда и – поет:

Бесконечная ночь у бессонницы,
Тишь, безмолвье страшнее, чем вой.
Как глазницы, зияют оконницы,
У изножья сидит домовый...

Л а д а . Такая печаль? А говорят, красотища на больших
островах, да и на малых, неопикуемая! Говорят, люди там
не знают голода, холода, порядочны до того, что коррупции
нет. Ни армии, ни пограничников в стране!



А л л а н . А вот таможня жестокая. Особенно к тем, кто появляется со стороны рашен. Для них что украинец, что татарин или молдаванин – все рашен. Мы – люди не пунктуальные, не компетентные, ленивые, бражники, луны... в общем, наш менталитет на ладони у каждого новозеландца.

Л а д а . А как же вы окопались там?

А л л а н . Сыночек у меня, единственный и гениальный: прошел все кастинги, принят в электронную фирму и ценится высоко. Ну, за ним и меня впустили. Вот я и ностальгировал в Божьем раю столько лет. Мог умереть.

Л а д а . Читала где-то, что миллиардерша в Америке, умирая, сказала... Не как Пушкин: все, жизнь кончена... Не как Гете: больше света! А вот что: «А в Новой Зеландии я так и не побывала!»

А л л а н . Все правда. И моя супруга... теперь бывшая, и мой единственный сынок приросли душой и нравами к той земле. А я вот – домой, к мусору, ко лжи, скуке и глупости!.. Смешно, но только тут я себя чувствую искренне, ясно и понятно.

Л а д а подает ему фужер, пьет сама. Принимается хохотать.

Л а д а . Вашу чужбинную тоску я испытываю на родине. У меня ведь тут тоже все бывшее. Да, впрочем, Юта вам кое-что порассказала обо мне.

А л л а н . Юта – воспитанный человек. На мои расспросы о вас, да и о других не забытых женщинах, теперь одиноких, она отвечала: загляните к ним, они о себе вам расскажут больше и лучше. Вот и рассказывайте.

Л а д а *(вдруг сурово)*. А мне к тому, что вы увидели первым взглядом, и добавить нечего. Вот тут я вся и все мое со мной.

А л л а н . Это, понятно, узкий круг внимания. А широкий, так сказать, свой широкий круг... Общение, скажем, межполовое?



Л а д а . В том векторе я заблокирована.

А л л а н . Что так?

Л а д а . Четырнадцать лет была супругой самого креативного писаки в крае. Рауты, презентации, пусть наши, убогенькие, однако на всю губу и на полную огласку. Общество знает меня в лицо. Теперь не выйдешь и на юру не навяжешься приглянувшемуся партнеру. А то, что подкатывает само, – не стоит трудов. Вкусы обострились и с годами и под влиянием, хоть и подонка, но одаренного писаки. Вы же читали моего Стаса?

А л л а н . Яркий и категоричный мужик. Наш режим он не принимал, я полагал, теперь он сподобился...

Л а д а . Он, как Солженицын, и то и это – не его идеалы.

А л л а н . Да, жить с известным фрондером и не быть замаранным – проблематично. И вы теперь притерпелись к одиночеству, смирились?

Л а д а . Отнюдь. Коплю страсти, жду своего часа, чтобы взорваться. (*Поднимает фужер, он следом за нею.*) Поднимем бокалы за наши лучшие воспоминания. Я ведь вижу вас молодым руководителем, хозяином жизни. Смотрите свысока, к вам тянутся, вас даже боятся. И при всем том – молодой начальник обаятельный до чертиков!

А л л а н . А вас я часто вспоминаю только наедине... со мной, в самых изящных проявлениях души... и тела. Вам всего двадцать шесть, потом в день вашего рождения – двадцать семь лет. Всего... (*Берет гитару, трогая струны, красиво мычит в нос и глухо говорит.*) Каждую из наших единичных встреч помню в деталях. Вы – вечная, при том начинающая – девчонка. Ручки за спину, лицо в отворот и частое-частое дыхание, не поймешь – от желания или от обиды.

Л а д а . Вы даже сердились, едва прятали гнев.

А л л а н . Для начала, для случайных встреч, возможно, это и прием! А как в семейной жизни?

Л а д а . Ну уж – прием! Такой уродилась.



А л л а н . Надеюсь, постепенно выросли, стали хозяйкой своих желаний?

Л а д а . Выпьем, что-то у меня не клеится. Говорят, вино развязывает язык.

Выпили, встали. Вступает тихое танго. Они танцуют. Поначалу мечтательно, медленно, потом все быстрее, наконец – страстно. Украдкой прижимаются к дивану.

А л л а н . Лучше однажды испытать, чем сто раз пере- сказать...

Он тянет руку за ее спину, выключает свет. Скрипнул диван. Нарастает кипучая музыка. Слышны ее придыхания, его слова: «Руки из-за спины... Проснитесь... Ради Бога!.. Ты ведь уже взрослая!» Ритмичная, все громче нарастает музыка. Когда включается свет, Л а д а и А л л а н сидят по обе стороны стола. На ней толстый халат, у него ворот расстегнут, рубаха плохо заправлена, у обоих прически порушены. Он весь преображен, его движения свободны, манеры дерзки, голос хозяйский.

А л л а н . После трудов праведных люблю закусить. А ты?

Л а д а . Ты разом, одним махом обжил и мою хижину, и меня.

А л л а н . Рубикон. Решишься, переступишь водораздел – и жизнь упрощается.

Л а д а . Юлий Цезарь.

А л л а н . Всякий смертный моего пола в минуты интимной победы возвышается до Цезаря.

Л а д а всплакнула. Он холодно ест, словно ничего не случилось. При этом хватает обеими руками, чавкает. Л а д а рас- смеялась.

А л л а н . Ты что так?

Л а д а . Мужчины так похожи друг на друга. Ни разви- тие, ни внешний лоск не снимают с них менталитет самца.



Где-то слышала... или читала: я откусываю ножку Буша, как бедро женщины.

А л л а н . Павлин дыбит хвост, а тетерев бросается в драку только до того, как курочка присядет. После оперение и клюв нужны только для согревания и принятия пищи.

Л а д а . Я вспомнила первый визит моего Стаса.

А л л а н . Истина, подтвержденная опытом.

Л а д а . Его опыт выходил мне боком более десяти лет.

А л л а н (*вытирает рот салфеткой*). А чтобы этого не случилось, проясним отношения, так сказать, в зародыше.

Л а д а (*с недобрый предчувствием, опережая*). То-то у нас поменялся тон, пришли другие манеры, мы перешли «на ты».

А л л а н . Мужчине свойствен цинизм. Это женщине приличествует молчать.

Л а д а (*с нарастающим раздражением*). Философия – из-за бугра или еще доморощенная, партийная?

А л л а н . Христианская. Не читаем Святое писание, отсюда много промашек в нашей жизни...

Л а д а . Итак, что там, в зародыше?

Пауза. Оба выпили как-то автономно.

А л л а н . Я ухожу на ночлег...

Л а д а . Не останетесь?

А л л а н . Я остановился у Юты.

Л а д а . На весь отпуск на родине?

А л л а н . Я на родину насовсем.

Л а д а . И все время будете у Юты?

А л л а н . Я уже навестил всех хорошо знакомых женщин... Юта – самый приемлемый вариант.

Л а д а . Визиты к другим... «всем знакомым» походили на визит ко мне? Апробация?

А л л а н . Пожалуй, если уж начистоту и без лицемерия.



Л а д а . Одарили визитом и... выбрали. Напролом, грубо, подло... Вы оправдали самую нелестную характеристику наших «рашен»... от новозеландцев!

А л л а н . Что ты кипятышься? Ничего я в тебе не нарушил. Мы знаем друг друга уже пятнадцать лет, и не только наглядно, но и... на ощупь.

Л а д а (*сквозь зубы, сильно*). Уважаемый Аллан Юрьевич, прошу вас – уходите подобру-поздорову.

А л л а н . Ухожу, только я не хотел бы оставлять тебя в растрепанных чувствах.

Л а д а . Вы полагали, что осчастливили меня разовым посещением, и квиты? А может, в душе женщины стеснились обиды на весь мир, на эту «сильную» половину мира?! Может, тут на ваш визит возлагались самые радужные надежды? Может, наша близость – что для вас минутный экзаме́н, для меня – Рубикон. И поважнее, чем для Юлия Цезаря. Может, с уходом супруга я носила власяницу и ждала достойного?.. Могли бы вести себя хоть чуточку деликатней...

А л л а н . Лада! Не перегружай себя большими комплексами. Трудно жить с ними. Дают – бери, бьют – беги...

Л а д а . Образованный, бывалый человек... Да вы – две капли воды мой первый, неотесанный селянин Алекс! Это что, и впрямь непреодолимый наш менталитет? И никакая Европа, никакие райские острова в нас не искоренят хама?

А л л а н . Лада, мы говорим на разных языках...

Л а д а . Потому лучше прекратим! Прощайте!

А л л а н (*шаркая ногой*). До свидания!

Л а д а . Нет! Прощайте. И никогда больше не попадайтесь мне на глаза!

Он плавно отступает к двери. А когда поворачивается спиной, она бросается вперед и выталкивает его прочь. Потом видит его букет, хватает цветы, бьет, как веником, по всей мебели и – за дверь. Падает на диван, рыдает.



Пять лет спустя

В голубом пространстве – только циферблат и стрелки. Волшебная полночь. В глубине звучит серенада Шуберта. Л а д а под слегка откинутым шелковым пологом лежит на разноцветных пуховиках. На ней прозрачная ночная рубашка, на голове – взбитый сноп молодых желтых волос соломенного цвета. У уха мобильный телефон. С т а с на трех неуклюже составленных стульях, с головой на стопке книжек, прикрыт стареньким пальто. На полу три-четыре бутылки и сковородка с остатками яичницы. У уха его – черная допотопная телефонная трубка с толстым шнуром. Они в разных постелях и за полтысячи километров друг от друга. Беседуют эти двое уже далеко не впервые, давно и подолгу.

Л а д а . Я всегда знала, что у тебя все о'кей. Не тот ты человек, чтобы затеряться в людях.

С т а с . В жизни всегда одно накладывается на другое. Добро на зло, зло на добро. Хуже, когда зло накладывается на зло. А любовь просто обязана жить в разлуке. В таком разе идеалы не сталкиваются с реальностью.

Л а д а . Доходы твои явно возросли. Ты же свободен.

С т а с . Свобода – это игра. Дети играют, потому что они хотят этого – реализуют свою волю, свои желания.

Л а д а . Ты навсегда остался ребенком, только теперь – высоко оплачиваемым ребенком. На тебя – стойкий спрос. Почитываем иногда... Впрочем, не стану кривить душой: читаю твое все, что нахожу. На бумаге и в Интернете. Ищу старательно.

С т а с . Журнальный рассказ – сто гривен, газетный – сорок. В журнал берут раз в два месяца, в газету – раз в месяц. Акурат успеваю собрать дельный материал, написать вещь, дать ей отлежаться и потом отделать. На пиво и яичницу хватает.

Л а д а . Теперь принято скрывать свои подлинные доходы...



С т а си выпячивать нищету.

Л а д а . Это в твоих новеллах чувствуется. Почитываем-перечитываем...

С т а с . Спасибо.

Л а д а . У тебя – ни одного лишнего слова, ни одной пустой мысли. А эмоции!.. У художника появилось время почувствовать и подумать.

С т а с . Мы же договорились не смущать друг друга ни похвалой, ни воспоминаниями. Нам сейчас хорошо – и ладно.

Л а д а . У тебя и в быту все о'кей? Понимающая супруга, достаток?

С т а с . Супруга из богатеньких, мой спонсор. Апартаменты – не депутатские, но около того, окружение – бо-монд, разумеется, не выше столичного...

Л а д а . Я рада за тебя. *(Тихонько вхлипывает.)* Извини, насморк прибился.

С т а с . Ты береги себя.

Л а д а . А ты уж как береги себя! Я только для себя, а ты ведь – культурная ценность, для людей. Во всяком случае, для лучшей части...*(Лада начинает рыдать, скрывает всхлипывания зевками)*. Прости, я что-то раззевалась... Прости.

С т а с . Спокойной ночи.

Л а д а . Я могу тебе позвонить в воскресенье?

С т а с . О чем ты спрашиваешь!.. Впрочем, если я не буду на рауте или в заграничной поездке...

Л а д а . Спокойных тебе сновидений... Счастливой тебе дороги...

Над Л а д о й опускается полог, гаснет свет. С т а с укладывается на другой бок – стулья расходятся, он валится на пол. С большим трудом поднимается, нашаривает бутылку, пьет из горлышка. Пятерней подбирает яичницу со сковороды, жует, жует... Звуки серенады усиливаются.



КОМПЕНСАЦИЯ

Действуют:

Лавр Нарцисович – генерал госбезопасности.

Сидор Фомич Куцый – бывший стукач.

Алина – секретарь генерала.

Кабинет начальника СБУ. Лавр Нарцисович оглаживает на себе генеральский мундир, украдкой заглядывает в зеркало. Стук в дверь, генерал прячет зеркало в стол, делает руководящее лицо. Входит Алина.

Алина. Лавр Нарцисович... *(Окидывает начальника взглядом, льстиво.)* Как к лицу вам генеральские погоны!

Лавр. Повышение всем к лицу.

Алина. Отныне вы – господин генерал.

Лавр. Привычней звучало – товарищ генерал.

Алина. И мундир столичный, от кутюра!

Лавр. Алина, на сегодня амикошонства достаточно.

Алина. Виновата.

Лавр. То-то. Ты с чем вошла?

Алина. В который раз к вам просится некий Сидор Фомич Куцый.

Лавр. Фамилию ты мне называла. Куцый, но неумный! Даже увидеть захотелось. Что он из себя представляет?

Алина. Коренной обыватель, три вершка от... с виду запущенный, но по нашим коридорам шастает уверенно. Можно предположить...



Л а в р . Для предположений в службе безопасности есть другие люди. Ты, Алина, иди в приемную и... разреши войти этому коренному и короткому.

А л и н а . Куцоному. Сидору Фомичу.

Л а в р . Предупреди – четырнадцать минут.

А л и н а уходит. Л а в р углубляется в бумаги. Ватными ногами переступает порог невзрачный, убого одетый мужичок. Ему за шестьдесят лет, в руке он держит лист бумаги.

К у ц ы й *(нервничает, преодолагает робость, сипло кашляет, едва начинает говорить)*. Здравия желаю, господин полковник!.. *(Осекается.)* О, вы уже – господин генерал. Как торопится наша жизнь! Ладно, поздравляю с повышением, господин генерал!

Л а в р . Привычней – товарищ генерал. У вас четырнадцать минут. Слушаю.

К у ц ы й . Понятненько. Я телеграфным стилем. Нужно ваше вмешательство. Я хочу получить компенсацию за моральные издержки... впрочем, за материальные тоже.

Л а в р . Я новый человек за этим столом. Напомните, в каком звании вы служили?

К у ц ы й . Я – человек без звания. Вообще.

Л а в р . Но из нашего штата?

К у ц ы й . Нештатный.

Л а в р . Поясните.

К у ц ы й . Я – бывший сексот, секретный сотрудник. Стукач... соглядатай с двадцатилетним стажем.

Л а в р округлил глаза. К у ц ы й снисходительно улынулся.

Л а в р . Сверх ожидания!

К у ц ы й . В наше время многое «сверх». А ожидать следовало. Целая армия нашего брата остается без работы. Врагу не пожелаешь жить в годы перемен.



Л а в р . Повторите ваши претензии.

К у ц ы й . Я требую возмещения моральных и материальных издержек из-за двадцатилетнего подлого служения компетентным органам.

Л а в р . На моем веку такого не случилось...

К у ц ы й . Наш городской отдел образования никогда ни одному человеку, окончившему университет в столице и приехавшему к нам работать... повторяю, никогда не выплачивал подъемных денег и суммы, потраченной на переезд. А мой молодой сосед добился, да не только для себя, но и для своих чад и для супруги. Стучи – и тебе откроют, гласит Святое писание.

Л а в р . Да, Святое писание в наши дни гласит все громче. Только его глас вряд ли касается закоренелых грешников, вроде нас с вами.

К у ц ы й . Намек понятен. Однако раскаявшийся грешник дорогого стоит. Цитата оттуда же, главу и стих запомнил.

Л а в р (*едва держит смешок*). И как дорого оценили вы свой подметный труд, мой почтенный книжник?

К у ц ы й . Вот выкладки. (*Кладет бумагу на стол*.) Подсчитано с калькулятором и квалифицированными консультантами.

Л а в р не берет бумагу, К у ц ы й поддвигает ее к нему ближе.

Лавр Нарцисович, из отпущенных мне четырнадцать минут осталось десять. Не успеете прочесть, я ведь приду еще и еще, мне разум не помеха. Про меня хозяйка моей ночлежки говорит: «В детстве был глуп по возрасту, в юности – гормоны играли, в зрелости прикидывался – дураку у нас легче прокормиться, а в старости – сам Бог велел...»

И рассыпчатый смех с затяжным кашлем.



Л а в р . Убедительно. Верю: придете и во второй, и в третий раз. Но с третьим приходом весь город заметит про вас: тут неспроста, узнает, что вы стучали двадцать лет, закладывали порядочных людей и получали по сорока рублей за пакость.

К у ц ы й . О, если бы я получал по сорока рублей за пакость, я бы сотворил для себя пенсионный фонд, и на кой леший вы мне теперь понадобились бы! А то, было, пакостишь, пакостишь, да все озираешься, как медведь в цирке за ломтиком сахара, а ваш брат – в кои веки кинет на бедность.

Л а в р . Вы же где-то работали?

К у ц ы й . Работал, пока в коллектив не просочилось, мол, Сидор наш бегаёт по явочным квартирам, якшается с компетентными органами. После этого я, как выражаются классики, был окружен стеной презрения. Гнушались меня даже те, кто сам стучал, но пока еще не разоблачен. Пришлось уволиться. *(Сипло кашляет.)* Да, потом долго ходил в поисках другой работы, только недобрые слухи обгоняли меня. Никуда не брали. До независимости, пока ваша контора еще служила пугалом, я мог перебиваться случайным заработком. А в последние двадцать лет – бомжил. Стеклотара, мусорные баки, что почище, отбросы на свалках, снисходительные хозяйки... На сегодня хозяйки со своих пенсий себя не прокормят. Бомжат рядом со мной.

Л а в р *(вздыхает, смотрит на часы)*. И впрямь остается три минуты. *(Бегло просматривает бумагу гостя.)* Грамотно составлено. Кто автор?

К у ц ы й . Ваш покорный слуга. Педагогический институт с отличием. Кстати, одного моего сокурсника блат и круговая порука как-то сразу устроили к вам в штат. Платили здорово, на костюм, на обувь и пальто давали, вместо мундира, значит. Рос в званиях. Теперь почти с вас, то есть не генерал, но полковник, только уже в отставке. Тот же блат и



порука помогли перекочевать в Москву. Во! А у меня не было волосатой руки, я думал, сам через верную службу вне штата – пробьюсь. Самого себя сотворить не сумел, не повезло...

Л а в р (*просматривая лист*). Неполный год постоянной работы в школе... Что же компенсировать? Сон до полудня, вечерние прогулки на свежем воздухе, вольницу? Тунеядство? Хочу – хожу, хочу – сижу, хочу – лежу?

К у ц ы й (*произносит так, чтобы намекнуть на вождения*). Хожу – хочу, сижу – хочу, лежу – хочу! (*Противно хихикает.*) Это если взять мою голодающую физику. Только не забудем, что во всяком, даже запущенном, теле теплится душа, и она тоже чего-то хочет. И чего-то сильно не хочет. Больше всего не хотела душа служить вам, видеть-слышать о вас даже в кошмарном сне. Я не хотел и – служил. Я опрометью втиснулся в ваши кабинеты, а уж вы запугали простака, приобщили к темным деяниям и не выпускали из когтей. Помните, про ястреба и голубя. Чем упорней сизарь трепыхается, чтобы вырваться из лап хищника, тем глубже когти входят в его плоть. И я жил, как сомнамбула. Хотел – чего я больше всего хотел? Собственно, желания были уже не мои. Вы поставили меня в стойку, как гончего на тетерева. Я все хотел наткнуться на дурака, который поносил бы вашу власть, выдал бы гласно или в поступке что-нибудь эдакое, пригодное для вашей прожорливой мельницы. Чего я хочу, когда сижу или лежу? Да хочу, чтобы вы почили во бозе все в одну ночь. Какая экономия была бы для страны! И только об этом думал и думаю. Надо ли было мне, бедному студенту, пять лет зубрить философию и приобщаться к литературным шедеврам? Надо ли было тратить семестры в аудиториях и библиотеках, чтобы потом годы и годы серым волком рыскать по граду и весям – собирать гнусный материал для вас? Вы же требуете приходить к вам не с пустыми руками, притом приходить регу-



лярно, раз, а лучше два раза в месяц. У вас там планы по вербовке стукачей, по количеству доносов. Кто из вас больше накопит, тот дальше пойдет чинами и валютой. А чего мне стоило при свете дня пробираться на явочную квартиру! Вы меняли адреса, потом меняли оперативников, передавали меня из рук в руки, как проститутку по вызову... Но как бы вы ни ухищрялись, соседи знали, что я – стукач, пакостник, мразь. И, хуже, я знал, что они знают. Да и вы не слишком держали меня инкогнито. Вам надо было, чтобы я чувствовал себя испачканным, изгоем, ни на что другое не годным... способным только подпитывать вашу машину и вас с вашими роскошными зарплатами, любовницами на тех же явочных квартирах, с вашим полицейским государством.

К у ц ы й задыхается, сочно кашляет. Л а в р , в пику ему, вдруг хохотнул.

Л а в р . Красиво. Прямо монолог под занавес. Подать воды?

Л а в р подает стакан.

К у ц ы й . Лучше бы чего покрепче...

Л а в р . И это можно.

Достаёт из сейфа бутылку коньяку, наливает. К у ц ы й пьёт.

К у ц ы й . Так бы сразу... *(Указывает себе на грудь.)* Вот тут полегчало.

Л а в р . Значит, бывает и легче? Я попутно подсчитал, что вы прожили на двадцать тысяч часов больше любого своего сверстника.

К у ц ы й . С ума сойти! Это только ваша контора способна на такую бухгалтерию...

Л а в р . Отнюдь. Всякий шахтер, фермер, учитель, да и наш, как вы полагаете, хорошо оплачиваемый паразит по



восьми часов каждый буден окунается в рабочую ауру – видит только штрек, ниву, аудиторию... или вашего брата, стукача. Мир каждого профессионала узок, интересы однозначны, только то, чему обучен и что от него требуют, – автоматизм... Каждый из нас духовно как бы спит еще восемь часов... в продление тех восьми часов, которые рекомендуют нам врачи для ночного сна, повторно. А вы, отоспав треть суток, потратив еще столько же на туалет, семью, иные мелкие заботы и развлечения... получаете еще сорок часов каждую неделю для познания мира, для наблюдений, размышлений. Свободный человек, Сократ, Диоген, Монтень!

К у ц ы й . Это в наше-то время – сократить, диогенить да монтенить? Да слухами, радио, телевидением, вашей благословенной опекой в тощий череп смерда за эти дареные часы вливается столько мути, лжи, мерзости, что без видимых причин в течение года-двух становишься шизиком. Врагу не пожелаешь – быть свободным в нашей свободной стране... Вы хоть поняли, что я сказал?

Л а в р . Понятное очень трудно объяснить.

К у ц ы й . То-то, ваше превосходительство.

Л а в р . Ну-ну, вы хоть и гость, но прошу вас, не переступайте черту.

К у ц ы й . Виноват, товарищ-господин генерал.

Л а в р . Все-таки вы выжили, значит, и у вас были счастливые минуты. А?

К у ц ы й . О, бывали минуты блаженства, только этого не поймет тот, кто не побывал в моей шкуре. Это тоже рецидив шизо... Я даже возвышался душой. Слезы умиления застилали мои слабые глаза. Слезы извращенного счастья.

Л а в р . Да?!

К у ц ы й . Это бывало всегда, когда вы заканчивали экзекуцию на явочной квартире. А я завершал донос: «Источник сообщает, что такой-то, такая-то, в кругу друзей»... И вот когда вы меня отпускали, когда я оказывался на улице,



а лучше – в сквере, подальше от людей, я шел... нет, я земли не касался, парил... Я дышал полной грудью, ликовал...

Л а в р . Поясните.

К у ц ы й . Да я был счастлив, что отныне и целый месяц, в худшем случае – две недели, вы меня не вызовете... Вернее, мне не надо вам звонить, не придется созерцать ваши отборные, холеные, лепные, безжизненные рожи! Я мог пожить среди людей... Но счастье было мимолетно. Я спохватывался – ведь с завтрашнего же дня надо искать, добывать, воровать, сочинять для вас новый и новый материал, подлее и мерзче прежнего. Я человек обязательный, и вы на этом играли: подай всякий раз новое и весомое.

Л а в р . И за эти земные радости вы теперь требуете компенсацию? Вы хорошенько подумали?

К у ц ы й . Подумал. Жизнь ведь поменялась. Старые вольнодумцы требуют люстрации. То есть разоблачения. Я иду дальше – саморазоблачение. Впрочем, мне разоблачаться не надо, я вот он – весь на виду. И я пришел к выводу, что мои грехи куда меньше ваших.

Л а в р . Да?

К у ц ы й . Да.

Л а в р . Но вы излагаете уже перипетии, а ведь была завязка. Вас в самом начале ваших злоключений никто не склонял к сотрудничеству. Что вас привело, как вы выражаетесь, под жернова этой жестокой мельницы?

К у ц ы й . В жизни, как и в искусстве, вся сила в этике. И вот этика пала. Лицемерие, блядство, коррупция накрыли град и веши, как цунами. В этой юдоли я со своим просвещением и нравственностью оказался не нужен. Этакая белая ворона, помеха и в малой и в большой стае. Но мне хотелось быть кем-то! А тут мой уже упомянутый однокашник выдвигался на вашем поприще. Носил дарованный костюм, специально по нему сшитый, получал зарплату... да-да – тройную зарплату школьного учителя. Когда-то на Руси



первыми людьми были учитель, священник и лекарь. Теперь же в цене соглядатаи. А эти просветители и радетели души и тела превратились в бомжей... И виноваты в этом власти предержажие, потому что при власти встали невежды и насильники духа. Я их ненавидел. А мой однокашник исподволь внушил мне, что единственный отряд борцов против засилия в стране бандитов есть ваша банда. Он убедил меня капать ему на подлых чинуш. Я простак, я не подзревал, что коллеге срочно нужны нештатные кадры, он всего лишь оперативник и быстро-быстро хочет выслужиться в чины. Я пошел за ним, не подозревая, что там, в нашей уютной явочной квартире, у него бывают еще пять или десять агентов... Хуже, что, начав с подлых чиновников, я незаметно для себя был наведен коллегой на обывателей, потом на непричастных. В жажде выслужиться, по недомыслию я как-то заложил праведника, без которого и граду несть стояния. И – обратной дороги мне не было... И я уже стучал не только на мерзавцев!..

Л а в р . Как я вас понимаю, как понимаю!

К у ц ы й . Только по поручению опекуна источник сообщил то, что угодно было конторе.

Л а в р . И вас не подташнивало?

К у ц ы й . У-у, как вы теперь заговорили! Попробовал бы я сообщить не то, что в вашем Коране, то зачем бы я вам нужен был? Сразу нашли бы статью и против меня. И источника нашли бы, который сообщил бы обо мне все, что для вас здорово, а мне – смерть.

Л а в р (*глянув на часы*). Прошло не четырнадцать, а двадцать восемь минут.

К у ц ы й . Но я не получил ответа.

Л а в р (*хитрит*). Так сразу? Прецедент ведь, никто никогда не являлся в Службу безопасности за моральной компенсацией. Закона нет оплачивать... Я, как буриданов осел, траюсь меж двумя охапками сена. И вас жаль, и – ничего



поделать не могу. Давайте-ка мы с вами выпьем на посошок и...

К у ц ы й . Можно, только...

Л а в р (*наливает*). Прозит.

Оба выпили. Гость явно хмелеет.

К у ц ы й . У вас там, в сейфе, не найдется чем загрызть? Я натошак, стукнуло в темя, размягчаюсь.

Л а в р . Не найдется. А вы выйдите из парадного и сразу справа, в конце квартала, – пирожковая.

К у ц ы й . Где найти пирожки, я знаю, а вот где взять червонец, чтобы купить хоть один? Для вас такой проблемы не существует?

Л а в р . Странно...

К у ц ы й . Для вас странно, для нас заурядно. Потому без ясного ответа на мое заявление я отсюда не выйду.

Л а в р (*смеясь*). Наряд вызывать, что ли?

К у ц ы й . Хорошенький пейзаж откроется у парадного подъезда СБУ! Двое дюжих холопов в шлемах и с дубинками выбрасывают за порог шелудивого смерда. А? А смерд вопит: верните моральные издержки старому стукачу! А?

Л а в р (*уже сурово*). Не паясничайте. Вы, когда задумывали этот фарс, писали бумагу, выговаривали себе пропуск к нам, вы ведь знали, что из вашей затеи ничего не получится. Не предусмотрено в бюджете денег...

К у ц ы й . На ветеранов и инвалидов войны предусмотрено, на афганцев и чернобыльцев – тоже, на депутатов, на вас, душителей святого духа, – ой как предусмотрено! А на тех, кому вы истерзали душу, кого сделали изгоями, лишили возможности заработать себе хоть минимальную, вшивую пенсию, – нет?! Я шага отсюда не ступлю. Вызывайте амбалов. И пусть они меня не просто выбросят за порог... пусть отнесут старика в ночлежку. Вот потеха будет для обитателей дна! В кои веки они позволят себе посмеяться.



К у ц ы й демонстративно ложится на пол. Генерал встает, угрожающе прохаживается, потом нажимает кнопку: зуммер. Входит А л и н а .

Л а в р . Алина Степановна, что посоветуете? Как поступим с этим Куцым господином?

А л и н а (*плутовато*). Подумать, подготовить документы и начать дело господина Сидора Фомича Куцого по одной из разработанных вами программ. Только этот визитер – из ряда вон выходит. Даже предположить трудно было, а?

К у ц ы й (*лежа*). Что за программа? В каком направлении?!

Генерал и секретарша перемигиваются, делают друг другу загадочные знаки, проектируя дальнейшую работу с визитером.

А л и н а . Разумеется, все в ваших интересах. Лавр Нарцисович, назначьте Куцому господину встречу на вторник. Я подготовлю документы.

Л а в р (*с выразительным одобрением*). Алина Степановна!

А л и н а (*с непонятым восхищением*). Лавр Нарцисович! (*Ласково, Ку ц о м у .*) Сидор Фомич, поднимайтесь. Во вторник мы вас ждем в семнадцать часов пополудни в этом же кабинете.

К у ц ы й (*сбитый с толку жестами хозяев кабинета*). Обманете, как у вас всегда водилось?

А л и н а . Простите, но сегодня на дворе совершенно другое время. Вот вам пропуск на вторник. Вот вам червонец на дорогу. И второй – на пирожки.

Подает заготовленный пропуск и два червонца.

Т е м н о .



В темноте фоном – шум толпы, раздаются голоса на разные лады:

С о л д н ы й : О нашей службе недоброжелатели сочинили столько нелепости, что диву даешься. И душители слова, и продолжатели дела сталинских времен, и чуть ли не гестапо. Это все речи невежд. Мы служим родине и народу. Сколько выдающихся людей из наших рядов история помнит: Зорге, Абель, да и наш незабвенный руководитель – Андропов...

М о л о д о й : Вам как новичку следует освоить азы. Придумаем вам псевдоним, придумаем вашу личную легенду, научим форме доноса. Отступаете три сантиметра сверху и пять сантиметров – поле слева. Начало всегда такое: «Выполняя задание такого-то, источник побывал»... Или работал там-то и там-то, изучил то-то и то-то. Только информация. Выводы сделают спецслужбы.

Г н у с а в ы й : Я боюсь... Я согласен...

Б о й к и й : У меня тот коллективчик – всех заложу!

Ж е н с к и й : Мне встречаться только с мужчинами? А если который полезет? Я же не со всеми иду на сближение...

Т у п о й : Шо вы говорите? Я тугой на ухо. А шо делать с моей слабостью к спиртному?... А-а, даже здорово: все мужики пьют, а потом болтают... Только на водочку давайте...

С т а р и к : У меня пенсия мала. Я думал, тут хоть чего-нибудь платят...

Реплики утихают, включается свет.

Генерал за столом. **А л и н а** вносит толстые папки.

А л и н а . Лавр Нарцисович, сегодня вторник. Куцый товарищ уже в приемной. Подшивки его трудов я принесла. (*Кладет на стол.*) Сверху – моя подборка из ударных его работ. Просмотрите и дальше – как мы оговорили.

Л а в р . Оставьте только три-пять доносов из вашей подборки, а остальное зачем, только стол занимает. Я ведь уже знаком с делами Куцкого.

А л и н а . О, нет. Эти горы его пасквилей – убедительный реквизит, убойная сила. Запугают глупышку... Можно впускать гостей?



Л а в р . Пожалуй.

А л и н а уходит. Ковыляя, входит К у ц ы й . Долго кашляет на пороге.

К у ц ы й . Здравствия желаю, господин-товарищ генерал!

Л а в р . Здравствуйте. А вы пунктуальны.

К у ц ы й . Вышкол ваших предшественников...

Л а в р . Видите, есть и от нас польза. Садитесь.

К у ц ы й . Что, намечается долгий разговор?

Л а в р . Да, в четырнадцать минут не уложимся.

К у ц ы й . Если сук рубят не сразу, то есть надежда.
(Садится.) Только нельзя ли разговор – не всухую?

Л а в р (обрывая). Сидор Фомич, вы не в баре.

К у ц ы й . Виноват, товарищ-господин генерал. Только те, что сидели здесь до вас, были заметно обходительней...

Л а в р . Спасибо за напоминание. Итак, приступим.

Генерал открывает папку, достает лист.

К у ц ы й (отстраняется). Совсем плохи мои дела... Догадываюсь, это поклепы на меня, раба божия. (Нервничает, кашляет.) Были, были писаки. И я знал, что я доношу, и – на меня доносят. Не думал я, что то, что двадцать лет назад аукнулось, сегодня откликнется! Люстрация? Власти согласились на люстрацию? Так они же пилят сук, на котором сидят!

Л а в р . Сидор Фомич, где ваше самообладание, где достоинство?..

К у ц ы й . Достоинство?.. (Хочет искренне, даже красиво).

Л а в р . Вы что! Что с вами? Вам подать воды?

К у ц ы й . Простите, это я вообразил про себя... Достоинство...



Л а в р (*строго*). Позвольте начать, Сидор Фомич?
К у ц ы й . Валяйте, Лавр Нарцисович.

Собеседники обменялись взглядами: генерал – злым, гость – виноватым.

Л а в р . «Двенадцатого, седьмого, семьдесят второго года. Источник сообщает, что, устроившись официантом в ресторан «Прогресс», он выследил четверых в третьей кабине»... Кстати, официантом вас устроили наши люди, и вы полгода получали малую зарплату и – большие чаевые. Вот вам полгода трудового стажа.

К у ц ы й . Прошу прощения, зачисляли меня временно, «Трудовую книжку» мне там не выдали, никакого рабочего стажа вы мне не подарили для пенсии! Один : ноль не в вашу пользу.

Л а в р . Речь не об этом. Читаю: «Художник Завадовский в матерных выражениях вскрывал пороки в руководстве творческими организациями города. Самого секретаря обкома посылал на три буквы! Шептал коллегам, что регулярно слушает голос по радио «Свобода». Советовал молодым своим ученикам купить приемники «Рига», принести ему, он что-то в них перестроит – и голос «Свобода» будет звучать, как «Говорит Москва».

К у ц ы й . Простите, прерываю. Что тут неудобного вам? К тому же все правда, от «а» до «я».

Л а в р . Да? Вы знали жизнь художника Завадовского до встречи в ресторане?

К у ц ы й . А кто не знал? Знаменитость. Выставлялся в обеих столицах, лауреат, государственные заказы получал, перед границей им хвастали...

Л а в р . А вы сами его работы видели?

К у ц ы й . Я же не слепой. И выставки в студенчестве посещал. Пейзажист, уровень Левитана! Божественно пи-



сал! С него даже репродукции в книжках помещали, легерин делали.

Л а в р . Он картины писал, а вы на него пасквили писали?

К у ц ы й . Так ваши же требовали. У него – такая работа, у меня – такая работа...

Л а в р . А сегодня вы часто встречаете полотна Завадовского?

К у ц ы й . Я избегаю встреч с теми, на кого вы меня наводили. Это еще одна претензия к вам. Вы сделали меня одиноким в большом городе...

Л а в р (*пропуская мимо ушей слова собеседника*). Нет картин Завадовского... На выставках нет, в книжках нет, в каталогах и справочниках нет.

К у ц ы й . Не знаю... Может, его время прошло. Вон литераторы: Потапенко, Лейкин, Баранцевич при Чехове, ой, как соперничали с Антоном Павловичем! А где они сегодня? А он – того!

Л а в р . А вы знаете что-нибудь о судьбе Завадовского после ваших двух доносов?

К у ц ы й . Не интересовался. Говорят, съехал... с катушек... Не видел я его больше ни в ресторане, ни на выставках. Но замечу: и меня тогда как-то враз уволили с официантов. Не нужен я там больше был. Такая кормушка!..

Л а в р . Вы-то остались на юге, под солнышком. А вот что изменилось в судьбе выдающегося мастера: пришла Колыма и Магадан. Картины его были изъяты, пылились по запасникам. Часть разворовали и вывезли за пределы... часть, в половодье, залита была в подвале. Как не имеющие ценности, полотна не спасали... сгнили. Каждое ведь – штучный, единственный экземпляр. У супруги отняли мастерскую, хотя Завадовский построил ее из своих скромных гонораров. Квартиру женщина продала, чтобы вырастить



детей, жила на хуторе. Десять лет спустя старший его сын решил восстановить справедливость, потребовал от властей слишком многого и... был отправлен в те же не столь отдаленные места, где отбывал свое отец.

К у ц ы й (*вдруг вспыхнул, вскочил, топает по кабинету*). Генерал, не делайте из меня козла отпущения, не те времена! Мы оба хорошенько знаем, что с одного пасквиля даже в мое веселенькое время человека ни казнили, ни миловали. Ваши собирали еще и еще материальчик. Таким, как я, имя было легион, и вы трем-пяти прохвостам поручали одно и то же дело. Да только в моем ресторане и шеф-повар, и косой трубач, и этот, швейцар в генеральской форме, при дверях, – все стучали. Только они на постоянной основе, а я – на потребу!..

Л а в р. Не мельтешите. Мы не про других, мы выбираем вашу толику подлянки. Конечно, конечно, ваша вина крохотна, и выгода ничтожна. Не стоит так нервничать. Подумаешь, человеку случилось наблюдать пьяную болтовню, он нехотя пересказал ее в письменной форме – что за грех!..

К у ц ы й (*совсем взвинчен, дрожит*). А вы, генерал, язва. Причем сибирская! Сапогом прямо в душу... Это вас в школе кагэбэ натаскали?

Л а в р (*поворошил кипу старых доносов*). Читаем дальше. Для краткости возьмем один из последних доносов, уже под самую перестройку. Люди пробуждались, выпрямляли хребты, а вы по инерции смурно и безразлично сочиняли свои шедевры. «Источник сообщает, что в электричке Киев – Ворзель известный Пахомов в тамбуре сошелся с канадским журналистом. Говорили о какой-то националистической литературе. Канадец держал в руке стопку книг, источник разглядел трехтомник Павла Тычины. А Пахомов получил взамен книжку «Желтый князь». Удалось позже выяснить, что это поклеп на коммунистическую партию, мол,



она устроила голодомор в Украине»... Что ж вы так, Куцый гражданин, отстали от времени?

К у ц ы й . Ну, я отстал, только ведь перед самой перестройкой отстал. Выпивал шибко. Однако знаю, тот Пахомов тогда не пострадал!

Л а в р . В Сибирь не услали, в застенки не позвали, компетентные органы им не занимались. Только копию вашего послания передали руководству того управления, где служил товарищ Пахомов.

К у ц ы й . И что?..

Л а в р . А там собрали коллектив, обсудили Пахомова от первой до последней буквицы алфавита. Нет-нет, о его встрече с канадцем и знать не знали коллеги по работе. Они имели свои, чисто служебные и личные, претензии к Пахомову. Тому он пять лет назад перебежал дорогу в карьере, у того десять лет назад отбил любовницу, а третий имманентно не любил мужика – жизнь! В нашей конторе ведь важно не назвать факт или проступок, а дать направление, народец сам разжует и выплюнет. Натаскан, нос по ветру держит каждый... Месяц жрали беднягу всем узким миром, он швырнул на стол заявление и исчез. Даже за расчетом не пришел.

К у ц ы й . Значит, с Пахомовым все о'кей?

Л а в р . Можете пройтись на окраину, улица Поперечная, загляните в коммунальный дворик. Там во всю ширь вольготно раскинулась мусорная свалка, полдюжины бродячих собак топчутся и грызутся за отбросы, два бревна подпирают стенку. А под треснутым окном, в вытоптанном палисаднике, валяется давний и горький пьяница. Над ним время от времени читает акафист издерганная и тощая старуха: «Снова ужрался? Когда ты ею зальешься, проклятый?!» При этом нам достоверно известно, что Пахомов до ухода из Управления не пил. Не пил и когда работу искал, а



ему везде отказывали, как и вам, по той же причине державной ненадежности... Безработный мужик тогда в рот не брал спиртное... Хороший был специалист, этот Пахомов, и думал о жизни несколько шире нашего с вами, Куцый товарищ.

К у ц ы й *(в изнеможении)*. Может, хватит...

К у ц ы й идет к двери, возвращается.

Л а в р . Никак вы собирались уходить?

К у ц ы й , пошатываясь, забирает свою бумагу, отходит.

О, не торопитесь. Подойдите к столу.

К у ц ы й подходит. Генерал преображается в вежливого хозяина.

Прошу садиться.

Гость садится. Генерал достает бутылку, рюмки, наливает.

Теперь поговорим по душам.

К у ц ы й . Куда уж дальше!

Л а в р . Мы все-таки – страна, держава. Пускай в зародыше, в утробе, но развиваемся. А всякая держава просто обязана себя защищать. Я доходчиво говорю? И мы с вами патриоты...

К у ц ы й . Патриоты – это простолюдины, которые вкалывают за спасибо? Я полагал, что в наше время высоким штилем только шутят.

Л а в р . Я не шучу.

К у ц ы й . Вы не патриот, хотя бы потому, что вам, вместо спасибо, казна выплачивает кругленькую сумму.

Л а в р . Вам я тоже предлагаю послужить патриотом. С вашим опытом и знанием людей в нашем городе...

К у ц ы й . Что это, на круги своя?



Л а в р . Никогда еще не было столь большой нужды в вас, уважаемый Сидор Фомич, как теперь.

К у ц ы й . В нас – это в патриотах, которые стучат на шару?..

Л а в р . Теперь платят. И хорошие деньги...

К у ц ы й . Повторите, я вдруг стал туг на ухо.

Л а в р . Понятно, наши вожди по всем массмедиа твердят, что в стране нет денег. Их не хватало и при всех прежних режимах, но на политику средства всегда находились. Повторяю, платим. И хорошие деньги.

К у ц ы й . Другой разговор... Можно повторить?

Л а в р . Вы принимаете прежние обязанности, мы зачисляем вас на ставку.

К у ц ы й . И это тоже, но я прошу повторить... в рюмку.

Л а в р . А-а, пожалуйста.

Выпили оба, крикнули.

К у ц ы й . Хорошее время настало. Все меняется так, чтобы ничего не изменилось для власти предрежущих. И люди как-то обнажились... Не телесно, это само собой. А вот как-то душевно. Раньше прятали свои сокровенные желания, а теперь гони бабло – и мы на все пойдем. Выборы, служба, любовь... Ах, как это славненько! Приступим! Мне писать заявление? Приступать прямо с сегодняшнего вечера?

Л а в р . И заявление, и гарантийное письмо – хранить тайну.

К у ц ы й . Придется вспомнить форму доноса. Минуточку, от радости помутилось где-то внутри... На листе А1 отступить на пять сантиметров сверху, для резолюции... два сантиметра слева. Начинать стандартно: «Источник сообщает»?..

Л а в р . Все так.



К у ц ы й (ликуя). И в конце каждого месяца – кругленькая сумма?

Л а в р . Разумеется, только не в бухгалтерии, а из рук в руки от вашего оперативника.

К у ц ы й . Святой боже, святой крепкий, как жизнь меняется! И все к лучшему! Я понимаю, что и на меня будут стучать... но я ведь тоже... Я их перестучу, ого-го!

Л а в р . Есть только одна деталь.

К у ц ы й . Ради бога, пусть две детали, три и сколько угодно, только бы тугрики на поддержку брентного тела. Что за деталь?

Л а в р (наливает в рюмки). Тут следует выпить еще.

К у ц ы й . Ради бога! Прозит!

Пьют. Куцый потирает руки.

Л а в р . Дела вы будете обдeldывать так, чтобы комар носа не подточил. Чтобы ни одна живая душа не подозревала. Оппозиция одолевает, деятели из-за бугра...понимаете всю сложность?.. Вы начинаете жизнь минера, то есть без права на оплошность. При первом доносе на вас – вас убирают.

К у ц ы й . То есть, как убирают? С должности. Простите, лишают честно заработанного куска хлеба?..

Л а в р . Лишают живота.

Пауза. Куцый бегаёт по кабинету.

К у ц ы й . Так же не получится, чтобы я стучал, а на меня не стучали. Не та страна, не тот народец. Из моего огромного опыта... даже безо всяких промашек с моей стороны, без проступков... просто в системе – на меня напишут. Ведь кругом загнанные, озлобленные люди, недоброжелатели! В отместку мне за прошлые мои, давние дела – напишут, из-за нехватки другого материала, от скуки... И с пер-



вого прицела мне – каюк? Хотя бы с третьего, дали бы по-смаковать сытую жизнь... вот как у вас...

Л а в р . Ничего не могу поделатъ: закон суров, но он – закон.

К у ц ы й . Ешкина мать! Можно подуматъ?

Л а в р . Да о чем тут думать? Вы же легко пошли на приглашение...

К у ц ы й . Я же не знал, что тут мокрое дело!.. Я еще письменной гарантии не давал... А можно с испытательным сроком?

Л а в р . О, нет. В державу приходит порядок. Жизнь меняется и, как вы сами заметили, меняется к лучшему.

К у ц ы й . Да, да... Да! Можно, я подумую... за дверью, за парадной, внизу... дома?.. Я ничего не писал... Ай-й-й... Ой-й-й!... Такой шанец... неужели?..

Незванный и запуганный гость кашляет все сильнее и пятится к выходу. Перед ним отворяется дверь, он проваливается в нее, слышен грохот падения. Это в нужный момент створку отворила А л и н а . Девушка не может сдержать хохота. Захохотал Л а в р , и она дала волю своему смеху.

А л и н а . Вот что такое софистика! Вы его приемом номер... каким приемом вы убрали этого ходатая?

Л а в р . Я его в два приема. Он уже готов был бежать, так я ему еще прибавил. Это чтобы не проснулся его задний ум на лестнице и старик не вернулся за причитающей ему компенсацией!

А л и н а . С теперешним народом не газовыми баллонами, даже не танками надо... Находите новые формы работы с людьми?

Л а в р . Собственная шкура рабу божьему все же дороже...

А л и н а . Но каков грамотей, как изложил трагедию собственной личности!



Л а в р . Как говорят классики: в первом прочтении – трагедия, во втором – она уже фарс. И еще: на всякого мудреца довольно простоты!

А л и н а . Эту маленькую победу следует отметить.

А л и н а тянется к бутылке. Л а в р убирает бутылку и рюмки в сейф.

Л а в р . Прошу прощения, но на рабочем месте пить не в моих правилах.

А л и н а . Но с гостем вы от правила отступили?..

Л а в р . Так то же я был в образе. А бутылка – всего лишь реквизит.

Генерал и его секретарша продолжают хохотать.

Т е м н о . К о н е ц .



АНАФЕМА

Достоверная история об Иване, Петре и Карле

В п а р т е р е : дубовый турникет со столами: места судьи, прокурора, адвоката.

Н а с ц е н е : большая площадь с деталями симультанной декорации.

Н а п о м о с т е : малая площадка для действия.

П о д к о л о с н и к а м и с к р ы т ы : полог, пыточные дыбы, колокола, муляжи людей и лошадей и проч.

Из зала выходят три женщины; по краям турникета слуги набрасывают на них мантии: судьи, прокурора, адвоката. Подают им в руки папки с «Делами». Суд занимает места. Судья стучит деревянным молотком.

С у д ь я (*сухо, нейтрально*). Уважаемая публика, прошу вашего просвещенного внимания! Уже триста лет целые поколения, я бы сказала – целые династии судей, поэтов, мудрецов и простолюдинов, в юриспруденции, творчестве и в сплетнях, – рассматривают дело о деяниях незаурядной личности славянской истории. Пришел и наш черед судить без предубеждений и предвзятости, только факты и свидетельства. (*Поднимает руку, словно кладет ее на Библию.*) Правда, одна только правда, ничего, кроме правды!

П р о к у р о р (*излишне горячо*). Мы разбираем дело о самом большом предательстве, кое познало человечество, об отступничестве, повлекшем за собой разночтение нашей истории и смуту в душах народов, о предательстве, кое было предано анафеме с амвонов православной церкви! Корпус деликты!



То есть: оснований достаточно!

Адвокат (*глубоко, трогательно*). На ваш суд, почтенные господа, подается самая яркая и загадочная историческая личность, ее запоздалый, рискованный и напрасный подвиг. И вы будете свидетелями насмешки, гримасы судьбы – уходу с арены истории личности, воинства, вольности, возможно, целого народа. На скрижалях истории, в поэмах и драмах классиков, в легендах и пересудах людей – и ныне живет гетман Иван Степанович Мазепа. Одни его поносят, другие – возносят. Выясним: ку боно? То есть: кому выгодно? (*Кланяется Судья*.) Ваша честь, прошу!

Судья. Первые эписотии из времени любовных отношений царя Петра Первого и гетмана Ивана Мазепы.

1

На помосте дымят голландские трубки – П е т р и М е н ш и к о в учатся курить, кашляют, перешучиваются. У М е н ш и к о в а в руке бумага.

М е н ш и к о в . Мин херц, издали ты похож на голландского шкипера. А вот трубку держишь украдкой, как чухонский колодник.

П е т р I . Данилыч! Ты давно по шеям не хватал! Что у тебя за цидула?

М е н ш и к о в . Деша из Батурина. Тебе, ваше величество.

П е т р I . От верного старца, от гетмана Ивана Степановича? Читай.

М е н ш и к о в . «Ваше пресветлое величество, государь Петр Алексеевич, запорожцы с атаманом Щербиною во время оно наделали новых хлопот своими своевольствами. Толпа сечевиков напала на греческий караван, державший путь через Чигирин на Москву. Отвезли ограбленный товар в Сечь, разрезали тюки и гарары и поделили товары, в чис-



ле которых пребывали драгоценные камни и жемчуга ценной в тысячи талеров»...

Петр смеется, захлебываясь дымом.

Мин херц, что смешного ты узрел в депеше гетмана?

Петр I. А ты что думаешь про две силы в одной Украйне?

Меншиков. Что две силы в Украйне грызутся, нам к выгоде: при затяжной войне с Карлом недосуг Московии держать там третью силу для усмирения казаков да посполитых. Большой политес в диком крае...

Петр I. А про жемчуга да драгоценности что глаголишь?

Меншиков. Тут я сугубо думаю: какая же доля из ограбленного сечевиками досталась самому доносчику, ясновельможному гетману Ивану. Откуда бысть у него и дворец в Батурине почище твоего петербургского, и приемы пышнее наших, и шаты на старшине, и сбруя на конях – все его роскошью превосходит наше, московское? А храмы да школы за счет казны? А вся державная казна – у гетмана в кармане жупана! Ловок править миром, старый прохиндей!

Петр I. Там, Данилыч, и казна зело пухлая, и войско малым меньше нашего да при дамасском оружии...

Меншиков. Дак коего же черта, твое светлое величество, ты терпишь эдакую шишку у себя на полом месте?!

Петр I. По вышесказанным причинам и терплю, Данилыч. Хлеб да золотишко текут с юга, казаки по нашему велению служат и в Польше, и в Курляндии, и на границе татар да турок. Сними я голову Мазепе, где другую такую найдешь? Старый лис, грамота его несметна, от самого Яна Казимира польского да от немецких-итальянских университетов, языками несказанно владеет, походов выиграл больше Македонского. Под Очаковом я ему на всепьянейшей ассамблее позавидовал – за усы сгреб... поди, до сего дня не



простил меня старый... Не ты ли, князь-пирожник, заменишь его в привольном бедламе, в Украине, где при двух казаках всегда три гетмана, а шкуру перстами разрывают еще на живом медведе?

М е н ш и к о в . А чё, мин херц? Попомни мои словеса: в неровен час ты еще поставишь меня в Украине государем-наместником, через козни да сражения вынужденно поставишь меня, государь!

М е н ш и к о в делает затяжку, кашляет, то же и П е т р .

Мало я тебе читал доносов не от гетмана, но на самого ясновельможного Ивана Степановича?.. Сдурел к старости шляхтич!.. Сводит юную дочь своего собственного генерального судьи. И еще больший грех – она же его собственная крестница, а он ее дерет, аки иссидорову лань! Не веришь Алексашке, царь, будут у тебя свидетели почище моего!

2

Вдали звучит задумчивая элегия:

Місяць на небі, ніч наступає,
Тихо по морю човен пливе.
В човні дівчина пісню співає,
А козак чує – серденько мре... и т.д.

Слышен топот копыт. Спрыгнувший старый казак в белой бурке выходит под дерево. Тут же стучат копыта другого коня. Легкий прыжок. На поляну выбегает восемнадцатилетняя М о т р я . На ней роскошный костюм юного подростка-княжича, в руке плеть, коса выбивается из-под шапки-бырки. Влюбленные бросаются друг к другу. Стоя закутываются в непомерную бурку, валяются на траву. Качаются. Возгласы.

М о т р я . Ваша ясновельможность! Пане Иване! Батьку, это вы?!



М а з е п а . Ясная панночка! Мотренько, тебя ли я вижу?!

Скатываются в луч, продираются из бурки. Она плачет.

М а з е п а . Что же ты плачешь, моя ясная зоренька?

М о т р я . Я когда думаю о вас, когда вижу вас, слезы сами падают...

М а з е п а . Так дурно смотрится старый гетман?

М о т р я . О, вы – рейтер, казак! Это я слишком поздно уродилась. Батько-маты проклинают, свята церков отвернулась... И ваша и моя долюшка – горьки...

М а з е п а . Ты – святая дива, у тебя впереди зеленая долина и маки, маки! Когда я вижу тебя, мне хочется исповедаться во всех великих и малых моих прегрешениях. Мне хочется последним своим деянием сделать такую юную и светлую панночку царевной, а за нею и всех-всех парубков и девчат в Украине – счастливыми. Хочется, но успею ли... и посмею ли! Жду и жду часа... Перед кончиной, что ли, решусь?

М о т р я . Я за вас молюсь, ясновельможный мой рыцарь. Вы безгрешны...

М а з е п а (смеется). Грешен, моя ясочка, вельми грешен. Оттого и обложен турками да татарами, ляхами да москалями со всех четырех сторон. Оттого и старшина ревнует до крови, а посполитые детей малых на ночь пугают Мазепою. «Спи, малятко, а то Мазепа вон идет!»

М о т р я . Оттого, что вы высоко-высоко стоите надо всеми, вы единственный, ваши думы и деяния недоступны смерду и рабу, земляку и пришельцу, татарину и москалю...

М а з е п а . О, славная моя Мотренька, высшие москали понимают меня алчно. Среди них уродился воин с замыслами почище моих. Ему нужна не просто держава, но держава весильная, светская, владычица над сушей и морем. И это-



то справедливо... Но я тоже хочу – свою державу, и тоже всеильную, православную и светскую, владычицу хотя бы над своим бунтующим и смиренным, разбойным и нежным миром.

М о т р я . Что будет с вами, ваша милость? Что будет со всеми нами?!

Проникновенно и горько дуэтом влюбленные запевают песню
М а з е п ы .

Ой, горе ж тій чайці, горе ж тій небозі,
Що вивела чаєняток при битій дорозі.
Чумаки їхали, чаєчку зігнали,
Маленькії чаєнятка з собою забрали... и т.д.

Из глубины, из полутьмы выходят и выходят крестьянки в венках и запасах, косари в вышитых сорочках и брелях и с косами, казаки при саблях и пиках, возникают на заднике фуры с чумаками. Звучит могучий хор на слова и мелодию М а - з е п ы – «Чайка».

Не вернемо, чайко, не вернемо, наша...
Поварили чаєняток – добра була каша!..

Вдруг сверху раздается колокольный звон, все усиливается. С колосников спускается церковный колокол. Вся толпа забежала, засуетилась, вскоре исчезает. М а з е п а и М о т р я вскочили на края поляны.

М а з е п а (зовет). Джуря! Узнай, что там – пожар, разбой?!

Молодой казак вбегает.

Д ж у р я . Слушаю, ваша милость!

Д ж у р я исчезает. М о т р я вдруг нервно, потом истерически смеется.

М а з е п а . Что с тобой, серденько, Мотренька?



Мотря. Это батько мой, Василь Леонтьевич Кочубей, звонит! Мать, Любовь Федоровна, велела... если я сбегу к гетману, бить во все колокола!..

Мазепа. Ох, эта Любовь Федоровна! Не зря люди говорят: не будь на свете Ивана Мазепы, она бы возвела булаву над Украиной! Гетманша!!

Сцена вдруг гаснет. Колокол умолкает. В партере напряжены судьи.

* * *

Прокурор. Ваша честь! Ваша честь, господин судья, я заявляю протест. Госпожа адвокат умышленно подает эпистолии, не относящиеся к истории и сути предательства. Эти эпистолярные да любовные куры не интересны сегодняшнему дню.

Адвокат. Таковы были факты! Таков исток всех дальнейших перипетий!

Судья (*стукнул молотком*). Апропо! Я слабо понимаю: почему историю интересуют только колонизация, войны, предательства? И не имеют значения: обустройство жилья, хлебопашество, бортничество, любовь! Герои истории – суть агрессоры, победители, и ни одного памятника не стоит побежденному. Разве что безымянные курганы в голой степи... (*Еще раз стучит молотком.*) Ваша версия, господин обвинитель!

3

На помосте высвечен кабинет Петра I. П е т р и а д ъ ю т а н т .

Адъютант. Ваше величество, пресветлый царь. Вы позволили войти генеральному судье войска Запорожского Василию Леонтьевичу Кочубею.



Петр I. Как, как звать? Кочубей? Василь? Почему позабыл такого? По собственному, глаголишь, желанию? Впусти. И пусть нас оставят одних.

Адъютант. А князь Александр Данилыч?

Петр I. И князь не исключение, и граф Гаврила Головкин!

Адъютант уходит. Является Кочубей, при параде, с подарочной саблей в руках. Царь неестественно ласков с ним.

Кочубей (*низко кланяясь*). Прими, пресветлый царь Петр Алексеевич, в дар малый табун черкесских скакунов, благодать полей Украйны, и сей булат дамасской стали.

Протягивает оружие в инкрустированных ножнах.

Петр I. Проходи, садись, казак, гостем будешь. Давно не навещал.

Кочубей. Что беспокоить государя без нужды!

Петр I (*нетерпеливо*). Ныне таковая появилась? Выкладывай с порога.

Кочубей (*весомо, гордо*). Ваше величество, московские лазутчики знают о кумовстве гетмана Ивана Мазепы с некоей знатной ляшской вдовой княгиней Анной Дольской. Ведомо также, что сия светлейшая есть связной яко польского короля Станислава Лещинского, тако и шведского королевского штаба. Намедни в Киев от нее пришло письмо к нашему ясновельможному гетману. В нем слова... (*Из рукава судья достает лист, подсматривает*). Писано цифровой азбукой, с коей мы знакомы. Вот: «Начать намеренный путь»... Обещание вскоре прислать «ассекурацию» Станислава и «гваранцию» шведского короля Карла двенадцатого.

Царь вскакивает, ходит, выхватывает лист из рук гостя, смотрит.



К о ч у б е й . Доношу вам, ваше величество, не из каких-нибудь выгод, но единственно почитая превысокое достоинство великого государя. Вот пункты: «В Белой Кринице наедине гетман передавал мне слова Дольской: Станислав польский хочет учинить гетмана князем черниговским, а войску запорожскому даровать желанную вольность... Десятого мая сего года Мазепа ликовал с того, что поляки побили царских ратных людей... В один из последующих дней гетман говорил: «Шведский король хочет идти на Москву и учинить там инога царя, а на Киев пойдет Станислав с польским войском... Когда я испрашивал позволения выдать мою дочь за Чуйкевича, Мазепа велел повременить, «пока малороссияне соединятся с ляхами»...

Кабинет окутывает дрожащая дымка. Голос К о ч у б е я звучит эхом.

Двадцатого сентября... был у гетмана в Печерском ксендз Зеленский... швед готовится не на Украйну, а на Москву!.. Десятого октября в Печерском монастыре Мазепа изучал Гадячский договор Виговского!.. В последующем мае, у меня, подгуляв, и на слова о большой вашей милости к нему, гетману, Мазепа отмахнулся зло: «Какая мне утеха, когда я всегда жду опасности, как вол обуха!» На Коломацкой раде вами постановлено: жениться великороссам с малороссиянками ради смешения крови, а гетман всячески препятствует тому... Государь запретил людям переселяться с левого берега на правый, а гетман такое переселение поощряет! Гетман предупредил запорожцев, что государь российский хочет их уничтожить. Гетман вольно распоряжается войсковою казною... завел себе двадцать тысяч маетков!.. Я полагаю, что индуктный сбор можно бы обратить в царскую казну!!! Еще доложу: гетман сочиняет горестные песни, их поют казаки и посполитые, оплакивая подневольную Украйну:



Ой, горе ж тій чайці, горе ж тій небозі,
Що вивела чаєняток при битій дорозі...

А еще крамольные стихи свои распространяет:

Жалься, Боже України,
Що не вкупі має сини!
Єден живе та з погани,
Кличе: «Сюди, отамани!
Ідем матку рятувати,
Не даймо їй погибати!..»

Угасание и вспышка света. Ц а р ь борется с собой.

П е т р І . И гетман ненадежен? Кто в такое поверит?
Что еще?!

К о ч у б е й . Еще в Батурине гетмана навещал некий шляхтич Ян Окраса – лазутчик и связной Лещинского, а через него – глаза и уши шведов. Зло в том, что ясновельможный скрыл тот визит даже от старшины...

П е т р І . Ты-то как выведал, судья?

К о ч у б е й . Зело слежу за его светлостью... Есть сугубые причины... А еще есть полное слушание наказа вашего величества, которое, через князя Александра Данилыча, даны были компанейскому полковнику Танскому. Чтобы не дать выступить тому с полком в поход на Польщу, гетман Мазепа не велел выдавать казакам вперед на полгода жалование и провиант. К тому же его мощь яро осуждал команду князя через его, гетмана, голову!

П е т р І . Есть о том списанные листы?

К о ч у б е й . Моя память тому свидетель. (*Протягивает бумаги.*) А вот свидетельство полной измены. Перехвачено от иезуита Залеского – письмо ставленника Карла короля Станислава Лещинского.

П е т р І (*кричит через голову собеседника*). Шафиров!
Шафирова ко мне!



Входит Ш а ф и р о в и а д њ ю т а н т . Ц а р ь к и в а е т , а д њ ю т а н т в ы в о д и т К о ч у б е я .

П е т р I . Послушай, Шафиров, у этого судьи целый рукав свидетельств об измене гетмана Мазепы. Полный корпус деликте, как говорят латыняне... Но я считаю, козырять ими рано. Рядом с Северной да Западной войнами да с ворм Булавиным... нам еще не хватало великой казацкой смуты. Приголубь этого доброхота. Закрой ему рот, да открой так, как угодно нам.

Высвечивается сцена. По ступеням адъютант ведет К о ч у б е я в пыточную. Спускается дыба, загорается горн. Два полуголых палача греют клещи.

К о ч у б е й (*Ш а ф и р о в у*). Ваше превосходительство, что это?

Ш а ф и р о в . Немцы говорят, проформа!

К о ч у б е й . Я со служебным письмом... Я к его величеству!..

Ш а ф и р о в . Подготовим и вернем вас его величеству.

Кандалы уже на руках и ногах. Под дикий скрип К о ч у б е я тянут за руки к потолку, а ноги вытягивают огромные грузила.

К о ч у б е й . Я – генеральный судья! Я к самому государю!.. Ой! Тяжко! (*Стонь*).

Ш а ф и р о в . Опояшем ремнями!

Палачи секут тело судьи кнутами.

С чем тебя, ваше благородие, прислал к государю ясно-вельможный гетман? (*Удар хлыста.*) Что за сугубые причины лазутничать за гетманом его величества Мазепой?!

Еще круче удар кнута. Другой палач подходит с раскаленными щипцами, сует к тазу и талии К о ч у б е я . Крик стоит ужасный. Грохот и ругань...



В партере движение. Троица судий разбежалась и сошлась.

С у д ь я . Прекратить немедленно! Стоп!!! Фу, мерзость!

На подмостках свет гаснет, там нет никого.

Ну вот, госпожа прокурор, ваши эписотии! Это же живодерство, смертоубийство!

П р о к у р о р . Я не хотела пыток. Экзекуции целиком на совести царя Петра, это издревле в обычаях азиатов. Я только хотела привести документальные свидетельства соратника и ближайшего помощника гетмана, самого Кочубея, – Мазепа предатель! Четырежды! Ян Казимир его выучил, взял в придворные – милый паж Иван сбежал из Варшавского двора. Гетман Дорошенко подпустил его к своим государственным тайнам, посланником сделал – этот «надежный дуаен» ушел с Правобережья, от патриота Дорошенко. Гетман Левобережья Самойлович души в нем не чаял, детей своих поручил воспитывать этому плуту! Потом Мазепа царю Петру был предан. И вот самого Петра предал! «Предан» – «предал» – для Ивана Мазепы это игра слов, забава!

С у д ь я (*философски*). Гетман предает царя, судья предает гетмана, кто там следующий в ваших перипетиях? Хорошенькие нравы у наших предков!

П р о к у р о р . Я думаю, сказанного достаточно!

А д в о к а т . О, нет-нет, ваша честь. Пусть госпожа прокурор продолжит свою притчу. Мы увидим не только, кого предадут, но и кто предает. Иван Степанович – просвещенный, европейского масштаба деятель, а в сюзерены ему доставались как не мелкий шляхтич с хамскими замашками, парвеню – Казимир, то славный вояка, но человек без своего берега, истинный казак-разбойник – Дорошенко, то безвольный холуй царевны Софии – Самойлович, то тиран и пьяница Петр, то...



4

Раздавленного физически и морально Кочубея сопровождают к Петру I.

Петр I (*приветливо подает бокал с вином*). Ваше благородие, господин генеральный судья! Хорошо, что не уехали не простившись. Угощайтесь, присаживайтесь.

Кочубей (*глухо*). Спаси вас Бог, ваше величество.

Петр I. Трубку курите? О, казаки мастера курить трубку! Угощайтесь. (*Подает трубку.*) Вернетесь в Батурин, передайте мои пожелания старому и надежному другу моему Ивану Степановичу Мазепе. Как он там обустроивает храмы Божьи?

Кочубей (*униженно заискивает*). Да, да, вокруг Печерского монастыря вал совсем обветшал. Его ясновельможность снарядил мастеров и охочих казаков – ладит. Хорошо...

Петр I. А что там грамотеи из Могилянской академии, скоро ли перебираются в новую мою столицу, в Питер?

Кочубей. Скоро, скоро. Ясновельможный гетман снаряжает обоз... только лучшие умы для вас отбираются. Да с книгами всех знаний, церковные и светские, все готовит вам в подарок его мощь гетман.

Петр I. А что с донскими разбойниками, не против ночи будь упомянуты? Что про вора Булавина знаете?

Кочубей. Полтавский полк и полковника Левенца гетман посылал с князем Василием Долгоруковым. И еще за свои талеры нанимал охочих...

Петр I. Нерадивые лазутчики плели кляузы, будто гетман хорошенько знаком был с самим Булавиным еще по Крымскому походу.

Кочубей. Врут окаянные, ваше царское величество!

Петр I. И не задерживался с посылкой полтавцев гетман?



К о ч у б е й . Нет, нет, в первых рядах отправил.

П е т р I . И не уведомил Булавина про ненадежность украинского полка?

К о ч у б е й . Грешат брехнею лазутчики! Чист гетман перед вами, ваше величество.

П е т р I . А подметные письма... Яном Окрасой да иезуитом Залеским доставленные?

К о ч у б е й . Все письма с намерением оторвать Левобережье... сманить гетмана... Иван Степанович тут же переправляет в канцелярию верного вам Гаврилы Головкина.

П е т р I (*с явной издевкой*). И последнее, от иезуита?

К о ч у б е й . Я его вам доставил.

П е т р I . Рад. Весьма рад твоему визиту, ваше благородие. И за косяк лошадей прими благодарность. В Северной войне ой как требуются скакуны!

Ц а р ь хлопает в ладоши. Входит а д ь ю т а н т .

П е т р I . Проводи его благородие с почестями. Проще-вай, Василий Леонтьевич!

К о ч у б е й . Низкий поклон вам, ваше величество, за доброту и справедливость.

Двое уходят. Входит Ш а ф и р о в .

П е т р I (*сурово*). Экой мерзавец этот генеральный судья! Пропиши гетману Ивану Степановичу, что передаю этого слизняка на его суд и расправу.

Ш а ф и р о в . Слушаюсь, ваше величество!

* * *

В партере все стоят. С у д ь я прохаживается за спинами.

С у д ь я . Интересно, а бунтаря Булавина Мазепа таки предупредил.



Прокурор. Предупредил, а потом помог Василию Долгорукову разбить его. Злодей и есть злодей.

Адвокат. Великая политика. Ради своих замыслов и предупредил, и разбил, а после плакал в храме, перед иконой, на коленях у своей девяностолетней матери, инокини...

Прокурор. Слезы крокодила. Губить и оплакивать – вот каноны великого трагика Ивана Мазепы! Лучшими поэтами развенчано его лицемерие. Самим Пушкиным исследован его вердикт над отцом любимой и юной женщины!

5

На сцене пестрый, цветущий луг: альков под луной. В белом пышном одеянии с распущенными волосами **Мотря**. В расхристанной голубой рубашке **Мазепа**.

Мотря. Ваш мощь, вы нелюдимы сегодня. Таким вы меня пугаете. Дела казны или войска? А может, гостья вчерашняя ваша? *(Пауза.)* Про вас казаки знают: своих слов вы на ветер не говорите. Где же ваши обещания жалеть меня до последних дней? *(Пауза.)* Вы нездоровы? Или обо мне подумали недобро? Наваety меня не трогают. Я бежала и еще сбегу от своей семьи, ради вас, великий гетман... Вчера вы пили здоровье некоей пани Дульской. Вдовушка из польской знати...

Мазепа. Дитя мое, оставь напраслину. Подозрения только сердце губят. Могу ли я встретить ангела чище тебя? Для меня ты выше славы, выше власти...

Мотря. Не говорите так, отец мой! Без власти и без славы вы не князь римский и не гетман Украины. Вы не вы. И я разумею, что мучают вас дела державные. Я только хочу, чтобы они не совсем заполоняли вашу душу, чтобы в ней нашелся уголок и для маленькой Мотри. Можете пить здоровье пани Дульской, можете купаться в государственных озерах... встречайтесь тайно с иезуитом, пишите и получай-



те письма от чужеземных королей... только к ночи, хоть на час вынырните ко мне. Покажитесь, живы ли, в силе и здоровье ли? Большого мне не нужно...

М а з е п а . Милая Мотря, верное дитя мое, я ждал от тебя этих слов. Но больше хочу твоего суда...

М о т р я . Моего суда? Над кем и чем?

М а з е п а . Над кем?.. Над чем?.. Над долюшкой Украины...

М о т р я . Мне ли судить целую землю, целый казацкий род?!

М а з е п а . Тебе, Мотря. Сегодня тебе. И пока я решил-ся, ответь мне на такие слова. Кто тебе дороже... отец или супруг?

М о т р я *(вначале испугалась, потом рассмеялась)*. Такое только в сказках услышишь. Играете со мной, гетман?

М а з е п а . Никогда я не был так серьезен. Говори, пока не остыла.

М о т р я *(бросаясь к нему)*. Вы, вы мой отец, мой любимый, мой повелитель!

М а з е п а . Низко кланяюсь тебе, дочь моя и любовь моя. В самое трудное для меня время ты развязала мои руки. Всегда помни то, что ты сказала мне теперь.

Вступает траурная музыка. На сцене освещение гаснет, на помосте оно красным лучом вспыхивает. На краюшке стоит плаха, с нее ниспадает клоч кровавой ткани. По ступеням к плахе ведут К о ч у б е я. Вот он встал, готовый к казни, произнес последние слова.

К о ч у б е й . Не казнь страшна, страшна твоя немилость, гетман... Бог тебя осудит! Имя твое обречено терзаться в сорока сороков поколених! Ты станешь знаком коварства. Черную измену назовут именем Мазепы!..

В одно мгновенье гаснет свет и стучит топор.



* * *

Высвечивается партер. Суд в смятении.

А д в о к а т . Это литература. Поэты тысячелетиями смущают нас своим вымыслом! Пушкин и доброго Сальери сделал убийцей Иоганна Амадея Моцарта!

П р о к у р о р . А что, Сальери не отравлял?..

А д в о к а т (*выбежав на сцену*).

А он не отравлял. Рыдал он,
Когда под реквием пурги
Бессмертье Вольфганга впрягли
В коляску с черным покрывалом.

А он не отравлял, он слепнул
От часа впрягшего навек
Его в легенду и навет

На дьявольских колесах сплетни!

А он не отравлял, и спрятав
Страданье, мстил тебе, молва,
Учеником со взглядом льва,
Таящим «Аппассионату».

Но есть бессмертное, увы,
В тупом топтании по травме.
Расположенье к старой травле,
Инерция людской молвы...

И в землю бьет молва, как молот,
А он в земле, из-под плиты,
Лишь правды, а не доброты
У каждого столетья молит!..

П р о к у р о р . Поэзия и правда жизни – в одно? Одно дело – красота и совсем другое – правда...

С у д ь я . Серьезно люди говорят только о вымысле. О жизни можно говорить только шутя; по большому счету о ней никто ничего не знает.



Адвокат. Да, быль проста до того, что сама себя объяснить не может. Отсюда загадка и Мазепы, и его времени...

Судья. Ваш пример такой загадки, госпожа защитник!?

Адвокат. Да вот... слухи, поклепы гетмана на самого себя... загадка для сорока сороков поколений.

6

На сцене – корчма. Несколько старых казаков препираются по сути пережитого.

Первый. Казачьей вольнице приходит конец... в Украине палкой кинь – в москаля попадешь. Воевод царь Петр шлет к нам на прокорм, и они правят казацким миром. На ярмарку без них не ступишь!

Второй. Пан гетман довел нас до того, что вольные казаки по своей охоте переходят в селяне, только бы не служить Москве. Легче двухдневная панщина, чем семь дней месить болото на Неве, в тине и туне царю столицу строить... А все наше смирение тому виной...

Третий. Перед кем смирение? Перед ратным москалем? Да ни за какие грехи! Что рекрут против казака!

Второй. А давно тебя, казака Терешка, арапником причащали служивые? А наша правда молчит, гетман воды в рот набрал... Только тело Мазепы в Украине, а душа его в Москве. А то и Питер строит!

Первый. И землей теперь все больше владеют не селяне, а монастыри!

Входят два петровских солдата, пристраиваются к корчмарю, пьют. Старые казаки тут же преображаются – запевают веселую песню.

Ой, на горі калина, ой, на горі калина.

Калина-калина, чубарики-чубчики, калина!



Бойкая песня с припляской тянется, пока не уходят москали. После этого собеседники сходятся и продолжают свое.

Первый. Так я говорю, куме и куме, казачество губит себя.

Третий. Не сами себя! Не сами, старшина наша продалась москалям...

Второй. И гетман в первом ряду. Кто запустил московские залогии в наши города? Почему бородатые воеводы допущены к полной власти!?

Третий. Я гетмана бы не трогал...

Второй. А отчего не трогать? У кого власть и талеры? У Мазепы. Без чьего согласия на постой не пустай ни одного отряда конного и пешего, если он не казацкий?

Первый. Куме, прикуси язык. Стены наострили уши.

Входят, в иного цвета мундирах, москали. Казаки поют и пляшут.

Ой, ходила дівчина бережком,
Ой, ходила дівчина бережком...
Підганяла селезня батіжком,
Підганяла селезня батіжком!..

Солдаты выходят, казаки невинно хохочут, пряча конфуз.

Третий. Как мы их дурачим!

Второй *(постепенно хмелея)*. А ты, куме, говоришь: гибнет казачество!

Первый. А что я могу? У меня двух ребер нет и клубы вывихнуты на царской службе. Я же не саблей размахивал, а кайлом да лопатой в болотах на Неве... Город ему заклади...

Третий. И я копал да шитики конопатил под Петербургом...



В т о р о й . Гетман совсем спелся с царем. Не атаман наш, а джура, пахолок у Петра московского наш ясновельможный пан...

П е р в ы й . Ой, побойся Бога, куме!..

В т о р о й (захмелев). А я говорю: чорна рада нужна. Нового гетмана избрать, чтобы не якшался с москалями! Мазепа все в Питер...бух вывозит: и зерно, и худобу, и чеканные карбованцы... Он заодно...

Входят два реестровых казака – хватают В т о р о г о .

П е р в ы й р е е с т р о в ы й . Этот краснобай губу раскатал?

В т о р о й р е е с т р о в ы й . Этот. Берем!

В т о р о й к а з а к . Хлопцы, да побойтесь Бога! Шо я такое сказал? Я же ничего не сказал!

П е р в ы й р е е с т р о в ы й . К сотнику! У сотника под арапником...

Входит С о т н и к . Все вытягиваются в струнку.

С о т н и к . Казаки! Кто посмел в шинку бешкетовать?

П е р в ы й р е е с т р о в ы й . Ваш мощь! Этот отставной казак смуту разводил. На гетмана поклепы складывал!

В т о р о й к а з а к . Да я... да ни мамочки!.. Я и слова связать не умею!

С о т н и к . Всем выйти вон! (Указывая на болтуна.) Только ты остаешься. Поговорим.

Остаются С о т н и к и В т о р о й к а з а к . Мирно садятся к столу.

С о т н и к . Что, Грицко, попался?

В т о р о й . Так вы же велели так тайно клепать на гетмана, чтобы и наши, и москали разумели: народ недоволен гетманом Мазепой.



Сотник. Не я велел, а сам его ясновельможность Иван Степанович.

Второй. Вот я и стараюсь... Только скажите мне на милость, пане сотник, зачем это поводирю нашему, пану гетману, надо, чтобы про него дурные слухи ходили? «З Петром заодно, москалив привечает!» Против него же думать будем.

Сотник. Политика – черное дело, старче. Царских лазутчиков с толку сбивает, доверие самого царя на обмане держит... А сбивая и обманывая тех, сбивает и обманывает своих. Пусть ненавидят его ясновельможность, только бы заодно ненавидели Петра и его разбойников. Боюсь я только, чтобы сам себя хитрый лис гетман не перехитрил. Тут замыслы, казаче, высокие, не нашего ума сила!

* * *

Прокурор. Старый лис, петляет и пышным хвостом собственный след заметает. На триста лет вперед замел – отпечатки его замыслов и деяний где только не сыщешь!

Судья. Каждый живший на земле оставляет след. (*Раскрывает фолиант.*) А уж исключительные личности тем паче. Вот, на скрижалях запечатлена роковая ночь для двух: гетмана Ивана Мазепы и генерального писаря Пилипа Орлика.

7

В глубине – ложе, на первом плане горят две свечи в рост человека, между ними подвесной столик, на нем листы бумаги.
Мазепа и Орлик.

Мазепа (*нервно*). Что же ты не читаешь, Орлик? Ключ к цифровым письмам у тебя в голове.

Орлик. Тут не только письмо княгини Дольской. Тут и от короля Станислава Лещинского послание.



М а з е п а . От Лещинского? Это невозможно!

О р л и к . Возможно. Здесь и подпись его, и печать.

М а з е п а . Дай сюда...

Гетман вырывает письмо. Делая круги, читает молча, ругается.

О, проклятая баба! Оплела. Она погубит меня. (*Задумывается, садится.*) Что мне делать с этими письмами? Пришли в самую переломную ночь. Посылать царскому величеству или удержать?

О р л и к . Ваша вельможность, сами изволите рассудить своим высоким разумом, что из двух посланий следует переправить царю. Этим самым и верность свою неколебимую явить, большую милость у величества взыскать и... Ваша милость, с этим вестовым нищим, точнее, ксендзом-тринитаром, вы виделись по дороге из Желквы? Там же вы делеяли общие замыслы. Теперь – длятся они...

М а з е п а . Сожги предо мною второе письмо!

О р л и к на свече сжигает письмо.

С умом борюсь, посылать второе к царскому величеству или не посылать... Посоветуемся утром. Иди к себе и хорошенько молись Богу, да, яко же хочет устроить вещь. Всевышнему твоя молитва приятнее, чем моя. Ты по-христиански живешь, а я... Но Бог то ведает, что я не для себя чиню, а для вас всех, для жен и детей ваших!

О р л и к . Ваша светлость, я денно и ночью молюсь за дело ваше. Той ночью взял два рубля денег и пошел раздавать нищим и нищенкам, лежавшим в кущах на улице и у монастыря. «Да освободи мя, Боже, от обстоящих бед и отврати сердце его вашмоци от лукавого навета!» У Печерского монастыря нищие едва не побили меня. Боялись – воровать их пришел. Так-то старшине в людях без охраны. Не добра ждут от нас, а воровства! Прощайте, ваше...



М а з е п а . Пстой! Сядь. До сих пор я не смел прежде объявлять тебе своего намерения. Но тайна вот открылась тебе случайно. Знаю, ты не заплатишь мне неблагодарностью за толикую к тебе милость. Боюсь, чтобы в беседах с великороссиянами не прокралось в слове... Да ладно. Призываю Всемогущего во свидетели и признаюсь вот в чем. Не для приватной моей пользы, не для иных прихотей, но для всех, состоящих под властью моею, ради добра бедной матери нашей Украины, для пользы Войска Запорожского и народа малороссийского хочу я при помощи Божьей, для возвышения и расширения вольностей и прав наших так чинить, чтобы вы с детьми вашими и отчизна с Войском Запорожским не погибли как от московской, так и от шведской стороны. *(Упав на колени.)* Если ж бы я, ради каких-либо моих приватных прихотей дерзал так поступать, то пусть побьет меня и на душе и на теле Бог в Троице Святой Единый и невинне страсти Христовы! *(Срывает крест со своей груди.)* Вот крест на животворном древе. Присягни, что будешь верен мне и не откроешь никому секрета!

О р л и к встал рядом на колени. Истоиво молятся. Звучит реквием.

О р л и к . Перед Богом клянусь. И раз, и дважды, и трижды! Неисповедимы судьбы наши в руцех Божиих. Какой предел положен сущей войне и чья будет виктория?.. Если за шведами, вельможность наша и мы все будем счастливы, но если за царским величеством, тогда мы все пропадем и народ погубим в рабстве...

М а з е п а . Если Карл и Станислав разделятся и пойдут – первый на государство Московское, а второй на Украину, то мы не сможем обороняться от шведских и польских войск. Мы подорваны и умалены от частых походов и битв. Потому прежде времени я не решусь отступить от царя. Вот увижу, что царское величество не в силах будет защищать



не только Украину, но и всего своего государства от шведской потенции, тогда!.. Верный Орлик, отпиши королю польскому, что его веление мы не можем осуществить: Киев и все грады наши наполнены многочисленными московскими гарнизонами. Под ними казаки, как перепелица под яструбом, не могут головы поднять... И я сам сугубо охранен большим регулярным войском москалив. Душно... следят за всяким моим шагом. У нас, в Украине, и начальные и подначальные, и духовные и мирские особы, словно разные колеса, не в единомысленном согласии: те благоволят к протекции московской, другие к турецкой, третьим по вкусу побратимство с татарами из врожденной антипатии к полякам. Того ради надобно первее привести к единомыслию вийсько и весь народ на обеих сторонах Днепра. А тут сама Речь Посполитая тепер раздвоена и сама с собой не в согласии. Пусть Станислав прежде приведет к согласию Речь Посполиту. Мир – истинная жаровня. И мы на ней горим...

* * *

Судьи стоят затылками к залу. Поворачиваются разом.

П р о к у р о р . Копии этих писем найдены в Печерском монастыре. Орлик передал их престарелой матери Мазепы, игуменье Марии-Магдалине, чтобы та, через внучатого племянника, рыцаря и полковника Андрея Войнаровского, отправила их по адресатам.

С у д ь я . Мать... Был еще живой и несчастливый свидетель – мать Ивана Мазепы, игуменья Печерского монастыря...

П р о к у р о р . Мать старческим, девяностолетним умом постигла, последнее в неисчислимом ряду, заблуждение сына...

А д в о к а т . Мать смирилась. Она-то видела страдания вольных людей, у которых забирали волю!



Прокурор. Историки и поэты свидетельствуют о неприятии старой Марией-Магдалиной отступничества Ивана Мазепы!

8

Своды храма. М а р и я - М а г д а л и н а с посохом и сын И в а н .

М а р и я . Что, Ивасю? Что с тобой, сыне?

М а з е п а . Матинко, благослови меня на доброе дело!

М а р и я . На доброе дело я всегда благословляю. Какое же это дело?

М а з е п а . Я хочу в малжонство вступить... жениться.

М а р и я . В твои-то годы! Сколько же это тебе! Не поздненько ли, сынку?

М а з е п а . Не в летах, матушка, дело. Аще в силах, говорит святое Письмо, могий вместити да вместит!

М а р и я . Так-то так. Ты не малая дитина, обдумал, поди. А кого вздумал взять?

М а з е п а . Кочубеивну...

Мать откинулась. Трижды поспешно перекрестилась.

М а р и я . Кочубеивну? Дочь Василия Кочубея? Да он сам тебе в дети годится!

М а з е п а . А хоть бы и во внуки. Моя воля.

Смятение переполняет храм.

М а р и я . Которую это из двух его дочерей?

М а з е п а . Матрону.

М а р и я . Да ты – Лот, что ли?!

М а з е п а . Не Лот, мамо. То святой, а я – грешник.

М а р и я . Дочь свою, крестницу, брать в жены!! Грех-то: она твоя духовная дочь! *(Покачивается, не знает, на ка-*



кой образ креститься.) Святой Боже, и когда умрет в нем эта черная похоть? В детстве покоевкам не давал проходу, у короля фрейлин сводил, с пани Фальбовской связался... Милостив был воевода, что не к хвосту коня привязал тебя, а на хребет!..

М а з е п а . Не поднимайте людей из могил, мамо...

М а р и я . Отца бы твоего поднять из могилы. Пусть бы полюбовался на сына своего!

М а з е п а . Полюбовался бы. Кто из нашего рода держал булаву двадцать лет и присно удержит? Кто водился с царями, королями – великими владыками? Имя наше... и твое, матушка-инокиня, летописцы по мне вспоминать будут! А жажда славы и любви – от тебя у меня, мамо! Всю молодую и зрелую жизнь я положил, чтобы набраться силы, выпрямиться – получить от жизни достойную плату. Для себя и для своего нерозумного люда! И вот, перед концом, я не могу терять ни дня: разом возьму себе по достоинству и дам людям им принадлежащее! Ради того я обрек себя на нелюбовь целого края, казаков и женщин. И вот мой час настал! И пришла одна, полюбила на крови... Я до патриарха вселенского дойду, он даст благословение...

М а р и я (в трансе). Патриарх даст – я не дам! Своего, материнского, не дам!

М а з е п а . Мамо... Не нужно мне твоего благословення...

М а р и я (шатаясь и дрожа, идет на сына). Не нужно?.. Так вот же тебе!

Мать взмахнула посохом. Ударила сына.

М а з е п а . Мамо!..

М а р и я . Прочь, прочь! Проклятый, сгинь с очей моих!..

Меняется освещение, П р о к у р о р и А д в о к а т в петушиных позах.



Прокурор (*ликуя*). Что мог – я доказал! Пусть другой докажет лучше!

Адвокат. Это не доказательства! Это досужьи выдумки присяжного шелкопера, которому заплатили!

Прокурор. Я корпус деликте сделал. Кто может, пусть сделает лучше!

Адвокат. Есть лучше, достоверней свидетельства! Та же сцена глазами свободного созерцателя, монаха-летописца!

Снова своды храма. Мария - Магдалина и Мазепа.

Мазепа (*целует руку матери*). Благословення прошу...

Мария. Бог благословит...отныне и до всех дней твоих, сыне.

Мазепа. Не корите за редкие посещения. Заботы и хлопоты, великие и малые, забирают весь досуг...

Мария. Ох, знаю твои заботы – в голове тесно, и поделиться не с кем.

Мазепа. Как думаете, мамо, так оно и есть.

Мария. Ты устал, может, у тебя болит что? У нас хорошая лекарька...

Мазепа. О, нет, мамо, телом я – слава Богу! Душа натружена.

Мария. Что за печаль тебя гнетет, Иване? Ты мне снился на белом коне и с крестом в руке. Грех верить в сны, но мудрый говорит: мой сон или к великой радости глаголит, или к великому горю. Моли Господа, не дал бы ни того, ни другого. Ты все имеешь.

Мазепа. И вы, мамо, как простолюдины. Неужели этот орден святого Андрея и эта корона Князя Римской империи, которую мне прочат, – это ли честь да виктория великая?



М а р и я . Слушаю тебя, сыне, и боюсь за тебя...

М а з е п а . Да, да, я хочу, чтобы после меня сказали: Мазепа освободил Украину.

М а р и я . Благая и непосильная дума вселилась в тебя, сыне Иване! Матерь Божья, наша заступница, да поможет тебе... Но достоин ли ты чести такой, Иване?.. *(Пауза.)* Молчишь?

М а з е п а . Вам ли я могу сказать... если вы знаете меня, как шинкарь знает стертый пятак!

М а р и я . Ой, знаю, сыне, и не всегда с лучшей стороны. Как грешника нераскаявшегося тоже знаю.

М а з е п а . И снова, матушка Магдалина, вы о женщинах?

М а р и я . Не пора ли тебе сказать: предел?

М а з е п а . Истинная красота поражает меня, так вроде новый дух вступает в тело. С нею я могу сражаться и побеждать!

М а р и я . Се и есть твой грех. Похоть плотская гонит тебя на бой. А только то, что с духа исходит, бессмертное есть, а тело – тлен.

М а з е п а . Пусть на белом свете будет один, кого тленное тело обессмертит!

М а р и я . Ох, весь ты в батьку своего. Польшал казак земной любовью и за неньку Украину под булавой Выговского душу отдал.

М а з е п а . Тож благословите меня, мамо!

М а р и я . Я знаю, знаю, что сказано тобою, а еще более знаю, чего ты не сказал. Иди... с Богом. Может, не увидимся более... *(К иконе.)* Господи наш, Иисусе Христе, претерпевый за нас, помилуй этого одержимого казака! *(Ивану.)* Иди, сыне, и дей так, как естество твое жаждет! Держи булаву высоко! Чует мое сердце...

М а з е п а . Господь наш, да матушка моя только знают, как тяжка сия булава!



М а р и я (с рыданием). Неси свой крест, сыне, неси! А я помолюсь...

* * *

За судейским столом неожиданный хохот. П р о к у р о р листает «Дело».

П р о к у р о р . Плуту и черт детей колышет! В тот же день, когда Мазепа созрел для измены, его царское величество Петр велел наградить его высшим орденом Московского царства!

А д в о к а т . Не вольно решил, а вынужденно интриговал, дабы пользу большую извлечь. И не просто наградил, но сделал это с помпой, чтобы задобрить. И поручил торжества и дипломатию самому Александру Даниловичу Меншикову!

9

На помосте сгрудились казацкие старшины и делегация от царя. Невидимый хор поет величальную. «А мы гетмана величам! Величам в душе, величам!» Сам Александр Данилович прикрепляет к груди М а з е п ы орден.

М е н ш и к о в . Венчается его ясновельможность пан гетман Иван Степанович высшей наградой царства – орденом Андрея Первозванного с лентой. А на ленте надпись по велению самого его величества Петра Алексеевича Первого: «За веру и верность!» Его царское величество зело милостив к вашей милости, ясновельможный наш друг, и почитает не меня, а вас вторым человеком в царстве!

Г о л о с а :

– Еще не было гетмана полезней и выгодней, чем пан Иван Степанович!

– Царь скорее не поверит ангелу, чем Мазепе!



Вельможи наверху чокаются, кричат: «Виват!», пьют. Снова гремит величальная. М е н ш и к о в под руку ведет М а з е п у по ступеням вниз.

М е н ш и к о в . Относительно верности ясновельможного Ивана Степановича у Великого Петра и сомнений быть не может. Я от себя намекну только на старшину вашу. Уж очень в пух и перо вбилась она и порывается високо летать. Каждому из них мнится: в своем полку он полный суверен. И нет среди них такого, который и асмадею самому не продан бы, только бы заполучить булаву. А еще сыну своему ее передать. Слухи повторяют: у пана Мазепы-то нет сыновей. *(Вроде бы интимно, однако так говорит, чтобы настороженные уши слышали.)* Ох, пора вам, гетман Иван Степанович, укротить недоброжелателей ваших, да и наших хулителей, пора показать свою силу и власть!

М а з е п а . Того я не могу сделать. Не могу и не хочу.

М е н ш и к о в . Что слышу я! Объяснитесь, ваша милость.

М а з е п а . Не пора. Имея лютого врага закордонного, которого не одолели, к сему еще вызывать на поединок домашних врагов... не пора начинать худшую из войн – домашнюю.

За спинами голос: «Ваше сиятельство Александр Данилович! Экипаж подано! Его величество велели – к нему, в полк!».

М е н ш и к о в . Крепка у тебя холка, ваша милость Иван Степанович. Не для ярма. Однако все мы под волей его величества, а царь повелел тебе: «Слушай, что скажет Данилыч!» Думай, одначе к царской мысли придем за последним словом. И последнее слово будет его...

М е н ш и к о в козыряет, кивает адъютанту – оба уходят. С т а р ш и н а сходится в кружок к гетману. Тут Апостол, Ломиковский, Орлик, Зеленский и другие полковники.



М а з е п а . Слышали, панове старшина?

С т а р ш и н а . Слышали, ваша милость! Каждое слово уразумели, ваша ясновельможность!

М а з е п а . Ну? А ваше слово каково будет в ответ, полковники? И ты, обозный, и ты, писарь?

Освещение переносится на стол судий.

П р о к у р о р . Ваша честь, госпожа судья, прошу занести в дело лисью хитрость гетмана Мазепы. Не напрасно его еще при дворе Яна Казимира называли лисой, а в годы гетьманства и в Московии, и в Речи Посполитой так и величали – Старый Лис! А все потому, что Мазепа свои давно созревшие решения подло переключивал на других. Натворит и – умоет руки. Пилат!

А д в о к а т . Прошу, ваша честь, заметить, что все негативные прозвища его ясновельможности пану Ивану Мазепе приписывали уже постфактум, то есть после его перехода на сторону Карла двенадцатого, чтобы унижить великого дипломата и державного деятеля!

С у д ь я . Прошу не мешать течению дела!

С у д ь я стучит молотком. Высвечивается сцена у гетмана. С т а р ш и н а возмущенно требует того, чего и хочет М а з е п а .

М а з е п а . Всякую мя оставил еси, Господи!

А п о с т о л . Бог не оставит и я не оставлю тебя, ясновельможный мой гетман! На краю пропасти я не оставлю тебя, Иван Степанович!

Г о р л е н к о . Прилуцкий полк с ясновельможным паном гетманом навечно!

З е л е н с к и й . Веди, ваш мощь, Лубенский полк под своею хоругвою!

Л о м и к о в с к и й . Обозный Ломиковский и его пушкари готовы на тирана!



М а з е п а (*обозному*). А ты все продумал, мой верный лысый черт и бес, пушкарь Ломиковский?

Л о м и к о в с к и й . Не идти же нам к петровскому генералу Инфлянту, который уже совсем воцарился в Киеве! Он же приманивает вашу светлость, чтобы взять в руки?

Г о л о с а . Нет, нет и еще раз нет!

А п о с т о л . Ты объяви нам, гетман, чего имеем делать с целою Украиною и Войском Запорожским и на каком фундаменте ты ту махину заложил?

М а з е п а . Для чего вам о том прежде времени знать? Спуститесь вы на мою совесть и на мое подлое разумишко, на котором вы не заблудитесь больше. По воле Божей имею его, аки вы все разом имеете. (*Ломиковскому.*) Ты уже свой разум выстарил. (*Орлику.*) У тебя еще разум молодой, дитячий. Думайте. Каждый из вас имеет семью, маетности, у многих за плечами немалые годы. Ты, полковник Апостол, ходил с царскими ратниками под Нарву, рубился в Ливонии и Курляндии, тебе ли поворачивать коня против соратников?

А п о с т о л . Ненька Украина слезно просит.

М а з е п а . А ты, Прилуцкий полковник Горленко, горяч и скор на руку, ты не раскайшься при невзгодах и утратах?

Г о р л е н к о . Не смей сомневаться, наш княже и поводырь!

М а з е п а . В Орлика я верю, в Зеленского, Скоропадского – тоже, хоть последнего и нет сегодня среди нас...

А п о с т о л . Будет, ваш мощь, будет он завтра же.

М а з е п а . Вот до завтра и подумайте. Напишите Универсал сами, как знаете, а я буду поступать, как вы велите.

А п о с т о л . Ох, пане гетмане, время не ждет. Москальские полки заполонили не только Киев, Лубны, Полтаву, но и у тебя, в Батурине, – тебя охраняют целой сотней на позор казакам!



М а з е п а . Меня угнетает царская забота. Говорит его величество, что своими москалями он меня от вас бережет.

О б щ и й г о л о с . Позор! Поношение! Дурней из нас делает!!!

М а з е п а . Только от одной такой почетной неволи я готов бежать за край света.

Грохот и голоса за дверью вестового и стражника.

С т р а ж н и к . Стой! Пароль?

В е с т о в о й . Гетман и король!

С т р а ж н и к . Подай слова!

В е с т о в о й . Степная сова!

С т р а ж н и к . Проходи!

Среди старшины движение. Вбегает в е с т о в о й , падает к ногам.

В е с т о в о й . Ясновельможный пане гетмане, позволь сказать!

М а з е п а . Говори... *(Пауза, оба осматриваются.)* Говори при всех.

В е с т о в о й . К вам скачет посланец его величества полковник Протасьев. Лазутчики наши велели передать: от имени царя Протасьев потребует от самого вашей милости собственноручно вести казацкие полки на Речь Посполиту, на короля Станислава Лещинского.

М а з е п а . Все сказано?

В е с т о в о й . Все, ваша милость.

М а з е п а . Иди в трапезную, тебя накормят.

В е с т о в о й уходит. Замешательство.

М а з е п а . Царь Петр велит вести полки на Станислава. Аккурат против того, что вы тут порешили. Что ответим?

З е л е н с к и й . На беду и казаки, и кони, и пушки, и зброя в сборе...



Горленко. Встанем сразу против царя!..

Орлик. Казаки душевно не готовы. Весь год настраивали мы их против шведа и поляка. И даже против самого Ивана Степановича, а тут вдруг – против царя.

Апостол. Как все переломить? Боже, уразуми!

Ломиковский. Отвести пушкарей за леса...

Орлик. На глазах у посланца? Это же, поди, высокая особа, все узрит.

Зеленский. Похоже, не сегодня начинать нам!

Апостол. А вести полки на Лещинского нельзя.

Горленко. Неужели нет выхода? А коли убить посланца!

Зеленский. При сотне московских ратников вокруг дворца гетмана?

Апостол. Что делать? Что делать?

Мазепа (*мощным голосом*). Ложе мое! Полог! Его блаженство митрополита отца Иоасафа ко мне! Митрополита! Обряд елеосвящения!!

Меняется освещение. Появляется ложе, гетман быстро снимает верхнюю одежду, ложится. Его окружает старшина. Входит митрополит Иоасаф с крестом, опускается полог, и только потом впускают полковника царской службы, только с началом молитвы входит посланник с пакетом.

Иоасаф (*над ложем*). Лекарю душ и тел наших, источник жизни нашей Христе Иисусе Господь и Спаситель наш! Глянь милосердным оком Твоим на сего доброддея в тяжком недуге, склонись к нашим слезным упованиям, перстом милосердия Твоего коснись немощного тела недужого брата нашего, погаси огонь тела его, уйми боль и страдания его, верни здоровье ему, вознеси его с ложа немощи, продли дни жизни его, дабы на земле он послужил Тебе, Господи!

Старшина с течением молитвы становится на колени. Вошедший проникается горем и тоже встает на колени.



...Дабы он ходил по стезях Заповеди Твоей да удостоился Твоего Небесного Царства и со святыми заодно славил Тебя, Бога милосердного, с Отцом и Духом на веки веков. Аминь!

П о л к о в н и к (*поднимаясь с колен, не зная, кому докладывать*). С предписанием от его величества Петра – полковник Протасьев... Беда случилась?

А п о с т о л. И так прискорбно и приступно случилась. Не вынесла душа война, истерзанная боями и кознями, годами и лишениями...

З е л е н с к и й. То радость и ликование вознесли душу от гостя – князя Александра Данилыча да награды от его величества царя Петра...

О р л и к. ...а то кинули в печаль казацкие распри да жалобы с далеких и близких рубежей...

Л о м и к о в с к и й. А тут еще коварство новоиспеченного короля Станислава Лещинского...

П о л к о в н и к. С кознями Речи Посполитой воевать я и послан его величеством. Указ государя ясновельможному гетману гласит: самому его светлости вести реестровые и охочекомонные полки на Лещинского.

Дюжиной голосов тихо взвыли священник и невесть откуда взявшиеся певчие и старшина.

О р л и к. Рады служить царю-батюшке нашему. Только ведь вести полки придется кому-то другому...

А п о с т о л. Мы готовы, ваше высокоблагородие!

З е л е н с к и й. Я уже на марше!

П о л к о в н и к. Но ведь государь велел самому ясновельможному...

М а з е п а (*едва подавая голос*). Я встану... Вот отлежусь и поведу... Пане полковник, передайте его величеству, что гетман превозможет хворь, это три-пять дней – и собственноручно, под своим бунчуком исполнит волю царя. А ныне



не в силах. Да простит мне Господь, это кара за грехи наши...

О р л и к . Я сию минуту отпишу рапорт его величеству!

На судейский стол падает резкий луч света. Одновременно с у д ь я стучит молотком – звук усиливается ухом.

С у д ь я . Суд удаляется на совещание!

10

Короткое затемнение. Вдали вспышки канонады. Встречные лучи играют желтыми, красными и синими бликами. Как бы чужие войска приближаются – Карл форсирует Березину. Высвечивается первый план. За судейским столом – кулуарный шепот между прокурором и судьей. Адвоката нет.

П р о к у р о р . Пока адвокат опаздывает, господин судья, позвольте слово с глаз на глаз.

С у д ь я . Только пока адвокат опаздывает...

П р о к у р о р . Как вы думаете, ваша честь, оправдание Мазепы в нашей неустаканившейся державе всем понравится?

С у д ь я . Разумеется, после трехсотлетней анафемы и дюжины полных плечевых прицепов самой противоречивой литературы от немцев и поляков, русских и даже арабов... мозги большинства настроены на презумпцию вины.

П р о к у р о р . Ваша честь, так почему же именно вы хотите потерять карт-бланш на этом давно упокоенном и полузабытом пройдохе-гетмане?!

С у д ь я (*нерешительно*). До решения суда не суйтесь со своим вердиктом.

П р о к у р о р . В наше время, кроме презумпций и вердиктов, есть еще такие понятия, как синекура и весомые оклады для избранных, судей и прокуроров. Может, лучше поговорим о них, пока господин адвокат опаздывает?



Адвокат (*вдруг входит*). Адвокаты не опаздывают, а задерживаются в связи с опросом исторических писателей.

Прокурор. Исторические писатели разбираются в истории приблизительно так, как птицы разбираются в орнитологии. Те летают, питаются, размножаются, эти – тоже...

Судья (*вдруг сурово*). Приступим к делу! (*Стучит молотком.*) Итак, сцена в штабе его величества короля шведов Карла двенадцатого – лучшего полководца Европы на изломе семнадцатого-восемнадцатого веков, победителя поляков, датчан, саксонцев, русских... всех, кто вставал на пути его военных игрищ! В штабе работают генералы и советники: квартирмейстер Гилленкрок, граф Пипер, генералы Реншильд и Мейерфельд.

* * *

На верхней площадке – штаб кружится в веселой горячке.

Карл. За спиной форсированная Березина, еще один несчастливый для названного брата моего царя Петра бой при Половчине. Мы в Могилеве, до Гетманщины и его ясновельможности Мазепы – рукой подать.

Пипер. Ваше величество, удача сроднилась с вами. Но даже самая большая удача требует передышки.

Карл. Граф Пипер, вы забываете предсказания Парацельса и нашего современника ясновидящего Урбана Гарна. Золотой Лев севера с малыми силами одолеет Орла. Вся наша с вами общая история не дает вам повода сомневаться. Ваш король не умеет жить без противника перед его арьергардом. Война – страсть и способ существования Карла двенадцатого. Битва – это игра, высокая стратегия и мелкое шулерство! Сей ночью у меня был расстрига-епископ, си речь, агент гетмана Мазепы. Завтра мы двинемся в Украину!



Г и л л е н к р о к . Ваше величество, если вы изволите прислушаться к моему совету, я против.

К а р л . Аргументы?

Г и л л е н к р о к . Не в степь надо идти, а к Лифляндии – соединиться с корпусом генерала Левенгаупта. Там десяти тысячная отборная армия, семьдесят два орудия, все продовольствие вашей, ваше величество, армии...

К а р л . Еще мнения есть?

П и п е р . Я советую повернуть к Витебску и соединиться с Левенгауптом. Нам нужен мощный боевой кулак...

Р е н ш и л ь д . Малодушие, господин граф Пипер. Русские ратные люди – это сборище рабов и трусов, необученных и тоскующих по своим избам да бабам. С ними царь не посмеет напасть на Левенгаупта.

М е й е р ф е л ь д . А вот казаки Мазепы – прирожденные разбойники. Они срослись с конем и саблей. Мазепа приведет нам, как обещал, двадцать тысяч головорезов. Это числом – едва ли не с наше войско.

К а р л . Истина! И предупреждаю осторожных советников: если мы будем медлить с походом на восток, золотой северный Лев не исполнит предсказаний Парацельса, не успеет установить власть истинной лютеранской веры над Азией и Африкой и пренебрежет зовом истории! Итак, в Украину!

Тут вбегает и падает на колени в е с т о в о й .

В е с т о в о й . Ваше величество, позвольте слово молвить!

К а р л . Ты от кого?

В е с т о в о й . От генерала Левенгаупта. Из Лесной!..

К а р л . Говори!

В е с т о в о й . Корпус разбит, генерал Левенгаупт капитулировал. Весь обоз с продовольствием и фуражом у князя



Меншикова! Семдесят две пушки – тоже! Шесть тысяч наших беглецов, оборванные, голодные и раненые – все, что осталось от армии генерала Левенгаупта!..

К а р л (*взревел*). Вон!!! Дурному вестнику – топор!

В е с т н и к . Ваше величество, помилуйте!

П и п е р за ворот выталкивает вестника. Задерживается. Возвращается.

К а р л (*в трансе и ступоре*). Левенгаупт капитулировал... Это ложь! Татарский наговор! Этот рейтер – сочинитель, поэт. Казнить. Казнить вестника! Нет, это ему южное солнце в голову ударило. Шведы не сдаются! При Головчине впереди был король, который не склоняет головы перед ядрами и пулями. Солдаты видели своего полководца, сына многих побед, и – побеждали... Нет, Левенгаупт не мог капитулировать!

П и п е р (*входя*). Ваше королевское достоинство, я вынужден удостоверить правдивость слов всадника Мручо, я его знаю, он шутник, но никак не врун. Он доложил мне события при Лесной в таких деталях, что вымыслить их невозможно. (*Встает на колени.*) Примите печальный факт с присущим вам мужеством.

К а р л (*типо*). Значит, моей великой армии уже нет?

Г и л л е н к р о к . Ваше величество, но есть еще армия здесь. Есть мы, ваши соратники по несчастью.

К а р л . Но моя армия! Моя армия, равной которой не было в мире... Знаете ли вы, что если бы мне сам Всевышний велел выбирать: армия или престол, я не колебался бы – армия! Это моя стихия, мои шахматные фигуры на доске, мой воздух для дыхания! Я бодрствую с нею и сплю с нею. Она повинуется моему взгляду, моей мысли без слов. С нею я – Карл двенадцатый Густав!.. И Левенгаупт сдал ее, он не подчинился моему приказу – умереть...



П и е р . Но, ваше величество, генерал Левенгаупт все же привел почти шесть тысяч солдат...

К а р л . Молчать! Без обозов с провиантом и фуражом, без пушек, без семидесяти двух лучших орудий... оборванные, израненные – это же шесть тысяч нахлебников к нам, у которых провиант и фураж на исходе, которые надеялись именно на обозы Левенгаупта!.. Я ему такого не приказывал. Я велел привести в степь все войско, амуницию, провиант. Как он мог? Русских ратников было меньше его корпуса...

П и е р . Меншиков перехитрил его. В ночи окружил табор генерала тысячью барабанщиков и бил истошно, стрелял и жег лес. Шведы подумали, что русских втрое больше.

К а р л . Это кара божья за то, что я послушал гетмана и советчиков, рано привел войско в степь и разделил его... Горе мне, горе...

Входит а д ъ ю т а н т .

К а р л . Что еще сотворилось, поручик?

А д ъ ю т а н т . Ваше величество, прибыл его ясновельможность гетман Украины Иван Мазепа с войском...

К а р л (*мгновенная смена настроения – ликование*). О, радость! Гетман Иван обещал двадцать тысяч отборных головорезов на конях! Он обещал две тысячи возов, фур, каруц с провиантом и порохом. Вот они! Проси гетмана ко мне! Полная компенсация!

Входят М а з е п а и О р л и к .

К а р л (*ярко*). Приветствую ясновельможного пана гетмана и его войско Запорожское! Чем порадуете, ваша светлость?

М а з е п а . Ваше величество, под вашу руку приведено четыре тысячи казаков, конных и пеших поровну.



К а р л (*угасая*). Четыре тысячи?

М а з е п а . Ваши генералы медлили, мир полнился слухами о поражениях некоторых корпусов... в Украине началось брожение. Слухи, неверие, но...

К а р л . Ваши обозы с провиантом? Оружие? Пушки, порох?

М а з е п а . Наша надежда на ваши ресурсы, ваше величество. Мы без...

К а р л (*сатаня*). Уговоры, гетман, у нас соблюдают? Вы знали, на что идете. Я в чужой стране и должен теперь надеяться только на себя?!

М а з е п а . Ваше величество, к тому же медлить заказано. Царь Петр пребывает в заблуждении относительно моей ему верности. Если этим не воспользоваться сразу, у него большие силы по моим городам стоят. Он обратит их против казацких семей, против верных нам старшин, те в страхе за детей и достаток перебегут к нему...

К а р л . Это политика, гетман! Мне нужны боевые ресурсы, которые... Которые ныне не готовы выступить в Украине.

М а з е п а . По уговору шведской армии при погожих днях надлежало идти через Левобережье в Гетманщину. Только так мои посполитые смогли бы согреть и прокормить войско. Задержка чревата бедой.

К а р л (*пресно и холодно*). Ваша яснотельможность, у нас один главный командующий. И он перед вами. (*Зло вышагивает. Пауза.*) Прошу спуститься в приготовленные вам покои, отдохнуть с дороги, скромно потрапезничать... И пусть вас не смущает присутствие моих людей при вас. В боевой обстановке вас подстерегают кругом опасности: соглядатаи, изменники, заказные убийцы. Что поделаешь, земля-то чужая. Потому я вам предоставляю свою охрану.

М а з е п а . У меня своя варта, ваше величество.

К а р л . Моя стража – надежней. Разрешите раскланяться...



В партере только судья и адвокат.

Адвокат. Правда куда страшнее вымысла. Ваша честь, я хотел бы, пока прокурор задерживается, узаконить и опубликовать факт усталости армии Карла двенадцатого, правду о ее плохой экипировке, малочисленности...

Судья. Вам зачем это нужно?

Адвокат. Не мне, а объективному расследованию. Ведь слава Полтавской битвы столь преувеличена, а недомыслие и вина гетмана Мазепы столь очевидны для непосвященных...

Судья. Вина очевидна...

Адвокат. Да, но мы с вами – его потомки, черты его характера и поступки так близки нам, что мы повторяем их, пусть в ничтожных пределах – не те масштабы, но!

Судья. В наши дни каждый трактует былое, как ему выгодно ныне. Не лучше ли следовать правде и только правде, ничему, кроме правды?

Адвокат. А если полюбовно собрать факты?..

Прокурор (входя). Что тут собираются полюбовно собрать?

Судья (осекаясь). Факты!

Штаб Петра I. Царь и Меншиков.

Петр I (с сочувствием). Я знаю, что его светлость гетман хворает. Тяжело, лежаче хворает. А он нам нужен на ногах, даже на коне. Поднять его сможешь только ты, Данилыч. Собери подарок гетману Ивану, поезжай лично, приласкай, от меня поклонись старому вояке. Там император Иосиф возвел гетмана Мазепу в князья Римской империи – знаки княжеского достоинства у меня. Иван Степанович любит почести, блеск и деньги, так ты отвези ему регалии,



по-казацки – клейноды князя. Это взбодрит его. Да напомним, что я перед ним вину чувствую. При Азове, по молодости, за чаркой и игрой я ухватил его за ляшеские усы. Шутка, пьяная дурь, а он вспыхнул, за саблю схватился. Ссориться с ним было опасно – Азов-то взяли казаки его. Я выпил с ним тогда на брудершафт... Но знаю, что старик молодому не простил... Поезжай, Данилыч...

М е н ш и к о в . Мин херц, негоже царю поклоны слать своему вассалу.

П е т р I . Негоже. Но негоже и страшиться названного брата Карла шведского. А я уже подписал послание ему. Отдаю Полоцк, отдаю Псков с землями, а за болота, названные нами Петербургом, я готов платить... только бы не шел Карл в Украину, не сливался с казаками... Чует мое сердце...

М е н ш и к о в . Мин херц, ты подписал? Это после Лесной и фиаско Левенгаупта?! Окстись!! У короля Карла осталась половина армии!

П е т р I . А если к нему присоединятся казаки? У них живая злость на меня... Поезжай, князь, я велю. Утешь гетмана Мазепу. Одари щедро...

Вверх по лестнице бежит, падает, кричит снизу в е с т о в о й .

В е с т о в о й . Ваше величество! Ваше величество, светлый царь, не прикажи казнить, прикажи слово молвить!

П е т р I . Кто там, словно с пожара?

М е н ш и к о в . Капитан Мягков из Малороссии.

П е т р I . Зови.

В е с т о в о й *(вбегая наверх, падая на колени)*. Ваше величество, измена! *(Подает царю бумагу.)* Универсал гетмана Мазепы о переходе полков и коша Запорожского на сторону шведа и поляка!

П е т р I *(схватил бумагу, читает, трясется)*. «Кощевому атаману Костю Гордиенко с войском Запорож-



ским... полковникам: Прилуцкому Горленко, Миргородскому Апостолу, Лубенскому Зеленскому, Переяславскому... так-так-так... обозному Ломиковскому... вывести полки и пушкарей в поле, повернуть к соединению с армией его величества короля шведов Карла двенадцатого».... Так-так-так... Не так! Неправда! Кто сочинил Универсал? Подлог! Это лях Лещинский, коварный выскочка! Не мог гетман Иван такое писать против своего царя и благодетеля! Третьего же дня он, его вельможность Мазепа, приказал устроить в Чернигове хлебные лавки для русского войска и сразу завез туда пятнадцать тысяч четвертей хлеба. Он же разложил сбор на весь полк по четверику житной муки с дыма. Вот, на моем столе, еще теплый его прежний Универсал: казакам и посполитым пребывать в непоколебимой верности царю, везде по церквам публично молиться за дарование победы царю над еретиками шведами... Жителям всех полков при явлении шведов гетман велел прятать в землю съестные запасы, угонять худобу, забирать одежонку и бежать в города! Тут расписано об укреплении валами и рвами городов: Стародуба, Ромнов, Чернигова, Гадяча... Как я могу допустить хоть тень измены? Вот еще письмо гетмана с вопросом: куда отсылать охочекомонных полковника Танского?! Вот цидулы лазутчиков: по всем кабакам, шинкам и корчмам глашатаи корят гетмана за сугубую привязанность к русскому царю, за позволение им, Иваном Мазепой, заполнять города Украины москалями, си речь, ратниками Московии! Как поверить новому пасквилю?!

М е н ш и к о в . Мин херц, поверить придется. Вот письмо гетмана, перехваченное у посыльного польского короля Лещинского – Яна Окрасы. Тут, не во гнев твой будь сказано, ты уже не великий царь, но – антихрист и казнитель малороссийского казачества и посполитых, кровопийца и хворый душой азиат...

П е т р I (*выхватывает письмо, читает*). И ты доселе молчал, мерзавец?



Ударяет М е н ш и к о в а, швыряет письмо.

М е н ш и к о в . Я давал тебе, ваше величество, высказать аргументы «за», а потом готов был подать свои – «против».

Царь хватает стол, бросает его сверху – столешница слетает, ножки отваливаются. Троица судей подбирает обломки, держит в руках и смотрит окаменело на происходящее.

П е т р I . Шереметева ко мне!

По ступеням слева бежит вверх фельдмаршал.

П е т р I . Повернуть авангард твоего корпуса на Украину! Ждать указаний!

Шереметев кланяется, уходит.

П е т р I . Шафирова ко мне!

По ступеням справа бежит главный каратель.

П е т р I . Всех старшин Гетманщины перехватывать в дороге, поднимать с постели, держать под стражей. Семьи старшин, от обозного, полковников и до сотников и урядников, всех, чьи кормильцы ушли с предателем, – всех под домашний арест с лишением пищи и ухода! Всем угрожать карой, смертью!

Шафиров кланяется и убегает.

П е т р I . Преподобного отца Никона ко мне!

Путаясь в рясе, справа поднимается патриарх Н и к о н .

Н и к о н . Благословит Бог твое...

П е т р I . Оставь свои фиглярства, патриарше!.. В храмах и церквях тут же прекрати молебен о здравии гетмана Украины Ивана Мазепы... Сугубо раздели в литургиях пра-



вославную веру и лютеранскую. Вели внушать мирянам, что горе от еретиков надвигается на бедную православную Украину, а за еретиками на люди – мор, неволя, голод и казни на огне! Иди, поп, я на тебя надеюсь. И – до особого распоряжения...

Н и к о н тяжело спускается вниз.

П е т р I . Данилыч, регалии князя Римской империи для гетмана – сожги на костре! Переплывь серебро на монеты!

М е н ш и к о в . Мин херц, ваше величество... а самого Мазепу – что?

П е т р I (*обессиленно хрипит, тихо*). Ивана... Степановича... самого гетмана... Мазепу... (*Орет.*) Не вам, пирожникам, лапотникам, прихлебателям, пьяницам и ворам... не вам касаться до полы жупана гетмана Ивана Мазепы! Вон! Все вон!!!

12

Наверху гаснет свет, внизу судьи собирают стол.

П р о к у р о р . Разрушил гетман Иван Украину, как царь Петр разбил вот этот стол. До него была руина, он наладил жизнь... и теперь сам же ее скостил... Погибнет Батурин, цветущая, самая роскошная европейская столица. Сгорит под пушками Запорожская Сечь, исподволь цари введут крепостное право на самых вольных угодиях на планете.... К чему были и бури, и страсти, и подвиг отступника Ивана?..

А д в о к а т . Ваша честь, история не знает сослагательного наклонения, но если бы не восстал гетман Мазепа, разве алчность Петра все равно не привела бы к крепостному праву на Украине?

С у д ь я . Если бы да кабы!.. Мы с вами собрались не гадать, а судить. Правда, одна только правда, ничего, кроме правды.



Прокурор. В таком случае – еще один факт, еще одна непостижимая уловка гетмана... извилина в поведении гетмана!

* * *

Внизу по краям стоят два шведских солдата с ружьями «на часах». В глубине штора напоминает крупную решетку. Согнулся в кресле Орлик, в дверях опирается на саблю Войнаровский. Печально ступает взад-вперед гетман.

Мазепа. Что его величество король Карл?

Войнаровский. Не принимает.

Мазепа. Ты сказал, что явился от меня?

Войнаровский. Мне ответил Пипер: его величество с утра на охоте.

Орлик (*горько смеется*). Армия переполовинена, интенданты грабят села, казаки голодают... король на охоте с утра!

Мазепа (*Войнаровскому*). Небоже, позови ко мне всю старшину.

Войнаровский. Ваша ясновельможность, всю не могу.

Мазепа. Что, с королем на охоту отправилась?

Войнаровский. Обозный Ломиковский и кошевой Горленко – тут, а вот Апостол, Зеленский... и еще не установлено кто... отправились в свои маетки. Не во гнев вам будь сказано, ушли от нас.

Мазепа. Мой сон мне в руку... Царь Петр велел отнять маетки у всех старшин, кто пошел со мной, семьи – под домашний арест, на хлеб и воду, а полковники приговорены. Только тот, кто вернется с повинной, получает все маетности и привилегии себе и потомству.

Орлик (*в легкой истерике*). Обманул нас король Карл! И армия шведов непобедимая, и придет она в Украину сра-



зу же!.. Пришли годом позже, а тут – усталость душ и нищета...

М а з е п а . Хуже, что король обманывает себя. Издали и мы поверили. А на поверку не он сильнее сильного, а его противники: поляки, датчане, саксонцы – были слабее слабого. Московиты еще пять лет назад – тоже. Но Петр вздыбил войско, разбудил смерда. Теперь он с ратниками, коих втрое больше Карловых, с пушками, коих семьдесят с лишком против четырех у шведов... И Меншиков с его лихо-стью, коварством и... совсем без сердца... Это еще пятьдесят пушек и десять тысяч ратников.

О р л и к . Что делать? Что делать?!

М а з е п а *(движением подзывает к себе Орлика и Войнаровского, оглядывается на стражу, тихо по-украински говорит)*. Тры добы мы з вами живэмо не у спильныквив, а в почэсний тэмныци. Я выришыв зробыты спробу пэрэмовытыся з царем Пэтром. Вночи напысав йому лыста з пропозыциею. Ось думка: вирни мени чотыры ты-сячи козаквив беруть в полон самого Карла дванадцатого – вин выиздыть на полювання з малым почтом. Мы здаемо цареви його навиженого брата Карла, тым самым шведы капитулюють. А цар Пэтро повэртае Украины уси поперед-ни права та свободы. Я на останни дни, що мэни зальши-лись, добуваю гетьманом, я ж и вызначаю свого наступны-ка. *(Пауза.)* Бачу, иншого выходу нэма. *(Пауза.)* Або так, або гынэмо разом з вийськом швэдив у перший-липший звытязи...

В о й н а р о в с к и й . Ваша ясновельможнисть, батьку! Я згодэн загынуты. Чэсть лыцаря мэни дорожча...

М а з е п а . Сынэ, ты молодой та горячий. Мова нэ про тэбэ и не про мэна, котрый вжэ досяг уси розумни мэжи життя. Мова про козацьки вольности, автономию Украины. Роздроблэну, прыныжэну, алэ автономну. Карл вийну не выграе.



Орлик (*переходя на русский язык*). Мудрость гетмана привела к беде, на ту же мудрость нынче положимся во спасение.

Войнаровский. Повинуюсь, ваша светлость...

Мазепа (*из-за пазухи своей за пазуху рыцарю перекладывает письмо*). Сыне, ты же и доставишь письмо царю Петру. Знаю, что такое сделать невозможно. Убьют шведы здесь или русские там – но ты доставишь.

Войнаровский. Мертвым доставлю, ваша ясно-вельможность.

Мазепа. И ответ привезешь сразу.

Войнаровский. Сразу, батьку!

13

Наверху у царя – суета и беготня. Как-то так получилось, что все разбежались, царь один.

Петр I (*отрешенно*). Господи, помяни царя Давида и всю кротость его... Господи, надоумь и не низвергай мя в геенну огненную. (*Орет.*) Нет тебя, Вседержитель, коли в отступниках ходят самые верные... Князь Репнин! Бауэр! Фельдмаршал Шереметев! Старые и чреватые вожди мои, где вы?!

Внизу высвечиваются полководцы царя.

Слушай наказ! Под свою руку я возьму охочекомонный полк и выйду в бранное поле – со щитом или на щите! А вы собирайтесь в поход. Делайте, что велит вам долг и честь. Только слушайте, что говорит Данилыч! (*Зовет.*) Данилыч!

Вдруг перед царем встает Войнаровский.

Петр I. Ты кто?



В о й н а р о в с к и й . Ваше величество, я тот, кого вы меньше всего ждали.

П е т р I . Не темни!

В о й н а р о в с к и й . Я вестник от гетмана Мазепы...

П е т р I . Привидение? Я, кажется, спятил от усилий воли? Окстись, нечистый дух! *(Тут же хватает посланца за ворот.)* Стой! Ты кто?

В о й н а р о в с к и й . Княжич Андрей Войнаровский, племянник гетмана.

П е т р I . Говори!

В о й н а р о в с к и й . Вот письмо от ясновельможного пана...

П е т р I . Давай! *(Бегая, читает.)* Ага, старый лис, одумался? *(Войнаровскому.)* Скажи своему хитромудрому дядюшке, что как только он поймается, я распну его на худой, плешивой, вилаовой осине.

В о й н а р о в с к и й . Воля ваша, ваше величество, только тут – спасение вашей державы, без крови и унижения...

П е т р I *(орет)*. Данилыч! Меншиков!

Как лист перед травой, встает М е н ш и к о в .

П е т р I . На, читай послание верного Ивана Мазепы.

М е н ш и к о в читает. Молча возвращает.

П е т р I *(настороженно)*. Ты что, Данилыч?

М е н ш и к о в . Мин херц, посмотри на дату под подписью гетмана.

П е т р I *(читает)*. Первое октября. И что?

М е н ш и к о в . А теперь, ваше величество, посмотри на дату под этой цидулой! *(Протягивает царю другое письмо)*.

П е т р I *(прочтя)*. Второе октября.

М е н ш и к о в . А теперь читай письмо от гетмана Мазепы королю Речи Посполитой Станиславу Лещинскому, написанное днем позже твоего.



Петр I (*читая, бормочет, потом орет*): «...зайти с тыла корпусу Меншикова и с двух концов одновременно ударить по зазевавшейся рати...» Ах он двурушник! Ах злодей!!!

В о й н а р о в с к и й . Число то второе и месяц октябрь...
М е н ш и к о в . Взять лазутчика!

Двое солдат хватают посланца, волокут прочь.

В о й н а р о в с к и й . Второе октября, но год-то еще прошлый! То давнее письмо... еще год тому писанное, до вторжения!..

Его не слышат, уволакивают. П е т р приосанивается. Вокруг него сходится весь генералитет, священники, солдаты, мирные люди.

П е т р I (*грозно*). Проклятие во всех храмах, церквах и каплицах! Проклятие отступнику и предателю Ивану Мазепе. Огню и мечу предать все его воровское племя!!! И анафему пуцай правят его же, гетмана Ивана, первосвященники! И предают проклятию его, Ивана Мазепу, в им же возведенных церквах и храмах! И согнать в те церкви и храмы весь посполитый люд малороссийский!

* * *

Гремит церковный хор, с колосников опускается колокол. Вниз сходятся тяжелые ряды вельмож и прихожан. Седовласый пастырь провозглашает тугим басом анафему.

С в я щ е н н и к . Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстанут цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростию Своею приведет их в смятение. Я



помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею. Возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой. Я ныне родил тебя. Проси у Меня, и дам народы и наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Ты поразишь восставших против Тебя жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника!.. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли! Служите со страхом и смирением и радуйтесь с трепетом!..

Тяжелый удар колокола.

С в я щ е н н и к . Цареотступнику, льстецу и обманщику, алчному себялюбцу и похотливому мужу престарелому – анафема!!!

Могучий хор троекратно повторяет.

Х о р . Анафема! Анафема! Анафема!!!

Наверху в это время возрождается красивая сцена встречи М а з е п ы и М о т р и из прежней картины. Черная ночь, белая бурка.

М о т р я . Ваша ясновельможность! Пане Иване! Батьку, это вы?

М а з е п а . Ясная панночка, Мотренька, тебя ли я вижу!

Закутываются в бурку, тут же раскрываются.

М а з е п а . Что же ты плачешь, моя зоренька?

М о т р я . Я, когда думаю о вас, когда вижу вас, слезы сами падают... И ваша и моя долюшки – горьки... Я за вас молюсь!

Внизу толпа перемешалась, другой священник уже тенором провозглашает проклятие как бы в другой церкви.

С в я щ е н н и к . Вместилищу всех пороков, всех смертных грехов: гордыни и зависти, обжорства и похоти, гнева и



жадности, лени и еще несказанных и неприсущих поводырям и пастве желаний и деяний – цареотступнику и предателю Ивану Мазепе, не по неведению, а по злому умыслу и порочной воле отступившему и предавшему – отныне и во веки веков – а-на-фе-ма!

Х о р . Анафема! Анафема! Анафема!!!

Наверху М е н ш и к о в вручает М а з е п е орден: торжество из прежней картины.

М е н ш и к о в . Венчается его ясновельможность гетман Иван Степанович высшей наградой царства – орденом Андрея Первозванного с лентой. А на ленте надпись по велению самого его величества царя Петра Алексеевича Первого: «За веру и верность!» Его царское величество зело милостив к вашей милости, ясновельможный наш друг, почитает не меня, а вас вторым человеком в царстве!..

Наверху свет гаснет, а внизу гремит «Анафема» хора. И тяжело бьет колокол. Вдруг – оглушительная тишина. В тишине, как над покойником, звучит кладбищенский плач.

Ю р о д и в ы й (*в веригах и лохмотьях*):

А он не предавал. Он слепнул
От часа, впрягшего навек
Его в легенду и навет
На дьявольских колесах сплетни...
Но есть бессмертное, – увы! –
В тупом топтании по травме,
Расположенье к старой травле,
Инерция людской молвы.
И в землю бьет молва, как молот...
А он в земле, из-под плиты,
Лишь правды, а не доброты,
У каждого столетья молит...

И снова резко гремит хор, бьет колокол.



Х о р . Цареотступнику, предателю, изменнику! Анафема!
Анафема! Анафема!!!

В глубине клубится дым, частая пальба ружей, звон сабель, грохот пушек. Вдруг – мертвая тишина. На авансцену выходят двое в халатах до пят с накинутыми капюшонами – это привидения из похоронной команды вытаскивают рядно с трупом и бросают, как на мусорник. То же проделывает вторая пара, а третья, два гренадера, выволакивают ковер, из него резко выкатывают труп казака и уходят. Рядом другие привидения бросают новый труп. Оживает казак, обгорелый, с саблей, с забинтованной головой, в руках – бархатный стяг с тризубом... Встает и голый москаль, только в доломане и с Андреевским флагом. В клубах дыма оба приподнимаются, стонут.

К а з а к . Пановэ!... Вильни козаки!... Цэ я – сичовык Марко... Цэ всэ.. що зальшилось вид найкращого миста Украйны, вид Батурына. Тры дни и тры ночи козаки стріяляли и рубалысь... Але сотнык Нис, злодий и мэзотнык... Здав потаемный хид... Меншыков спалыв мисто... выризав жинок и дитэй... *(Плаче.)* Мое нэмовля... Козакив – на палю... смалыв у мидных дижках... Мов древний Карфаген, увэсь Батурын переорав плугом... Нэмовля мое... дружинонько моя!..

М о с к а л ь . Батурин?! А Смоленск и Полоцк? Наши, русские вотчины! А колокола, содранные с храмов и переплавленные на пушки?! Антихристы! Все властители – антихристы! Обещают подданным благу жизнь, достаток, процветание, только идите за ними, только пролейте кровь за них!..

К а з а к . Будэ щастя... Щастя? Вична, всэлэнська брехня!

М о с к а л ь . Там, в той епанче, принесли мертвого шведа.

К а з а к . А в тому рядни – забытого татарына...

М о с к а л ь . Одним ядром подкосили и меня, и молодого ляха...



К а з а к . Ось, знеслы нас докупы! О, насыплють высокоу
могылу – и хто-зна, за котрого усопшого молытымуться ма-
тэри и дружиноньки наши!..

М о с к а л ь . Огромный курган столетия виднеться бу-
дет со всех четырех сторон... О, люди, люди!

К а з а к . О, ненасытни поводыри!!

* * *

Снова жуткая пауза. Вдруг вдали – барабанная дробь. Пауза.
Барабаны все ближе и страшнее. Пауза. В тишине из ствола
пушки наверху вырывается клочок дыма. Эхом издали летит
взрыв, нарастает, превращается в канонаду – вместе с ревом
пушек окутывается вся сцена дымом. Начинается ружейная
пальба. Заметались наверху, внизу, по лестницам люди. Тяже-
лым басовым церковным речитативом читаются в ритме боя
стихи из «Полтавы».

Ч т е ц (*голос с высоты*):

И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем строй живой
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.

На сцену выбегает солдат – и падает, убит. С лестницы мчится
казак с саблей – падает. Двое, фехтуя, выбегают, взрыв снаряда
– оба мертвы. С колосников сваливается муляж воина, шведа,
русского, казака, еще, еще...

Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.



Выбегает шведский кирасир – падает, русский улан – падает, шароварный казак – падает. С колосников еще падают трупы.

Швед, русский – колет, рубит, режет,
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Наверху поднимается П е т р I .

П е т р I . Дети мои! Сыны России! За дело, с Богом!!!
Воины благочестивые, за благочестие кровию венчающиеся, лета от воплощения Бога Слова тысяча семисот девятого, июня, двадцать седьмого дня!..

Еще дым и грохот, еще падают трупы... Тишина. Выходят похоронные команды – крюками цепляют за ноги, за животы, за головы трупы, увлакивают под жуткий реквием Моцарта. Наверху ярко высвечивается царь.

П е т р I . А где же мой брат Карл? Неужели я сегодня не увижу моего брата Карла? Шведскому фельдмаршалу Реншильду вернуть шпагу. Всем плененным королевским генералам вернуть шпаги. Учителей моих, полководцев Карла, – всех ко мне в шатер – на царский пир!.. Первую чару я пью за здоровье моего брата Карла!.. А изменников, старшин малороссийских – в пыточный приказ! Полковника Зеленского – колесовать! Нового генерального судью Чуйкевича – повесить! Якова Покотило, Семена Лизогуба, Антона Гамалию, есаула Максимовича – на кол!.. А где ясновельможный гетман? Где предатель, от которого отступилась вся Гетманщина, которого православная церковь предала анафеме? Где Мазепа?! Вот кому несдобровать!..

Затемнение наверху. Внизу полусвет ночи. На носилках несут перебинтованного К а р л а . Он в горячечном бреде.

К а р л . Снимите меня с коня! Сколько можно скакать в ночь? Где мои генералы? Граф Пипер? Советники?! Это не



поражение! Это горнисты забыли протрубить победу!!!
(Мечется.) Что скажет Левенгаупт? Снова, как под Лесной,
бросить все тяжелое: пушки, провиант – сжечь... Раненых
на попечение врага?!. Не смей! Не позволю!.. Бежать? Мне,
победоносному Карлу, бежать?!. Трубить сбор! Трубить от-
бой! А-а-а... делайте что хотите!..

14

Карла уносят. Слева и справа выкатывают – кого на колесе,
кого на кресте распятым, кого связанными по двое – казацкую
старшину и казаков. Издали нарастает грустная песня.

Повідлітали з гаю птиці,
У лузі коник не бринить,
А біля чистої криниці
Столітній явір все стоїть.
Холодний попіл опадає
На половіючі жита,
А над джерелами у гаю
Русалка косу розпліта...

Дива ви наші калинові,
Пахощі степу полинові,
Пісні журби у рідній мові...
Коли не так, простіть на слові!
Простіть на слові, коли не так!..

Кому простелеться дорога
На ті оплакані жнива,
Де на могилі кошового
Старий шуліка спочива...
Де північ жевріє над дахом, –
Видіння чистої води, –
Де навпрошки, Чумацьким шляхом
Покійний гетьман йде сюди.



Дива ви наші калинові,
Пахощі степу полинові,
Пісні журби у рідній мові...
Коли не так, простіть на слові!
Простіть на слові, коли не так!..

Из глубины идет разбитой, величавой, последней походкой
И в а н М а з е п а . Наверху, как русалка в песне, обнаженная
М о т р я расчесывает распущенные волосы. Внизу, прямо под
нею, в луче возникает М а з е п а .

М а з е п а (*зовет, словно в лесу*). Мотренько, дэ ты? Ау-у!
М о т р я (*словно тронутая умом, поет*):

Дива ви наші калинові,
Пахощі степу полинові,
Пісні журби у рідній мові,
Коли не так, простіть на слові!
Простіть на слові, коли не так!..

М а з е п а . Не так, моя ясочко... Усе не так... Я дбав про
неньку нашу Україну, дбав про тебе... Я бачив неньку віль-
ним Великим князівством, як за наших предковічних Воло-
димира та Ярослава, а тебе зрів на троні у золотому вінку –
юнка моя, царівна!.. Не сталось, як гадалось. Запізно і не
тим шляхом я пішов. Прости мені, моя ясочко. Не карай ме-
не в своїй світлій пам'яті...

М о т р я (*сыплет сверху яркие цветы, поет, печально
уходит*).

Де північ жевріє над дахом, –
Видіння чистої води, –
То навпрошки, Чумацьким шляхом
Покійний гетьман йде сюди...

Б о л ь ш о й х о р (*тяжело и глухо*):

Дива ви наші калинові,
Пахощі степу полинові,



Пісні журби у рідній мові...
Коли не так, простіть на слові!
Простіть на слові, коли не так!..

С двух сторон на авансцене появляются прокурор и адвокат. Из глубины к ним идет Мазепа. За спиной гетмана, наверху, садится на стул судья. Перекрестный допрос.

Судья. Имя и звание?

Мазепа. Иван, Степанов сын, Мазепа-Калединский...
Гетман Войска Запорожского... князь Римской империи...

Прокурор. Забираете лишнего, бывший гетман...

Адвокат. Достоинство князя Римской империи его ясновельможности присвоено императором Францем. Вина царя Петра, который задержал венчание на трон...

Прокурор. В таком случае давайте перечислять все польские, русские, латинские регалии, украинские клейноды, ордена, венчавшие обвиняемого...

Мазепа. Господа, не скучно ли вам говорить о шелухе да о житейской мишуре? Давайте скорее к делу и – кончать...

Судья. Как вы расценивали свой статус?

Мазепа. Монарх. Избранный монарх казацкой державы.

Прокурор. Пределы вашей власти?

Мазепа. Пределы дозволенного зависят от личности.

Адвокат. Ваше жизненное кредо?

Мазепа. Единоначалие, личное достоинство и достоинство земли моей.

Прокурор. Что толкало вас к вознесению вашего престижа?

Мазепа. То же, что толкало ляхов, москалей и турок унижить украинца, тиранить его.



Судья . Что давало вам право стоять над нацией?

Мазепа . Природный дар, европейское просвещение, знание людей.

Прокурор . Почему же вы хитрили, строили политические козни?..

Мазепа . Я снисходил к уровню понимания дела моей старшиной, казаками и посполитыми... да и внешними политиками.

Адвокат . Потому и клеветали на себя в шинках, корчмах и в чумацких обозах через своих лазутчиков?

Мазепа . Я жертвовал собой. Люди считали меня профосом царя. Вызывая гнев на себя, я раздувал пламя бунта против царя.

Судья . И сами себя перехитрили!

Мазепа . Это одна из моих роковых ошибок.

Прокурор . Но зачем вы повели старшину на Петра?

Мазепа (*засмеялся*). Не поведи я их, они бы меня скинули, избрали бы другого, который их повел бы. Таков был зов истории.

Прокурор . Зов к фиаско!

Мазепа . Я это предвидел... намного раньше Карла, раньше Лещинского и самого триумфатора Петра. Раньше старшин и казаков...

Адвокат . И шли дальше.

Мазепа . Обратного пути не было. Рок!

Судья . Ваша исконная цель была?..

Мазепа . Воссоединить Гетманщину, Правобережье, Запорожскую Сечь.

Прокурор . А вышло?

Мазепа (*судье*). Ваша честь, можно не отвечать на излишние вопросы?

Судья . Вы ускорили крепостное право в Украине.



М а з е п а . Но должен же был кто-то разбудить нацию. Моя попытка была тщетной, но я не последний рыцарь в нашей земле.

С у д ь я . За двадцать лет правления вы подняли страну из руины, благосостояние простолюдин никогда, ни до, ни после вас, не будет столь высоко. Чего вам не хватало?

М а з е п а . Вольности. Над моей Украиной висел мо-
лох...

П р о к у р о р . Понятно! И что же вас теперь ждет, пан бывший гетман?

М а з е п а . Святой Петр у врат ада и рая и его определе-
ние: ад или рай для старой заблудшей овцы....

П р о к у р о р . Рай?!

С у д ь я . Ваше последнее слово...

А д в о к а т . Последнее слово, ваша ясновельможность. Последнее именно ваше слово, Иван Степанович Мазепа, такое слово, что останется в веках, в устах людей, которые поклонялись вам и которые ненавидели вас, ваше слово в душах людей, которые никогда не знали, не слышали о вас! Редкому существу в этом мире удастся молвить такое... а вам удалось! Скажите!

М а з е п а (*пауза, запел*):

Ой, горе ж тій чайці...

Горе ж тій небозі,

Що вивела часняток

При битій дорозі...

Гетман запевает один. Постепенно за его спиной сходятся все участники этой трагической истории. Нарастает хор. Сочно, трагично звучит песня Ивана Мазепы.

К О Н Е Ц .

Літературно-художнє видання

МАЛЯРОВ
Анатолій Андрійович

ПОЖИВИ
В МИКОЛАЄВІ

Вибрані твори

Російською мовою

Формат 60x84¹/₁₆. Ум. друк. арк. 17,9. Тираж 500 пр. Зам. № 534-082.

ВИДАВЕЦЬ І ВИГОТОВЛЮВАЧ
Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ліон».
54001, м. Миколаїв, вул. Садова, 1.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1506 від 25.09.2003 р.

A silhouette of a person sitting on a dark, rocky cliff edge, looking out over a vast, cloudy sky. The person is positioned on the left side of the frame, with their legs crossed and arms resting on their knees. The sky is filled with soft, white clouds, and the overall color palette is muted, with shades of grey, blue, and white. The text is written in a cursive, white font at the bottom left of the image.

*Только бы
не рассвело...*